*Северина Шмаглевская*

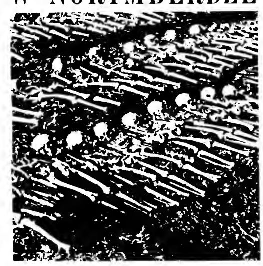
# НЕВИНОВНЫЕ В НЮРНБЕРГЕ



*Seweryna Szmaglewska*

# NIEWINNI W NORYMBERDZE

*ROMAN*



*Warszawa, 1986*

*Северина Шмаглевская*

# НЕВИНОВНЫЕ В НЮРНБЕРГЕ



*РОМАН*



*Москва „РАДУГА" 1988*

ББК 84.4П
Ш71

Предисловие *М. Игнатова*

Перевод *Е. Гессен*

Редактор *М. Конева*

**Шмаглевская С.**

**Ш71** Невиновные в Нюрнберге: Роман. Пер. с польск.— М.: Радуга, 1988.— 272 с.

С. Шмаглевская пользуется популярностью не только у себя в стране, но и за ее пределами, она автор известной советским читателям книги «Дым над Биркенау» — о гитлеровском лагере смерти.

В основу романа «Невиновные в Нюрнберге» легли подлинные события, переживания и воспоминания С. Шмаглевской, когда она давала показания в качестве свидетеля обвинения на Нюрнбергском процессе. Книга написана талантливо, страстно, кровью сердца.

Ш $\frac{4703000000—436}{030(01)—88}$ 21—88

ББК 84.4П
И(Пол)

Художник *В. Г. Алексеев*
Художественный редактор *А. П. Купцов*
Технические редакторы *Н. Н. Должикова* и *О. Н. Черкасова*
Корректор *В. Ф. Пестова*

ИБ № 4453

Сдано в набор 03.11.87. Подписано в печать 07.05.88. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Тип Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 14,28. Усл. кр.-отт. 14,28. Уч.-изд. л. 16,11. Тираж 100 000 экз. Заказ № 3280. Цена 2 р. 00 к. Изд. № 3925.

Издательство «Радуга» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
119859, Москва, Зубовский бульвар, 17

Отпечатано с готовых пленок Можайского полиграфкомбината В/О Совэкспорткнига Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 143200, Можайск, ул. Мира, 93, в ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО "Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова" Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28. Тираж изготовлен в ордена Трудового Красного Знамени Московской типографии № 7 "Искра Революции" В/О Совэкспорткнига Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103001, Москва, Трехпрудный пер., 9.

ISBN 5-05-002215-0 

ISBN 83-05-11318-3 

## ОТ ИМЕНИ БЕЗМОЛВНЫХ, БЕЗЫМЯННЫХ...

«Невиновные в Нюрнберге» — вторая изданная на русском языке книга известной польской писательницы Северины Шмаглевской (род. 11.II. 1916). Первой была «Дым над Биркенау», выпущенная в 1970 году издательством «Художественная литература» в переводе Эвы Василевской и с горячим вступительным словом С. С. Смирнова. «Невиновные в Нюрнберге» — своеобразный роман-воспоминание. Можно его назвать и романом историческим, ибо он возвращает нас к событиям почти полувековой давности, ставшим уже достоянием истории, вводит то в вечно затянутую ядовитым дымом «зону смерти» гитлеровского концлагеря, то в кулуары и зал заседаний баварского Дворца юстиции, где Международный военный трибунал (МВТ) судил фашизм, милитаризм и агрессию в лице главных военных преступников. Из романа явствует, что благодаря энергичной поддержке советской стороны к участию в Нюрнбергском процессе были допущены представители Польши, польские свидетели и журналисты.

В СССР имеется обширная литература о предыстории и деятельности МВТ, о политическом, юридическом и нравственном значении Нюрнбергского процесса, способствовавшего росту общественного сознания, обострению чувства ответственности народов в вопросах войны и мира. Читателям, интересующимся антифашистской проблематикой, известны глубокие аналитические статьи и исследования советских юристов — непосредственных участников судебных разбирательств в Нюрнберге — и правоведов-международников. Научные публикации специалистов существенно дополняются материалами писателей и журналистов, освещавших работу МВТ на страницах советской печати: В. Вишневского, Я. Галана, М. Гуса, Д. Заславского, С. Кирсанова, Ю. Королькова, Д. Кремнова, Л. Леонова, Б. Полевого, В. Саянова, К. Федина, И. Эренбурга и других. Их воспоминания, дневники и очерки информируют главным образом о событийной стороне процесса, царящей на нем атмосфере и крупным планом рисуют портреты обвиняемых. Шмаглевская, при несомненном присутствии в ее книге элементов документальности и публицистичности, обращается преимущественно к духовному миру героя-повествователя, показывает Нюрнберг сквозь призму уникальной психологии вчерашнего узника Освенцима, который волею обстоятельств вдруг оказался в роли обличителя не каких-

нибудь своих недавних гонителей, мелких винтиков нацистского аппарата насилия, а верховных представителей рухнувшего третьего рейха. И, ошеломленный чудесной метаморфозой, он едва ли не убеждает себя в том, что все это происходит наяву, а не во сне...

Раскрывается герой-повествователь чаще в развернутых внутренних монологах, чем в общении с другими персонажами. Реально существовавшими, названными собственными именами и переименованными, но легко узнаваемыми по их функциям, как, например, юристы — члены польской делегации. Эти образы связаны с центральной темой книги — судебным процессом. Действуют в романе и вымышленные персонажи, которые оттеснены на периферию повествования. Типичное порождение нестабильного первого мирного года Европы, они еще влачат груз своих личных военных драм, ищут прибежища, многого не понимают.

Человеческая и литературная судьба Северины Шмаглевской поистине необыкновенна. Бывали и такие судьбы у современников военного лихолетья. Этой хрупкой женщине гибель угрожала каждый день и час на протяжении двух с лишним лет, проведенных ею за колючей проволокой Аушвиц-Биркенау (Освенцим-Бжезинки). Здесь и физически закаленные мужчины зачастую не выдерживали месяца общих работ, даже если им удавалось избежать дубинки капо или пули эсэсовца. Всего же в этом крупнейшем на оккупированной территории Польши гитлеровском лагере уничтожения погибло от голода, холода, эпидемий, медицинских «экспериментов» изувера Менгеле, изнурительного труда и повседневного изощренного террора около пяти миллионов человек двадцати восьми национальностей. Причем нельзя ручаться за точность этих данных. Ведь в иные дни тысячи мужчин, женщин и детей без регистрации, прямо из очередного эшелона фашистские палачи отправляли в газовые камеры Освенцима и сжигали в печах крематориев или на гигантских кострах. И след их навсегда терялся в черном дыму над лагерем.

Трагедия затворников Аушвиц-Биркенау и двадцати семи его филиалов длилась бесконечных пять лет, до того хмурого январского утра, когда в линию немецкой обороны между Хшанувом и Освенцимом вклинились войска 60-й армии Первого Украинского фронта. Командарм П. А. Курочкин, чтобы ускорить спасение оставшихся в живых узников, приказал командирам 28-го и 106-го корпусов взять концлагерь с ходу и с трех направлений одновременно. С северо-востока первой подошла к лагерю 100-я стрелковая дивизия, с юго-востока — 322-я, с севера — 128-я. Всего было освобождено в Аушвиц-Биркенау почти семь тысяч взрослых заключенных и около трехсот детей. В бою с яростно оборонявшимися гитлеровцами на освенцимской земле пал 231 советский воин.

Северины Шмаглевской не было среди счастливцев, радовавшихся свободе. Ей предстояли новые испытания. Она попала в колонну, предназначенную эсэсовцами для эвакуации в глубокий тыл пешим порядком, и неизвестно, чем бы кончился для нее

«поход смерти», во время которого стража беспощадно прнстреливала отстающих, если бы Шмаглевской ие удалось бежать. Побег, совершеиный человеком предельно нстощеииым, слабым, окочеиевшим и вдобавок отучившимся передвигаться в простраистве, ие ограиичеиим пределами колючей проволоки, коиечио же, равиозначен подвигу. Но во сто крат больший подвиг для иедавиего хефтлиига — вопреки естествеииому стремлеиию побыстрее отрииуть, сбросить бремя изведаииых мук и униижеиий — самоотвержеиио вериуться к еще кровоточившему прошлому как к литературиому материалу.

18 июля 1945 года, то есть менее чем через шесть месяцев после освобождеиия, Севериио Шмаглевская завершила работу над докумеитальиым повествоваиием о крестиом пути женщин из Биркеиау и передала рукопись варшавскому издательству «Чительиик». И это тоже был, учитывая ее горькнй жизнениый опыт, своего рода акт мужества. Но тут уже, видимо, следует говорить о сбережеиином, иесмотря иа все иевзгоды, профессионализме, о чувстве социальиого заказа, которые взяли верх иад присущими человеку с длительиым лагериым стажем подчас непреодолимыми сомнеииями: доступио ли вообще пережитое им поииманию людей «с волн»? Сколько нз-за этого нитересиых воспомииаиий подолгу скрывалось авторами...

В оккупированиой Польше литературиая деятельиость была под строжайшим запретом н прнравиивалась гитлеровцами к тягчайшим преступлеииям против третьего рейха. Писателн творили тайком, былн выиуждены скрываться. Миогне томились в фашистском плеиу, подвергалнсь гоиеииям и репрессиям. В коицлагеря были брошены Игорь Неверлн, Густав Морцннек, Михал Русиiек, Тадеуш Голуй, Гжегож Тимофеев, Тадеуш Боровский, Зофья Коссак-Шуцкая, Антонниа Соколич-Мерклева, Зофья Посмыш и другне. Полиый реестр потерь и иевзгод польской литературы заиял бы ие одиу страницу. Те, кому посчастливилось вериуться из мест заключеиня, раио или поздно и в разиых жаирах откликнулись на лагерную тему. Обращались к аитифашистской тематнке литераторы и с отиосительно меиее драматической участью. Но пальма первеиства прииадлежит Северине Шмаглевской.

Сводиый список аитифашистских произведений, прииадлежащих перу представнтелей всех без исключеиия поколеиий польских пнсателей послевоеииого сорокалетия, ныие уже огромиый и, кстати, постояиио пополияемый иовымн иазваииями, по праву первенца открывает киига «Дым иад Биркеиау». Выполияя велеиие времеии и иаказ сердца — разоблачить зверства иацистов от именн погибших собратьев по несчастью — миллиоиов безмолвиых, безымяииых, Шмаглевская опередила и мастеров, и таких же, как оиа, иачииающих литераторов.

Тогда, в далеком 1945 году, это возымело для иее прежде всего иеожидаииые виелитературиые последствия. Политически злободиевная, иасыщеииая фактографией книга была приобщеиа к вещественным доказательствам, фигурировавшим на процессе главиых воеииых преступииков. А сама Шмаглевская вызывалась

в Нюрнберг в качестве свидетеля обвинения. Ее содержательное, эмоциональное выступление было одним из самых запоминающихся эпизодов процесса и получило отражение в мировой прессе, а позже в ряде польских и зарубежных изданий, посвященных работе МВТ. Так, например, С. Т. Кузьмин, представлявший в Нюрнберге Чрезвычайную государственную комиссию по расследованию немецко-фашистских злодеяний, в своей книге «Сроку давности не подлежит» (1985) подробно описывает незабываемый для него диалог между советским обвинителем Л. Н. Смирновым и Северииой Шмаглевской, в ходе которого свидетельница с гневом и болью нарисовала потрясающую картину систематического уничтожения в Освенциме детей, в том числе только что рожденных младенцев. «Зал затих,— завершает свое описание мемуарист.— Наступили минуты оцепенения от возгласа этого скорбящего материнского сердца. Опущены были глаза и головы убийц».

Книга «Дым над Биркенау» вызвала огромный интерес на родине автора, где от гитлеровской оккупации так или иначе пострадала буквально каждая семья. Ее с энтузиазмом встретила польская критика. До войны имя Шмаглевской было знакомо лишь читателям провинциальной газеты «Глос Трыбунальски», где она дебютировала как новеллистка, а затем слушателям детских передач Польского радио. Теперь пришла литературная слава, вскоре перешагнувшая пределы Польши по мере увеличения числа переводов на иностранные языки.

Заинтересованность книгой за рубежом не была случайной. Кто-то образно выразился, что Освенцим в годы войны был пригородом Варшавы. Судя по национальному составу узников, этот концлагерь можно назвать пригородом большинства европейских столиц, а также менее именитых городов и селений. Оккупационный режим в странах Европы не всюду был внешне одинаково жестким. В Освенциме нацизм выступал без маски. Здесь все европейцы, независимо от гражданства, лишались малейших прав, малейшей надежды выжить. Льготами пользовались только заключенные из уголовников-рецидивистов, которых эсэсовцы охотно брали в подручные.

Видный польский прозаик Вильгельм Мах назвал книгу «Дым над Биркенау» «самой трудной победой» автора, имея в виду трудности преодоления психологического барьера при добровольном мысленном возвращении в «зону смерти», под удары палок озверевших гитлеровцев и капо. На дальнейшем писательском пути Северины Шмаглевской не одна такая трудная победа: романы «Грядет погожий день» (1960), «Крик ветра» (1965), рассказы на ту же лагерную тему, составленная ею, снабженная содержательным предисловием и комментариями антология «Тюремная решетка» (1964). Но, пожалуй, с наибольшими сложностями творческого характера довелось столкнуться писательнице, когда создавался роман «Невиновные в Нюрнберге».

Во второй, уже воображаемый, полет в баварский город Шмаглевская отправлялась через четверть века после первого, реаль-

ного. Но дело ие в чнсто временной дистанцнн. Хотя, разумеется, непросто перевоплощаться призианному мастеру художествениого слова, удостоениому высшнх правнтельственных наград ПНР, в скромного автора еднняствеиной кинжки, чье громкое выступленне на процессе еще впередн. Приходилось забывать достигнутую умудренность н возвращаться к нллюзиям молодостн, к наивной вере, что все нацистскне преступникн понесут наказаине. Между тем в ФРГ затягивалнсь до бесконечностн, превращаясь в фарс, суды над явными эсэсовскнмн извергами. Большннство из них отделалнсь смехотворно ничтожнымн прнговорами. Миогие н вовсе былн оправданы, получили компеисацин, солндиые пенсни. Кое-кто преспокойно благоденствовал н благоденствует за океаном. Подннмал голову неофашизм. Наконец в 1965 году была предпрнията кощунственная попытка освободнть от судебной ответственностн за нстеченнем срока давности... Адольфа Гнтлера. А как только не чернилн на Западе Нюрнбергский процесс! Поэтому пнсательнице надо было снова лететь в Баварню, чтобы напомнить урокн Нюрнберга, который был отнюдь не судебной расправой победнтелей над побежденнымн, как облыжно утверждалн западные реакцнониые пропагандисты, а судом победнвшей правды.

Радн верности этой правде стонло заново пережить тревоги и радостн поздней баварской осени 1946 года, томнтельные часы, проведенные в ожнданин вызова к свндетельскому пульту, н тогдашние, особенно острые, волна за волной неумолимо захлестывавшие лагерные воспоминання. И вот уже иачнначется романи. Начинается воображаемый полет на запад сквозь непроглядиую облачность, такую же плотную, как туманы в долнне междуречья Солы и Вислы, где раскинулся Освенцим. Вечный ее спутник, ее ныне добровольная Голгофа, куда потеряи счет восхождениям.

Теперь там музейная тншина. Не гудит проволока под током высокого иапряжения, смолкли выстрелы н понукання иадсмотрщнков. Нет нн дыма, нн огненных султаиов иад трубами крематорнев, нн удушливого смрада от палеиой человеческой плоти. Атрнбуты иацнстской властн и орудня пыткн с нивентарнзацноннымн иаклейками словно присмирелн, сннкли. Но и тихий, обезвреженный Освенцнм потрясает. Даже известный своим хладнокровнем н самообладаннем генерал де Голль, проведя час в музее, был настолько подавлен, что долго, необычно побледневшнй, склоиялся иад Кннгой почетных посетнтелей, ие в снлах собраться с мыслямн. Его запнсь — всего трн фразы — дробнтся, как крнк боли, прерывающнйся сдерживаемыми рыдаииями.

Превозмогая ненстребимую, подспудную боль, пншет Шмаглевская о людях Освенцнма — погнбшнх и победнвшнх смерть, сломленных страданиямн и до конца протнвоборствовавшнх фашнзму. Но ее герои — борцы-антифашнсты — воспрннимаются намн не как посланцы мнувшнх времеи. Мы иаходим у ннх черты современнников, иашнх соратинков по борьбе за мнр. Вот почему ие ослабевает ннтерес к пронзведенням Шмаглевской, иесущим весомый заряд гражданской актнвности.

Предисловие Сергея Сергеевича Смирнова к книге «Дым над Биркенау» начинается несколько неожиданным обращением к читателям: «Если вы хотите отдохнуть за чтением, развлечься — не берите в руки этой книги. Эта книга — тяжелая, трудная, даже страшная». Все же желающих ознакомиться с этим произведением Шмаглевской нашлось у нас немало. Я видел экземпляр книги в одной из районных библиотек Москвы, зачитанный буквально до дыр, в новом переплете, сменившем недостаточно прочный — издательский. Поэтому мне думается, что к страшным ретроспективным страницам романа «Невиновные в Нюрнберге» советские читатели также отнесутся с пониманием.

*М. Игнатов*

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Мы летим. Ураганный ветер вцепился в нас своими когтями и раскачивает из стороны в сторону, окна кабины, иллюминаторы — все облеплено снегом. Я не сплю. С надеждой жду минуты, когда самолет прорежет эти клубящиеся облака и мы доберемся до Нюрнберга.

Опять воздушная яма! Мой сосед постепенно сползает влево, почти навалился на меня. Его курчавая голова безвольно повисла, взъерошенные волосы упали на лоб. Здоровый храп раздается прямо надо мной. На мгновение он приоткрыл глаза, очень светлые, почти белые со сна, и улыбнулся.

— Вот те на! Пан Михал подкараулил меня утром в гостинице, та-ак, но погода от этого, судя по всему, не улучшилась. Ха! Точно! Ключ от номера я снова сунул в карман. Деревянная груша торчала как кулак. Два дня подряд я с нею уезжал на машине и забирался в самолет. Что вы на это скажете?

Я молчала. Он громко продолжал:

— Вот это рассеянность. Два дня подряд мы чуть-чуть не долетали до Нюрнберга, и приходилось возвращаться. Значит, это из-за меня мы садились где попало? Из-за моей забывчивости? Щекотки я, точно барышня, боюсь, а этот тип, портье, меня всего ощупал — не прихватил ли я снова с собою ключ!

Он минутку подождал, потом с мальчишечьим задором ухмыльнулся:

— Вот вам суеверие! Сцапал меня с утра и говорит: «Давайте-ка его сюда, черт побери, по вашей милости полет срывается, приходится возвращаться, ночевать тут. Все оставляют ключ у портье, вы один надумали в Нюрнберг с гостиничным ключом, с этой деревянной тыквой, лететь». Вернул ему ключ. Я солдат — приказы выполнять умею. И что? Думаете, помогло? Дудки! С утра солнце было, а теперь? Ветер дует, как сто чертей. Куда суевериям против такой пурги! В ксендзы пойду, если долетим. Сущий ад!

Белый ад! Снова застрянем на каком-нибудь военном аэродроме. Если вообще удастся найти клочок земли для посадки. Три дня Злата Прага... Карлов мост...

Самолет вдруг подбросило, и он заметно накренился.

Неужто мы в самом деле летим в Нюрнберг? Неужто мы действительно увидим на скамье подсудимых немецких преступников — тех, кто вместе с Гитлером сочли возможным совершить то, что нельзя описать словами, что врезалось в память жестоким кошмаром и не забывается ни во сне, ни наяву?

Скамья подсудимых. Странно, как тут найдешь преступников — соучастников чересчур много. Сам приговор меня не так уж заботит, куда важней вернуть миру покой, чтоб на зеленых лугах не вспучивалась земля там, где расстреливали людей.

Моторы стонут, рычат, воют. Я снова пытаюсь уснуть, но это нелегко. В сознании мелькают, сменяя друг друга, страшные картины.

Я опираюсь головой на сжатый кулак, страшно гудят моторы. Их шум ввинчивается в уши, разрезает воздух, сжимает горло. Третий день подряд снег и вой моторов. С самого утра. Серое небытие в преддверии рассвета, который будто бы еще не наступил. Большинство пассажиров молчит, досыпает, забившись в серые кресла, в серые сумерки салона, в серую тень отступающей ночи. Все они кажутся серебристо-седоватыми, бескровными, почти бестелесными.

Прямо перед моими глазами, в иллюминаторе,— верхушки елей с длинными шишками, покрытыми снегом, а за ними вертикальная высокая скала, обледенелый обрыв, припорошенный свежим пухом.

И снова самолет резко кидает — врежемся мы в эту каменную громаду или проскочим над ее вершиной, над невидимым горным хребтом?

Я думаю об этом без страха, я уже давно перестала всего бояться. Давно. С тех пор как мне не надо бояться гитлеровских сверхчеловеков. Качаясь над горами в снежном гамаке, я теперь непрерывно смотрю в иллюминатор. Моя фантазия — как знать, враг она мне или союзник,— подсказывает: это не самолет, это кабинка фуникулера карабкается в Татрах на Каспровый Верх и как раз проносится мимо Масленицких Турней, где так нарядно распушились густые верхушки елей. Я в Польше, в горах...

Шум, грохот, боль в ушах.

— О-го-го! Мы расползаемся по швам! Отправляемся

прямо к боженьке! — кричит кто-то, пробегая на нетвердых ногах.

Только теперь я окончательно проснулась. И вовремя отстранилась — большая голова в ореоле густых серебряных волос, похожая на бесцветный подсолнух, снова безвольно скатилась в мою сторону. Взъерошенная шевелюра еще не совсем седая, светлые пряди смешиваются с вихрами цвета сверкающей охрой смолы. Мне показалось, что я возле костра, среди палаток, в нос ударил едкий запах дыма, табака, брезентовой куртки и пота. С неприязнью я отвернулась, пытаясь снова заснуть. Сосед выпрямился в своем кресле, он в мундире, на рукаве нашивка в виде небольшого полукруга.

Я букву за буквой складываю знакомое слово и проникаюсь доверием. Самолет и не думает разваливаться: рычит, гудит и прет напролом.

В правом иллюминаторе уже нет ни елок, ни гор, одно только небо, тяжелое от туч, затянутое бушующей метелью. Верхушки елей теперь слева, кажется, мы вот-вот срежем самые высокие из них. Вертикальная скала вырастает совсем рядом. Как странно, я не боюсь аварии. Моя страна вновь обрела свободу, я вернулась оттуда, где одни люди имели право третировать и убивать других. Из-под власти очумевших немцев вырвалось пол-Европы. Я не думаю обо всем этом конкретными понятиями, просто испытываю доверие к нашему экипажу, к рослому полковнику — командиру, отдающему приказы остальным летчикам, и к симпатичной стюардессе, моей ровеснице и единственной тут, не считая меня, женщине.

Без страха переношу я эту дорогу, вынужденные посадки на военных и гражданских аэродромах, слежу за работой пилота, штурмана, радиста; они доставят свидетелей, которые должны там дать показания. Еще немного терпения!

Во мне зародилась и успела укрепиться уверенность: если я пережила час за часом все дни в гитлеровском лагере уничтожения, значит, в будущем все опасности должны обойти меня стороной.

Облегчение и покой. В нашем — моем и других таких же спасенных людей — покое есть, наверное, что-то от равнодушной, уставшей птицы, заснувшей в чьих-то руках. Пурга и корпус «дугласа» несут нас вперед.

Надо уснуть. Хочется, чтобы еще хоть какое-то время казалось, будто я дома и где-то рядом мурлычет кошка, хочется сохранить ощущение покоя, обрести потерянную

веру в то, что все вокруг имеет какой-то смысл. Расщепление атома в психике человека таит в себе куда больше неведомого, чем расщепление его в лаборатории. Засну и не буду думать об этом, ни о чем не буду думать. Окружающие меня сумерки усиливают это желание. Хорошо было бы выглянуть в иллюминатор, но там, и слева и справа, только равнина, покрытая пушистым снегом, по которому легко, без рывков и тряски, скользит наш самолет, словно вне времени и даже вне движения. Я задремала, но тут же очнулась.

Первое яркое пятно, которое я вижу, открыв глаза,— это нашивка на мундире у моего соседа. Шесть белых букв на красном полукруге составляют слово "Poland". Оно притягивает мой взгляд, успокаивает, изумляет и постепенно рассеивает сомнения. Неужели правда? Неужели я среди тех, кто дождался конца? Неужели сбылась надежда, содержащаяся в словах наивной песенки, которую пели на улицах оккупированного города: «Топор, лопата, подорожник. Проиграл войну художник. Топор, лопата, день и ночь. Убирайтесь, немцы, прочь»? Неужели стал явью сон бойцов Сопротивления, объявленных вне закона? Исполнились мечты детей, которых ночью отняли у родителей, забрали из родного дома? Сбылись надежды разбомбленных городов, спаленных деревень, людей, живущих в лесных землянках, страны, где правил оккупант, где запрещали слушать радио, где арестовывали за музыку Шопена? Мир спасен от потопа, и я спасена.

Красный полукруг с белыми буквами словно бы зачеркивает оккупацию, из которой всего лишь несколько месяцев назад, как из болезни, вышли люди. Но нервы и память, где прочно засели военные испытания, еще далеки от выздоровления. Я буду верить! Я тоже поверю однажды! Поверю в то, что стало реальностью.

Из глубокой задумчивости, из абстракции полета я на миг возвращаюсь к действительности (странно было бы, если бы я сказала «возвращаюсь на землю»), мне нужны подтверждения того, что в самом деле, наяву, а не во сне, я вижу этот красный полумесяц с шестью буквами, известными всему миру: Poland. Poland. Европа проявила наконец благоразумие; известие об этом распространяется по свету, из города в город без помощи почты. Нет сомнений: слово «Польша» на плече у моего соседа конкретное подтверждение этого. Я всматриваюсь в это слово, розовеющее в сумраке зимнего дня, и неожиданно меня охватывает острое чувство неудовлетворенности: я хочу лететь в обратном

направлении, туда, где на развалинах Варшавы лежит снег и робкие еще люди пытаются как-то жить.

Меня снова охватывает дремота. Легкий мгновенный сон стирает реальность, я проваливаюсь в тишину. Poland. Луг, запах сена, цветущая акация в родной деревне, теплый песок под детскими ногами на протоптанной тропинке от дома к школе.

Проснувшись, я вижу, что мой сосед переменил позу. Теперь он сидит, напряженно выпрямившись, волосы откинуты со лба, красно-белый полукруг исчез. Неужели это был только сон?! В его слегка прищуренных глазах таится свет, губы складываются в дерзкую улыбку, возвращая лицу давно потерянную молодость.

— Простите солдату болтливость. У меня что на уме, то и на языке. Скажите, что вам сейчас снилось?

Ощущение, будто меня поймали с поличным. Я не ответила. И не решилась спросить, действительно ли у него на мундире название нашей страны.

Мужчина заметил мое смущение. Хлопнул себя по колену, улыбнулся, но тут же снова посерьезнел, и только в глазах затаился смех.

— Связная нашей группы, отважная девушка, каждый день в оккупации начинала с рассказа о снах. Эти сны всегда сулили нам свободу, поражение немцев, возвращение домой, встречи с семьями. Только счастье! Одно только счастье!

Он провел по лицу широкой и сильной ладонью.

— Привыкаешь порой вот к таким суевериям, бессмысленной ворожбе, хотя и не веришь в нее ни капельки. А потом вдруг тебе недостает бабского гаданья, над которым ты всегда смеялся.

Он высоко вскинул брови. Ждал, что я откликнусь.

А во мне росла неприязнь. И желание сохранить дистанцию в отношениях с соседом.

Его это забавляло, и, довольный собой, он снова хлопнул себя по колену.

— Видно, попал пальцем в небо! Но во сне вы громко стонали. Когда я пытался вас разбудить, вы произнесли несколько невнятных слов. Вам наверняка что-то снилось.

Я принужденно рассмеялась. У меня заболели уши, на лбу выступили капельки пота — признак неожиданно возникшего необъяснимого страха.

— К сожалению, я ничего не помню. И даже не чувствовала, что заснула.

Моторы то гудели басом, то вдруг пугали высоким тон-

ким воем. Казалось, что машина своим гудящим и полным всяких сложных устройств чревом вот-вот объявит воздушную тревогу.

— Снижаемся, идем на посадку! — гаркнул мой сосед громким басом, а его слишком светлые глаза внимательно уставились на меня, как во время следствия.

Я кивнула.

— Возможно.

Сосед наклонился ко мне — теперь шум моторов совершенно заглушал его слова. Пальцами он отбросил волосы со лба и ждал, чтобы я проявила хоть какой-нибудь интерес. Красный полукруг с белыми буквами вынырнул прямо перед моими глазами. И я снова, не веря себе, читала букву за буквой. Вот проснусь и вспомню этот красный символ.

— А я, знаете, видел два разных сна. Это, конечно, чепуха, понимаю! Не хватало, чтобы старый солдат после этой войны ко всякому вздору серьезно относился. Я к этому как к кино отношусь. А сны мне цветные снились. Иду, значит, я между деревьями, деревья молоденькие и все в розовом цвету. Посажены одно к одному, ровными рядочками. Иду и ясно вижу, что это персиковый сад. А она, моя связная — как-то нелепо о ней говорить «жена», очень уж банальное слово,— жили мы с ней, а свадьбу, торжественную, красивую, решили сыграть сразу после войны, старопольскую свадьбу, как положено, с саблями, друзей хотели позвать, всех, кто с войны вернется. И вот иду я по этому персиковому саду, деревья ровнехонькими рядами, будто по линеечке посажены, а в центре сада она, так близко, только руку протянуть. Зовет меня! Господи. Да! Она меня звала. Я и сейчас ее голос слышу: «Иди скорей, Себастьян, здесь мы будем жить, вот он, наш дом». Она так и сказала: «Мы будем жить здесь, вот он, наш дом».

Крепкая ладонь резко взъерошила волосы. Он немного помолчал, потом сквозь самолетный гул снова долетел до меня его глубокий бас:

— Розовые персики. Нежные цветы. Но где в Польше найдешь персиковые сады? Я еще мальчишкой был, когда отец, прости господи, вырастил два деревца. Ходил вокруг них, дышать боялся, кутал, от мороза защищал. Наконец они зацвели. Розовым цветом. Сказка! Чудо! Мы не могли дождаться плодов.

В светлых глазах мужчины вспыхнули веселые искорки.

— Люди в восторге останавливались у нашего забора, а отец поливал эти свои деревца, удобрял, подкармливал

как мог. Какой-то пижон честь нам оказал, остановился с дамочкой возле нашего дома, окликнул моего старика: «Человек, эй, человек! В этом доме есть свободные комнаты? Мы хотим снять квартиру». Отец ему с ходу ответил: «Очень сожалею, но здесь весь дом занимают воробьи да синицы, жилец, да еще такой элегантный, среди них не поместится».

Он подкрутил свои серебристые усы. Улыбнулся. Его помолодевшее, оживленное лицо склонилось ко мне, будто я была старой знакомой, неожиданно встреченной в пути.

— Лелеял отец свои персиковые деревья, берег, охранял, а когда цветы розовым снегом посыпались, страшно беспокоился, завяжутся ли плоды. Завязались. Мохнатые, как мышата, покрытые темно-зеленым пухом, длинненькие, маленькие, крохотулечки. Все жаркое лето грелись они под польским солнцем, но, увы, так и остались зелеными и твердыми. Соседи над нами посмеивались, спрашивали, когда мы их брить будем. А в октябре и отец перестал ждать, не говорил больше о персиках. Только ходил по саду и посвистывал. Ха-ха! Так и окончилась наша персиковая эпопея.

Он рассмеялся, довольный собственным рассказом.

— А в один прекрасный день наши зеленые мышата покрылись инеем... Я вам не надоел?!

В ожидании ответа он наклонился в мою сторону еще больше, и я снова явственно ощутила крепкий запах мундира; ему страшно хотелось сквозь шум и рев моторов расслышать мой ответ. Он чем-то напоминал десятилетнего мальчишку, любящего рассказывать, делиться своими фантазиями и жаждущего хоть толики интереса от собеседника.

— И вам приснились эти персики?

Он покачал седой головой.

— Мне приснился персиковый сад, но только не в Польше, в Калифорнии. Я понял, что в Калифорнии. Но все еще слышу: «Здесь мы будем жить. Вот он, наш дом». И хотя я не верю снам, одно для меня ясно: я поеду туда. Если случится чудо и я встречу мою девушку, мы поселимся с ней в персиковом саду.

Я видела, что он возбужден. По всей вероятности, то, что он говорил, перекликалось с его прежними мыслями, сомнениями, надеждами; на его простом сарматском лице появилось растроганное выражение.

— Известно, что снам верить не стоит. Но я видел этой ночью два сна. Разрешите рассказать вам и второй?

Он совсем другой. Вы бывали в Беловежской пуще? На экскурсии, да? Ну так вам наверняка показали загон для зубров и два скелета в охотничьем музее. Вот это и есть мой второй, а может, первый сон: зубры в смертельной схватке, в слепом, бессмысленном бою. Они сцепились, уперлись рогами, бьют друг друга копытами. Снесли ограду. Поубивали один другого. И напрасно егеря старались их разнять.

Он кричал так громко, что, несмотря на шум моторов, я слышала каждое слово.

— Вот такой мне приснился сон. Что он означает, каждому ясно: нет победителей в этой войне. Обе стороны проиграли в схватке. И лежат теперь, как зубры в Беловежской пуще, только кости белеют. Кости, ясное дело, всегда для музея пригодятся. Чем-то ведь надо музеи заполнять. Европа на этом деле собаку съела. Но, будь я зубром, я бы отказался пополнить собой экспозицию. Я бы предпочел жить. Как все мои и ваши сверстники, одноклассники, все, кто лежат там. Вы видите? Вон там.

Он несколько раз энергично ткнул пальцем вниз. И повторил:

— Там. В песке.

— А где, собственно, мы сейчас находимся? Как вам кажется? — спросила я, прерывая ход его мыслей.

Он потер лицо обеими руками. Откинутые набок серебристые волосы делали его похожим то на сфинкса, то на возбужденного воспитанного мальчика.

— Полагаю, что все еще в Европе. В этом мы можем быть абсолютно уверены. Наш экипаж не оставляет попыток добраться до места назначения. Хотя я предпочел бы находиться уже над Калифорнией.

— Без посадки в Нюрнберге?

— Мне не хочется вести тут муравьиное существование на останках погибшего зубра. Я намерен забраться как можно дальше от Европы. Надо двигаться вслед за ударом, как боксер. Я найду свою девушку. Осмотрюсь в Нюрнберге, поговорю с людьми, порасспрашиваю перемещенных лиц, может, кто встречал ее после войны. И вместе — в большой мир! Надо двигаться вслед за ударом. Даже побеждающий боксер проиграет, если будет канителиться.

Он проверил часы, улыбнулся. Когда, перегнувшись через ручку кресла, он наклонился ко мне, я увидела помальчишечьи свежий рот, сверкающие здоровые зубы.

— Черт знает над каким лесом кружим мы в эту ми-

нуту. А что кружим — это факт, чувствуете? И в левом иллюминаторе виден лес. Шутка сказать!

— Мы снижаемся. Причем резко. Вы были правы. Уши закладывает.

Я сжала пальцами виски. Рядом со мной раздался фальцет Михала Грабовецкого, который старался опекать нас, пользуясь каждым удобным случаем:

— Глотайте! Глотайте! Сразу станет легче!

Мой сосед откинул голову назад и хлопнул себя по колену.

— Глотать! Но что тут, скажите на милость, можно глотать? Я бы с удовольствием проглотил копыта самого дьявола, поджаренные на масле с лучком,— так мне есть хочется. Если б они, конечно, не были слишком жесткими. Мало я голодал в оккупацию, теперь еще в самолете приходится пояс затягивать. На землю! В гостиницу! В ресторан "Nur für Nicht-Deutsche"[1]! К столу! Тащите хлеб с маслом! Кофе с молоком! Соль! Сахар! Подайте сюда метрдотеля! С питьем и жратвой! Кнехты! Бывшие шарфюреры! Тевтоны! Официанты! Заколите для меня кабанчика! Приготовьте ветчины!

Я с любопытством наблюдала за ним. Мощный бас, казалось, взрывал воздух. Откинув назад голову, упершись ладонями в колени, он веселился, точно четырнадцатилетний пират, отдающий приказы своей команде.

Самолет явно шел на посадку. Себастьян, искоса поглядывая на меня, победно улыбался.

Поддавшись его настроению, я предложила:

— Давайте отгадывать, что под нами — Прага? Будапешт? Варшава? Нюрнберг?

Не выходя из роли атамана, он вытянул руку вперед:

— Сейчас нам сообщат. Прошу вас. Мы слушаем! Мы слушаем! Командир разговаривает с аэродромом и сейчас доложит нам, пришлось ли ему снова изменить курс.

До чего это странно: в подобных ситуациях никто уже не пугается. Мы поверили, что войны нет, мы доверились жизни. А я? Меня пробрала дрожь. Сосед спросил:

— Чего вы боитесь?

Мне трудно было ответить.

— Вы что, не верите, что немцы сложили оружие?

— Я поверю в Нюрнберге,— сказала я тихо.

---

[1] «Только для не-немцев» *(нем.).— Здесь и далее примечания переводчика.*

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Из кабнны пилота вышла стюардесса, подтянутая, точно образцовая медсестра. Я с любопытством разглядываю ее: правильные черты лица ничем не подчеркнуты — нет следов пудры, карандаша или румян. Она молода н очень утомлена. С минуту стоит, пряча за спину рукн,— видно, держнтся за что-то, чтобы сохранить равновесне. По ее улыбке можно догадаться, что мы услышим приятные новости, но пока она молчит. Пассажиры еще не заметили ее, кое у кого закрыты глаза, один, бросив взгляд на хрупкую фигурку, продолжает читать, многие спят. Непонятно, когда заснул, наклонившись вперед, и мой сосед. Он похрапывает, полуоткрыв рот. На фоне непрекращающегося гула самолета храп его кажется беззвучным.

Стюардесса поднимает руку:

— Прошу внимания! Мы пересеклн границу. Скоро будем в Нюрнберге.

Пассажиров охватило неожиданное веселье, смех разбудил спящих, отрезвил читающих. Я встрепенулась, изумленная такой реакцией.

— А что будет, если Нюрнберг нас снова не примет? — Чтобы задать этот вопрос, доктор Оравия встал, протягивая руку вперед. Сутулый, худой, с торчащими ушами, приподнятыми плечами, он похож на большую летучую мышь.

— Еще раз попросим наших братьев чехов пустить нас переночевать в Праге,— фальцетом отвечает Грабовецкий.— И вообще, это вовсе не Нюрнберг. Я протестую. Аэродром называется Фюрт. Фюрт под Нюрнбергом.

И снова все хохочут. Странно.

Я до болн сжимаю ладони, но все равно мне это кажется сном. Только во сне можно так мчаться, оставаясь на месте, не видя домов, деревьев и вообще ничего такого, на чем можно остановить взгляд. Только волнистая, чуть розовеющая белизна на горизонте. Какая дивная санная дорога! Может быть, впереди нас резво бежит собачья упряжка, это лапы так ритмично бьют по облакам, бах-бах, бах-бах, бах-бах. Далеко, на краю снежной пустыни, металлическнм блеском сверкают искры, нх становится все больше н больше, они слепят глаза, вот уже искрнтся целая полоса, бегущая вдоль горизонта; сверканне прнближается к правому крылу нашего самолета, заставляет его накрениться на левый бок, описать петлю на санном пути, сделать круг, спускаясь все ннже н ниже, так что

начинает стучать в висках. Я прикрываю глаза. До чего долог перелет! Кажется, что он будет длиться бесконечно.

И все же мы явно идем на посадку. Пассажиры глубже погружаются в свои кресла, зажимают пальцами уши, мотор воет, самолет дрожит, хвост так и хлопает по воздуху, кончилась гладкая санная дорога, мы несемся по воздушным выбоинам и кочкам.

Метель швыряет самолет, превращает его в еще одну снежинку, подбрасывает выше облаков, кидает вниз, в пропасть. Конечно, рука пилота принимает участие в этой игре, но с мизерным результатом. В который раз мы пытаемся преодолеть пространство между Варшавой и Нюрнбергом? На аэродроме в Варшаве нам говорили: «Пустяки. Два часа — и вы у немцев», а наш полет так затянулся.

Доктор Оравия съежился, втянул голову в худые плечи, сгорбился и замер, а взгляд его перебегает с кресла на кресло.

— Как вы себя чувствуете? Дышите с открытым ртом.

— Все в порядке, пан доктор,— отвечаю я, легонько качнув рукой.

Мой сосед пытается справиться с тошнотой.

— Я блюю, значит, я существую,— говорит он, совершенно позеленев.— Простите. Это нервы. Вы не хотите закурить?

— Нет, спасибо. Все хорошо, только уши болят.

— Могу предложить вам жевательную резинку,— говорит он, слегка смущенный.— Говорят, это отлично помогает.

— Но ведь это вы себя плохо чувствуете. Со мной все в порядке.

Мужчина постепенно приходит в себя и становится разговорчивым.

— Уж и не знаю, сколько раз в своей жизни я нарушал законы, но, видит бог, есть закон, который, к сожалению, нарушить не удастся,— закон земного притяжения. Обидно будет свернуть себе шею сегодня, когда кончилась война.

— Пан Себастьян! — громко окликает его доктор Оравия.— Я бы с удовольствием освежил рот. Вы не угостите меня?

— Прошу вас. Этого добра у меня много.

Доктор берет кусочек завернутой в целлофан жвачки, медленно разворачивает ее, кладет в рот и задумывается.

Потом вдруг произносит, обращаясь то ли к нам, то ли к собственным мыслям:

— А ведь они могут заявить, что мы опоздали. Как вы считаете? Если они уже закончили опрос свидетелей, скажут нам: Sorry. Просто-напросто: Sorry!

Слова доктора пугают меня. А он возбужденным голосом продолжает высказывать свои сомнения:

— Не надо переоценивать важности наших показаний в данный момент. Процесс подходит к концу. Польша опоздала. Прошел год и месяц со дня освобождения Варшавы. Год и месяц! Мир уже начал забывать о том, что было, а нам кажется, что все будут плакать вместе с нами. Это наше заблуждение.

Его пальцы быстрыми плавными движениями пробежались по лбу, остановились на веках, безжалостно давят на глаза.

Видимо, мысли доктора опережают наш самолет — он то и дело нервно вскидывает руки и потрясает ими над головой.

— Мир забыл уже обо всем том, чего мы с вами не забудем никогда,— добавляет он.

На правом крыле вспыхивают прерывистые огоньки, гаснет и зажигается красная мигалка, внизу немецкая земля. Оказывается, наконец-то она прямо под нами, надо только посадить самолет. В каждом из нас растет беспокойство. В Варшаве нам внушили, что мы необходимы, что без наших показаний, без нескольких слов, которые мы можем сказать на Нюрнбергском процессе, трудно будет составить верное представление о вине подсудимых.

Внезапно нас снова окутал туман. Стоны двигателей в тумане кажутся натужными. Может быть, самолет не справляется с пространством, может, он повис неподвижно в этой гуще, точно корабль в Саргассовом море? Может быть, рокот и ощутимое дрожание — результат бесплодных усилий?

Это ощущение затягивается. Кажется, что, влекомые силой притяжения, мы кружим над земным шаром или, заблудившись, тычемся туда-сюда над каким-то неизвестным материком.

Мы качаемся в пустоте между облаками, вырванные из течения времени, часов, минут. Ни в правом, ни в левом иллюминаторе ничего не видно, стекла залепила серовато-бесцветная густая мгла.

Было трудно разобрать — полдень это или светлая ночь. Меня то будил, то усыплял спокойный тихий моно-

лог. Теплый, убаюкивающий голос, он лишь частично проникал в сознание, словно отдаленное эхо вечерних домашних бесед под звук мурлычущего огня, угасающего с тихим потрескиванием искр и снова вспыхивающего на миг. Слова уплывали и возвращались, шум двигателей заглушал их, но изредка стихал, и тогда мне удавалось различить главное. Я поворачиваюсь в кресле, чтобы лучше слышать обрывки фраз; оптимизм слов согревает меня, и я вновь погружаюсь в безопасную и уютную пучину сна.

— Европа, очищенная от этой мерзости, ждет нас. Путь открыт. Проверено: мин нет. Вот теперь мы заживем!

Фальцет Михала Грабовецкого, пробивавшийся сквозь непрерывный гул, успокаивал меня:

— Европа вылечена раз и навсегда!

Мне легко дышалось. Хотя ощущение тяжести, сковавшее мое сердце, не проходило.

— Европа теперь — это о-го-го! Сами увидите. Наберитесь только терпения. Проблема решена раз и навсегда.

Как приятно слушать это и дремать, закутавшись в плащ, в грохоте мчащегося металла.

Мой сосед теперь храпит уже основательно, его склоненная голова мотается из стороны в сторону, светлая шевелюра закрыла лицо.

Проваливаюсь в сон и просыпаюсь. Мысли навязчиво возвращаются все к той же теме.

Позади осталась столица: развалины, вывернутые наизнанку железобетонные внутренности домов — мертвый город, внушающий ужас торчащими металлическими балками, стальными прутьями, выцветшими и скрюченными, точно перегнившая солома. Моя столица. Беззащитная перед многотонными бомбами, падающими с неба, и струями огня с земли, как беззащитны были дети под дулами эсэсовских автоматов.

Прошел уже год с тех пор, как ее освободили. В подвалах домов лежат засыпанные тела. И живут люди.

На аэродром я добиралась на велорикше, сугубо военном в Польше виде транспорта. За рулем сидел совсем юный паренек. Он поначалу поморщился — аэродром далеко, снег валит, а у него единственная «тяга» — собственные ноги. Мне пришлось разрешить его сомнения, сказав всю правду:

— Дорогой мой! Через полчаса вылет. Я должна успеть. В Нюрнберг! Вы должны понять! Эта толстенная папка, перевязанная веревкой,— документы Комиссии по рас-

следованию преступлений гитлеризма. Мне нельзя опоздать. Выручайте.

Он сразу тронулся с места, набросив полог на папку с документами, лежавшую у меня на коленях,— снег валил все сильней.

Путь был неблизкий. Через все Иерусалимские Аллеи, в метель, мимо развалин, сгоревших домов, все еще пахнущих смертью. Паренек-рикша не спрашивал меня, что я делала во время оккупации, почему и зачем еду в Нюрнберг. Молча, нагнувшись вперед, он с усилием крутил педали. Я тоже не интересовалась, как он жил во время оккупации: только ли ездил за салом в деревню или помогал подпольщикам переправлять оружие; а может, развозил свеженапечатанный бюллетень против оккупантов. Воевал ли он?

Мы выехали на прямую дорогу. Рикша мчался к аэродромной таблице с неясными, залепленными снегом буквами. Наконец! Уже видны знакомые мундиры работников аэродрома, а чуть дальше на взлетной полосе огромный самолет и трап.

Его не надо было подгонять. Наклонившись, с искаженным от метели и ветра лицом, с каплями пота на лбу, он летел все быстрей и быстрей, словно разделяя мою боязнь опоздать.

Вот уже первая табличка у ворот, строго запрещающая въезд на территорию военного аэродрома, но мой рикша, не задумываясь, проскочил мимо столба. Часовой пытался жестом остановить нас, но мы уже миновали второго, третьего. Военный аэродром. «Вход строго запрещен» — многочисленные таблички сливались в одну сплошную надпись. Мы неслись вперед к подрагивающему самолету, и вдруг кто-то железными руками схватил за шиворот меня и рикшу. Наш жалкий экипаж вмиг остановился. Пальцы бледного от гнева майора безжалостно впились в мое плечо, да и паренька он, должно быть, крепко прижал своей жесткой, как клещи, рукой — тот даже голову наклонил набок.

— Сопляки! — орал на нас бог авиации.— Засранцы! Еще миг, и от вас осталась бы рубленая котлета! Вам бы головы поотрывало!

Самолет двинулся с места. К дрожанию корпуса добавилось едва заметное вращение колес.

Я пыталась уговорить разъяренного летчика не задерживать рикшу:

— Мне надо в Нюрнберг! В Нюрнберг! На процесс!

Последние дни свидетельских показаний!

Он приложил ухо к моим губам, и я снова прокричала каждое слово. Он выпрямился.

— Ваш самолет сейчас подгонят,— его голос перекрывал гул моторов двигающегося над нами гиганта.— Как только этот взлетит.

Майор обернулся. У здания аэродрома я увидела остальных свидетелей и нашего Михала Грабовецкого, который махал мне рукой.

Рикша стирал с лица снег и пот. Мы остались одни. У майора тут и без нас забот хватало, он не держал нас больше — самолет умчался по взлетной полосе за край горизонта.

Я простилась с парнишкой, не без любопытства проследив, как он поведет себя, получив в благодарность за свою бешеную гонку самую большую из существующих купюр.

Но он просто не отреагировал. Сунул в карман этот кусочек гербовой бумаги, все еще тяжело дыша. Я задумалась: может, для него, как и для меня, деньги эти не имели значения?

И вот после всей этой спешки мы летим уже третий день. Впереди Нюрнберг. Там судят гитлеровских преступников, а мы, группа людей, которая мчится сквозь бурю и туман, преграждающие нам путь, мы вызваны туда как свидетели. Мы найдем нужные слова. Из собранных в папке документов и фотографий выберем те, которые подтвердят наши показания.

Если успеем. Если не предстанем перед Трибуналом слишком поздно. Как трудно упорядочить в мыслях все то, что, возможно, вовсе уже не понадобится.

Мне предстоит давать показания перед Международным военным трибуналом, а за моими словами будет молчание миллионов людей, навсегда оставшихся в Освенциме.

Мы легко поддались бы политическому пессимизму, если бы не этот суд, заседающий уже много месяцев.

Нюрнберг. Огромный траурный колокол, раскачивающийся над Европой. В крепком пожатии сплелись ладони антигитлеровской коалиции, жесткие, корявые от натертых автоматами мозолей. Автоматами, поднятыми на защиту людей. На защиту детей. На защиту домов и полей. И этот Трибунал тоже собрался для защиты людей, домов и полей. Я жива. Кончился кошмарный сон. Открылись глаза.

Сейчас утро. Я жива. И у меня снова есть какие-то права. Мне не нужно возвращаться в царство кошмарной действительности. Я могу идти вперед.

А как же другие? Траурный колокол повторит их имена и фамилии, даже имена их родителей, даты рождения, названия их городов и деревень. Живые сохранят их в памяти, воздвигнут им памятники. Но не воскресят их.

Пришла пора спросить убийц о смысле и цели содеянного ими. Они обрывали и без того короткое человеческое существование. Может быть, в Нюрнберге они скажут — зачем? Что это — инстинкт борьбы? Генетические отклонения? Желание обогатить свое отечество über alles? Мы услышим голоса неразговорчивых эсэсовцев, приближенных Гитлера, верных, предельно предприимчивых и энергичных генералов, на ответственности которых все, чем дымятся до сих пор огромные поля Европы. Теперь они раскроют рты и постараются говорить как можно дольше, станут по своему обыкновению приводить множество аргументов и смягчающих вину обстоятельств.

Я никогда не называла театром военных действий окопы, где трупы лежат бок о бок с живыми, которые в напряжении ждут следующего взрыва или перемирия. Полевой госпиталь, до отказа набитый ранеными солдатами, никогда не был для меня сценой из театра военных действий. Называть войну театром — преступление. Такое же преступление, как вбивать в юные головы песни о радостной смерти, о наслаждении истекать кровью. Кровь воняет. КРОВЬ ВОНЯЕТ!!! Она очень быстро портится и издает тошнотворно сладкий запах. И к этому трудно привыкнуть. «Сомкнем ряды мы наши вновь, прольем мы за свободу кровь» — насколько иначе звучат для меня сегодня слова, которые мы так беззаботно распевали до войны, в школьные годы!

А Нюрнберг кажется мне необъятным форумом, внушительным, как античный театр. Здесь предстанет перед нами человек и скажет, по каким путям вела его судьба, раскроет свою слепоту, свою бессмысленную страсть к уничтожению собственной и чужой короткой жизни, свою безграничную слабость и свою животную силу, которая толкала его убивать, сыпать смертельный порошок «циклон» в газовые камеры, обдумывать методы усовершенствования безумных планов убийства детей, уничтожения стариков, истребления взрослых. Отзовется молчащий гитлеровский Голем, распахнет сердце перед лицом

справедливости. Нибелунги, превратившиеся в чудовищ, которых я имела несчастье видеть, которые врезались в мою память, вросли, запечатлелись в ней навсегда.

Ко мне вернулась жизнь. Должно быть, вернется и вера. Но это произойдет еще не скоро. У меня нет иллюзий, толпы нибелунгов-эсэсовцев удрали в тень, за стены, за ворота, в подвалы, на чердаки, попрятались за деревьями, я слышу их дыхание, они сами приучили меня так смотреть на них, я видела их вблизи, я видела их за работой.

Война не была молниеносной. Молниеносным был ее конец, впрочем не для всех, для тех лишь, кто остался в живых. Для гитлеровцев быстрый финал оказался во многом спасительным, во всеобщей суматохе они успели сменить одежды и выражение лица. Вот они. Смотрят на нас. Молчат. Там внизу, в Нюрнберге, они у себя дома, а вовсе не я и не наши союзники.

Великий форум справедливости народов распахнул двери. Не знаю, кто первый заронил сомнения в мою душу, но знаю точно, что, несмотря на все свои сомнения, я попытаюсь во что бы то ни стало поверить в необходимость наших показаний.

На дворе февраль 1946 года, дует ветер, держится мороз, нас качает пурга, самолетом управляет метель, а мы, пассивные, словно ручная кладь, пытаемся добраться до цели, чтобы там, по просьбе польских юристов, ответить на вопросы этого уникального в истории человечества суда над военными преступниками.

Доктор Оравия перегнулся через кресло — в этой немного странной позе его худое тело напоминает беспомощно растянувшегося кузнечика — и кричит, ни к кому не обращаясь:

— Бьюсь об заклад, что это снова вынужденная посадка. Варшава — Нюрнберг за три дня?! Самолетом?! Это было бы слишком здорово.

Грабовецкий вытянул руку, но блик ослепил его, заставил прищуриться, засверкал на его лысине, точно на золотом шарике.

— Вы уже проиграли. Нечего было спать! Метель кончилась, погода налаживается, дует легкий ветерок, и вот-вот, я полагаю, покажется солнышко. О! Вот и оно!

Самолет зашел на вираж, вокруг вихрились маленькие облачка, солнце осталось далеко позади, за хвостом, покатилось обратно в Польшу.

Доктор Оравия описывает в воздухе эллипсы, параболы.

— Бьюсь об заклад, что Нюрнберг нас не примет, придется снова, как вчера и позавчера, ночевать в Праге. Уж коли мы в первый день не смогли пробиться сквозь метель, а вчера не удалось ни проскользнуть поверх облаков, ни проползти низом, хотя пилот, точно помешанный, тащил нас почти по самым верхушкам елей, так почему ему сегодня в непроглядный туман удастся посадить самолет?

В самом деле. Неужели посадка возможна? Она столь же реальна, как, например, желание высадиться на одном из этих облачков, неподвижно застывших у правого крыла самолета; крыло манит пробежаться по нему, точно по деревянным мосткам на берегу озера; это облако не менее конкретно, чем весь завтрашний день, чем вспыхнувшая внезапно надежда, что, прилетев в Германию, я, быть может, найду там Томаша, героя моих сновидений. Жив ли он? Там, в заметенной пургой Европе?

Странно думать об этом теперь, когда спустя почти год после войны он не дал о себе знать. Не написал. Не передал привета с теми, кто возвращался.

— Найди кого-нибудь, кто видел его последним,— умоляли родители Томаша.

Они не могли смириться с тем, что война убивает молодых, отнимает сыновей, а павшие не возвращаются, как бы преданно их ни ждали. Всему этому не было места в телефонном разговоре между Краковом и Варшавой, мной и ими, в разговоре, в который то и дело врывались зимняя метель и треск во все еще временно протянутых проводах. Обрывки слов, разрозненные звуки сложились в информацию о том, что после всех безуспешных обращений в Красный Крест они написали еще одно письмо и просят, чтобы я опустила его в Нюрнберге. Вот и все.

Отсутствие Томаша меняет его образ. Вокруг него появляется некий ореол, который с течением времени становится все ярче; воображение и правда все смещает, смешивает, какие-то детали, эпизоды выступают на первый план. Отчаянная храбрость, патриотизм — что ценилось в Польше выше этого? Тени под глазами и письма, полные поэзии, письма в десяток с лишним страниц, исписанных неразборчивым мелким почерком. И еще адрес родителей, сообщенный на всякий случай.

Я боюсь признаться даже самой себе: это все, что сохранила моя память. Год тому назад его окутал мрак неизвестности, поглотила пучина, проникнуть в которую

ие может ни мысль, ни дружба, ни любовь. Вероятно, имеиио поэтому во мие укрепилась уверенность, что его успели убить в последиие месяцы войиы.

И каждое новое сомиение делало тьму вокруг него еще гуще. Все, кто мог, возвращались оттуда или сообщали о себе через Красный Крест — присылали весточку с теми, кто ехал на родииу. А молчаиие вокруг иего кричало ужасом братских могил, взывало к рассудку: если войиа поглотила миллиоиы жертв, он мог оказаться среди них.

И все же его родители, вопреки очевидиости, верят, что он жив.

После войиы все мы проснулись в другом мире. Исчезли многие прежиие проблемы, возиикли иовые ситуации; мечты прошлых лет могут оказаться такими же иеиужными, как сиошенные в годы оккупации кеды, давио уже выброшеиные иа помойку; или как бутылка, в которой были спрятаны, зарыты в землю статьи для подпольиой прессы. Все это далекое прошлое. Я с недоумением спрашиваю себя: а если он жив? Тогда чем человек, отсутствующий и поэтому как бы иереальный, отличается от умершего? Ведь не было даже малейшего иамека иа то, что ои жив и где-то существует: если ои вериется из-за горизоита, если окажется даже, что ои выбрался живым из этой мясорубки, перемоловшей миллиоиы людей, какой будет его дальиейшая жизиь? И иаша дальнейшая жизнь, даже если иам суждеио встретиться?

Еще одии вираж самолета, и белые облака оказываются далеко позади, в мертвом океаие лазури. У правого крыла теперь собрались продымлеииые тучи, за иими прятался ветер, теперь ои набросился иа самолет, подкидывает хвост, мы сиова летим вниз по ухабам воздушного пространства, которое противостоит сильиым рукам пилота, урагаиом преграждает иам путь к цели, как вчера и позавчера.

А цель — это Нюриберг, город, где вериут утрачениое равиовесие больиому, изможденному лихорадкой миру. Сразу же, через иесколько месяцев после войны, люди изолировали помешаииых вождей, иадели на психопатов вместо муидиров смирительиые рубахи, их преступлеиия обиародуют и выиесут им приговор. И никогда больше не посетят нас сомиеиия, беспомощность и опасения, что не только в иебе, но и на земле нет ни дружбы, ни смысла жизии. В Нюрнберге заседают те, что сильнее немцев, те, что доказали свою силу и разум,— победители.

С новой чистой страиицы будет писаться история Европы.

И эта цель уже совсем рядом, если мы не изменили направления.

Мотор завывает. Из кабины пилота доносится возбужденный рвущийся голос радиста и треск аппарата. У меня сжимается сердце: Нюрнберг все ближе. Внимание, внимание, мы подлетаем! С опаской смотрю в иллюминатор.

Из-под крыльев вылезли утиные лапы, снабженные колесами. Наезженный снег мчится все быстрей и быстрей навстречу летящему наискосок вниз твердому телу.

Вместе со снегом несется вверх размазанное черное пятно — это «джип». На капоте у него белая пятиконечная звезда, которая становится все ближе, все больше. Ощутимый толчок; в бледном зимнем рассвете мы скользим, подпрыгивая, по взлетной полосе.

— Земля! — с облегчением восклицает Себастьян.

Грабовецкий по привычке спорит:

— Какая же это земля? Это бетон.— Потом, задумавшись и как бы отвечая собственным мыслям, добавляет: — Представляю, как нам попадет от нашего судьи. Он больной человек. На такую должность надо было назначить более энергичного! Это же неврастеник! Как я ему скажу, что привез не все?!

Американский солдат в брюках, заправленных в невысокие башмаки, идет враскачку. Можно подумать, что аэродром — огромный корабль, а сам он — моряк, привыкший сохранять равновесие при штормовой волне.

Мой сосед сидит с закрытыми глазами, кажется, что он задремал, но вдруг я слышу отчетливо произнесенные слова:

— Я ненавижу, значит, я существую.

Что-то сверкнуло в его глазах, и он снова замер.

— Я ненавижу этот ваш знаменитый Нюрнберг.

Раз за разом он нервно зевает, его мощный голос внушительно и несколько странновато звучит в полупустом самолете — моторы смолкли, в салоне тишина.

— Я был уже тут однажды. Знаю, в чем суть этой забавы. Пусть меня кондрашка хватит, если я тут останусь. Вы и сами поймете, что такое Нюрнберг.

Он расхохотался, откинув голову на спинку кресла, закрыл ладонями лицо. Могло показаться, что он плачет от смеха.

Я наблюдала за ним с неприязнью.

— Вы еще убедитесь! Время покажет, кто проиграл войну. Это теперь, пока в Европе такой хаос, чтобы не сказать грубее. Это же самый обычный бардак!

Я снова увидела его рот со сверкающими зубами. В его смехе звучала горечь. Может, даже злость.

— Неужели вы и впрямь верите в существование Трибунала, который в состоянии рассмотреть все преступления немцев? И всего за несколько месяцев, по вашему мнению, можно свести счеты с войной? А потом начнется новая, чистая страница истории?! Ерунда! Бред! Пусть меня кондрашка хватит — это же чистой воды фантазия!

Слышно, как от ударов ветра пронзительно взвизгивают стальные тросы самолета. Порошит мелкий снежок, оседает на проводах, укутывая и утолщая их, но тут же осыпается от малейшего дуновения, нарушая этот белый рисунок.

Пассажиры не двигаются с мест — необходимо уладить еще разные формальности, но всех охватило нетерпение, говорят наперебой, каждый решает международные проблемы.

— Я хотел бы быть правильно понятым,— восклицает молодой человек.— Нам следовало бы пойти на значительные уступки, изначально определить более мягкую меру наказания взамен за возможность судить хотя бы нескольких из них в Польше. Я убежден, что Краков — единственное место на земле, где должно слушаться дело Ганса Франка.

Он раздраженно бьет кулаком по креслу и явно обращается к Себастьяну, делая долгие паузы в ожидании ответа:

— Разве не Франк отвечает за вывоз и смерть польских ученых? Именно там, где он жестоко расправлялся с народом, там, где он не остановился даже у ворот Ягеллонского университета, согласитесь, именно там надо его судить по законам европейской культуры и этики. Пусть бы и приговор ему вынесли не столь суровый, как в Нюрнберге, но зато Польша показала бы миру его злодеяния. Поверьте: Краков, и только Краков.

Все молчат. Приглушенные шаги американских солдат раздаются все ближе, замерзший снег хрустит под их сапогами, точно сыплющееся зерно.

Послышался равнодушный, с ноткой иронии голос Себастьяна:

— А вы, вероятно, единственный человек на земном шаре, кто бы мог взять на себя проведение этого процесса. Никто, кроме вас, уважаемый судья? Вы же себя видите в этой роли?

По взлетной полосе мы шли к деревянному строению.

Молчали. Снег беззвучно покрывал крыши, фонари, заборы. Все вокруг казалось ирреальным, мы не слышали собственных шагов. Единственным звуком было нервное посапывание доктора Оравии.

Судья заговорил с раздражением:

— Я предложил единственно верную концепцию суда над Гансом Франком. Над гитлеровской Германией. А некоторые позволяют себе острить!

Доктор Оравия остановился, из его рта валил пар. Снег выбелил ему брови, покрыл пухом пальто, снежинки таяли на его губах.

Себастьян, расстегивая ворот тулупа, поравнялся с ним.

— Гениальная идея! — воскликнул он, хлопнув себя по ноге.— Гениальная! Привезти Ганса Франка в Краков! В Королевский дворец на Вавеле и там допрашивать. Может, даже устроить ему торжественный прием? Пусть меня кондрашка хватит!

Судья не все расслышал, что сказал Себастьян, и энергично откликнулся:

— Именно туда следует его доставить и провести следственный эксперимент с участием журналистов и юристов со всего мира. Нам ведь не дождаться, чтобы Трибунал в Нюрнберге сосредоточился только на Польше!

Американский солдат, ни на минуту не прекращая жевать жвачку, взмахнул рукой и что-то пробормотал. Похоже, он сказал: please.

Мы прибавили шаг. Себастьян шел молча, сильно хромая. Его палка скользила по снегу и только мешала идти. Ветер откинул назад его буйную шевелюру, остудил румяные щеки.

В здании аэропорта американский дежурный проверял паспорта. Себастьян обтер лицо рукой, подкрутил усы.

— Поскольку теперь вы знакомы с теорией двух зубров, вы, полагаю, наверняка задумаетесь над тем, как прожить оставшуюся жизнь.

От неожиданности я ничего не ответила. Себастьян же спокойно и внушительно продолжал:

— Одно не подлежит сомнению: жизнь в Польше еще не скоро придет в норму, это надо осознать. Война была только вступлением... Зубры шумно втянут ноздрями омерзительный смрад и вновь будут готовы столкнуться лбами.

Я хотела перебить его, но он поднял руку.

— Найдите в себе смелость дослушать меня, барышня. Конечно, можно сказать: если в Беловежской пуще два зубра возненавидели друг друга — значит, в них заго-

ворил инстинкт диких зверей. Ну а среди домашних животных? Борьба еще будет продолжаться, коммунисты будут драться с капиталистами, зубры с зубрами, быки с быками, бизоны с бизонами. На утрамбованном польском поле. Советую вам задуматься о цене жизни. Мы живем только раз. Мир открыт для молодых. Европа. США. Мало ли что еще. Австралия, Венесуэла? Что угодно, только не земля наших предков, где военные кладбища громоздятся друг на друге и неизвестно, чего ждать. Где поэты учат, а учителя внушают молодым, как отрадно умереть за родину, как радостно подыхать в девятнадцать лет. А зачастую и намного раньше.

Мне хотелось сказать ему, что это болезненный пессимизм, но Себастьян не дал мне открыть рот.

— Может быть, мы встретимся в Нюрнберге, если мне повезет и вы будете так любезны. Мы бы еще вернулись к разговору о беловежских зубрах.

Американец скривился, пытаясь прочесть фамилию Себастьяна.

— Вежбица,— помог ему Себастьян и снова обратился ко мне: — Вы надолго в Нюрнберг?

— Надолго.

— Я бы вам не советовал. Поберегите нервы.

— Вы же приехали сюда.

Он смотрел в окно, но туман за стеклом накрыл аэродром, строения, людей, автомобили. Наконец он ответил еле слышно:

— Ошибаетесь. Я здесь всего лишь транзитом. Я уже побывал в Варшаве, в Кракове и не нашел никого из своих. Много воды утечет, прежде чем я смогу туда вернуться. По личным обстоятельствам. Но не только.

Он умолк. Веки его опустились, лицо застыло.

Я не была уверена, действительно ли расслышала его шепот, может, мне почудилось, поскольку я была занята собственными мыслями, может, это лишь ветер прошуршал, рассыпая сухой снег.

— Я вернулся мертвецом.

Трудно найти в ответ слова. Множество чудом спасенных жителей Европы однажды почувствуют это: я вернулся мертвецом. Обнаружат эту истину, постепенно привыкнут к ее тяжести, привыкнут провожать с ней прожитый день и встречать следующий.

— Я увижу Лондон,— говорил Себастьян тихо, не открывая глаз.— Когда-то я мечтал об этом. Я увижу Париж, Венецию, Флоренцию, Рим. Я знаю, что там я буду так же



2—1203

одинок, как в эту минуту. Мне будет не хватать близкого человека, с которым можно поговорить.

Он усмехнулся, рот его с опущенными углами походил теперь на подкову.

— А может, я просто не найду никого, перед кем бы мне хотелось скрыть свои пакости, любовные похождения. Я ведь, к вашему сведению, был порядочным мерзавцем. Обманывал ее бессовестно. Безжалостно обижал. Но вот если б я встретил ее сейчас... у выхода с аэродрома... Господи боже мой! Моя связная времен оккупации. Я женился на ней в начале войны, в лесу, без алтаря и священника. Из моей семьи не выжил никто. Никто ничего о них не знает... А я ищу их... И ее тоже...

Из-под усов снова сверкнули зубы. Он закусил губу. Это было похоже на странную диковатую улыбку. Я продвинулась вперед, чтобы не смущать его.

Тихий голос Вежбицы раздался сзади, он то взрывался мощным баритоном, то опускался до шепота:

— Если они погибли, ничто не удержит меня в Польше. Я готов продать оставшиеся мне годы жизни, обе руки и какие ни на есть способности самому дьяволу! Канада, Мексика или Австралия — все равно. Всюду нужны рабы. Может быть, вы уже слыхали, как здесь ведется торговля живым товаром? В Нюрнберге вы увидите это своими глазами! В Нюрнберге вообще можно увидеть много любопытного. Насколько я знаю, вы остановитесь в «Гранд-отеле»? Так имейте в виду: фасадом гостиница обращена к железнодорожному вокзалу. Проще некуда! Стоит только купить билет, и вы на другом конце Европы. Или намного дальше.

Тишина. Аэродром исчезает в тумане, туман, медленно надвигаясь, усыпляет и поглощает всех.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Доктор Оравия наклоняется к угрюмо молчащему Райсману, шевелит губами, еще и еще раз обращается к нему, но Райсман, поглощенный своими мыслями, долго не реагирует и наконец смущенно удивляется:

— Что вы говорите? Неужели сегодня воскресенье? Мне и в голову не приходило, что уже воскресенье. Это ж надо!

— Вот именно! Поэтому американцы еле двигаются.
Райсман покачал головой.

— Печально то, что во время войны, когда Гитлер по-

бедно шествовал, у них каждую неделю был воскресный день.

— Как вас легко купить! Я лишь хотел слегка расшевелить вас своей глупой шуткой.

Рядом стояли юные «джимми», и Райсман понизил голос:

— Разумеется. Что поделаешь. Ведь они многое бы могли сделать, если бы так не канителились. Многих могли бы спасти из лагерей. У нас в Треблинке дети молили бога, чтобы пришло избавление. Но они не торопились. Вероятно, отдыхали по воскресеньям? Быть может, быть может.

Он замолк, и Оравия больше не пытался возобновить с ним разговор.

«Джип» отъезжает от окна, делает петлю и возвращается за нами. Солдаты выполняют свои обязанности, не переставая работать челюстями. Они жуют резинку, поэтому во всех их действиях оттенок сдобренного наглостью равнодушия.

Туман плотно накрыл Нюрнберг, и пассажирам «джипа», озябшим, слегка помятым и бледным, мало что видно в окна. С шипением вертятся колеса, ближе к центру города снег разъезжен, густо расчерчен полосами грязи. Я оглядываюсь по сторонам. Себастьяна Вежбицы нет среди пассажиров, наш разговор прервался. Кто он? Куда ехал?

Наше внимание приковывает Грабовецкий. Он то и дело вскидывает руку, становясь похожим на дорожный указатель:

— Взгляните, перед вами развалины замечательного замка. Обратите внимание... башни, рвы... подъемные мосты... Стоит сюда прийти и посмотреть вблизи. Сейчас мы проезжаем мимо дома Дюрера. Немцы говорят, что он чудом уцелел.

Над развалинами, над исчезнувшими улицами, над разбомбленным замком возвышается здание суда, где заседает Международный военный трибунал. Ветер полощет флаги союзных государств, на фоне неба развеваются национальные цвета; в этом единстве видится и политическое единство, свидетельство последовательной и бескомпромиссной тактики по отношению к поверженным убийцам.

Дюреровская «Смерть» прокатилась по Европе, превращая землю в разрытую могилу. И вот теперь вернулась в Нюрнберг, чтобы здесь, в колыбели расистских законов, закончить наконец свою адскую, смердящую возню.

Грабовецкий с радостным возбуждением рассказывает:

— Через миуиту мы будем на месте. Вои, уже вокзал. Там, напротив вокзала, здание в строительных лесах — наш «Гранд-отель». Несмотря на ремоит, он целиком отдан в распоряжение служащих Трибунала!

Нюриберг возиик передо мной на миг и тут же снова исчез, словио появившиеся среди облаков очертаиия далекого города, который прииял необычный облик, пугая ранами развалин и трагическими лицами немиогочисленных прохожих.

«Джип» затормозил, и я сиова услышала зиакомый звук: то ли это лошади скачут по одиой из боковых улиц, то ли к стаиции подползает паровоз, ритмично выбрасывая пар: бах-бах, бах-бах, бах-бах!

— Идите сюда! — зовет Грабовецкий, опережая нас на ходу и размахивая рукой.— Я пока сбегаю наверх, поищу кого-иибудь из иашей делегации.

Итак, мы у цели. Внутреииее напряжеиие росло, мысль о иеизбежном выступлеиии на Нюрибергском процессе, точио стальиые обручи, давила на легкие.

Обязаииость дать показаиия, которая легла на иаши плечи, превосходила иаши психические возможиости. Я взглянула на Райсмаиа, потом иа доктора Оравию. Первый застыл иеподвижио в своем пальто с поднятым воротииком, ие замечая, казалось, тепла гостиничного холла. Второй, вышагивая взад и вперед, все время тер лицо, давил пальцами иа веки. Словно бы пытался отогнать сонливость, усталость, размышлеиия, сомнеиия, может быть, годы войиы.

Всех нас поймало зеркало, окунуло в свою зелеиоватую глубину, и это позволило мие как бы со стороны взгляиуть иа тройку польских свидетелей.

Нет, мы ие сошли с полотен Гротгера; в его образах была своеобразиая красота, гордость, достоинство, они были истинными. Мы прибыли из развалин Варшавы, из грязи оккупации, из вагонов для скота, из рвов Освеицима, из бараков Треблинки.

Успели ли мы настолько перевести дыхание, чтобы раскрыть рты и заговорить? Обвинить войну?

В холле по-прежиему пусто. Несколько кресел, ковры. Пахиет старым жильем, каким-то соусом, кофе. Мы ждем уже добрых минут пятиадцать. Гостииица, видно, заснула: ии шороха, ни звука.

Доктор Оравия все время безотчетно трет лицо, будто пытаясь снять с иего приклееиную паутину бабьего лета; его эластичные, длиииые пальцы в непрестаииом движении.

Райсман тяжело вздохнул, Оравия сразу же с пониманием откликнулся:

— Вот-вот. Уже полдень, а здесь время точно стоит на месте. Сколько на ваших часах? На моих без двадцати час.

Он протер очки, сверил свои часы с часами Райсмана и снова стал кружить между лестницей и чемоданами, похожий на длинноногую сгорбленную встревоженную птицу — у лифта он разворачивался, проходил мимо портье и возвращался. Его неугомонные пальцы двигались в такт каким-то внутренним мыслям, дирижировали, передавали напряжение.

Райсман тоже отошел в сторонку, и я осталась одна, тупо уставившись на стену, в углублении которой торчали пустые вешалки гардероба. Наконец лифт заскрипел, хлопнула дверь.

Из глубины гостиничного мрака к нам быстрым шагом идет кто-то кругленький и маленький, он все ближе, и я замечаю в его облике самодовольство дошкольника, смешанное с самодовольством пожилого дяди, одетого в пижаму, укутанного в мягкий купальный халат, даже не застегнутый на все пуговицы, а лишь стянутый поясом.

Пухлые ладошки то и дело поправляют легкий пух на голове, что, впрочем, не дает никакого результата; приглядевшись, я понимаю, что Грабовецкий разбудил этого пожилого человека, спавшего крепким сном. Детский румянец на щеках, сглатываемые зевки, ямочки возле губ и бесплодные попытки собраться с силами, на пухлых по-детски пальцах тоже ямочки, пальцы лежат на торчащем животике и теребят махровую пряжку халата, седина прозрачного пушка на розовой лысине — все это вместе являет собой несколько странный облик нашего юриста. Кажется, он досыпает на ходу.

— Прокурор Илжецкий,— произносит театральным шепотом Михал Грабовецкий, и его рука-указатель нацеливается на сияющего толстячка,— он введет вас в курс всех проблем процесса.

Мои спутники реагируют вяло. Бормочут свои фамилии, обмениваются с прокурором рукопожатиями, почти не двигаясь с места. Они тоже неожиданно ощутили потребность в отдыхе, тепле и уюте, очень хочется провалиться в мягкую гостиничную постель, погрузиться в тишину огромного темного здания.

Возникла некая заминка.

Прокурор Илжецкий внимательно оглядел нас и вдруг окончательно проснулся:

— А где Циранкевич?

Грабовецкий занервничал, начал объяснять, с каким трудом мы добирались, сколько сделали вынужденных посадок на гражданских и военных аэродромах. И как Юзефа Циранкевича по телеграфу срочно вызвали в Варшаву в связи с важными государственными делами. Ведь предполагалось, что он поедет в Нюрнберг на один день...

Илжецкий, махнув рукой, перебил его на полуслове. Я наблюдала за ним в зеркало. Он стоял в центре нашей группы словно апостол в венце из серебряного пуха вокруг блестящей лысины.

— Я вообще сомневаюсь, что дадут выступить свидетелям из Польши. Это идея Буковяка. Жаль только, что запоздалая. Насколько я знаю американцев, а без ложной скромности скажу, что познакомился с ними достаточно близко, легко догадаться, как они отнесутся к любой попытке внести поправки в утвержденную программу работы Трибунала. Американцы тут хозяева положения. Они решают все. Без возражений. Без обжалования.

Грабовецкий вытянул шею. Бледное, нездорового воскового оттенка лицо его отражалось в зеркале.

Мы молчали. Никто не шевельнулся. Только молодой судья поднес левую руку к уху, подкрутил часы, сверил их с большими стенными в холле и сказал с иронической улыбкой:

— Долгонько же вы тут спите, господа!

Я не поняла, шутит он или в самом деле раздражен этим сибаритством.

Илжецкий поднял руки, его розовые пухлые растопыренные ладошки напоминают крылышки ангела.

— Что поделаешь, мои дорогие! Сегодня воскресенье! Мы гуляли вчера всю ночь. Надо отдохнуть перед завтрашним рабочим днем. Трибунал должен выспаться после великолепного бала.

— Бала?!

Я повторила за ним это слово, почти не разжимая губ, боясь, что ослышалась, не желая, чтобы мужчины надо мной смеялись.

— Ну разумеется! Даже председатель Трибунала, сам лорд Лоуренс, принял в нем участие, он открыл бал вальсом и закончил чудесным танго в восемь утра.

Нас ошеломили его слова. Как это не похоже на наши

представления о месте, где происходит великая перекличка погибших и убитых. Вероятно, поэтому никто не произнес ни слова. Илжецкий вдруг закружился, словно вспомнив, что должен сделать еще один, последний бальный пируэт.

— Поднимемся все в мою комнату. Мы уже не надеялись, что прибудут свидетели из Польши. Сбросили вас со счетов.

Доктор Оравия улыбается со свойственной ему иронией:

— Бьюсь об заклад, что тут для нас нет номеров. Угадал?

Грабовецкий тут же парирует:

— Вы, любезнейший, в очередной раз проиграли. Вы слышали, что говорил Илжецкий: тут хозяева американцы. А значит, беспорядка быть не может. Американцы все продумали.

— А этот бал? — Райсман недоуменно обращается ко всем сразу.

— Бал! — вскинул брови доктор Оравия.— Может, действительно надо исходить из того, что траур только у немцев? Что все остальные могут веселиться? Теперь же карнавал! Первый послевоенный карнавал!

Илжецкий, обнимая всех сразу своими пухлыми ручками, подталкивает нас к лифту.

— Карнавал?! — странным тоном повторяет Райсман.

— А как дела в Варшаве? — спрашивает все еще заспанный прокурор.

Грабовецкий вскинул руку, поморщился.

— Масса проблем. Например, с эксгумацией не так все просто. Я не привез вам ничего конкретного. У нас в стране пока еще не слишком весело. Да-да. Указания давать легко, куда труднее их выполнять.

Илжецкий резко остановился. Теперь это был совсем другой человек. Он весь побагровел — лицо, шея, даже грудь.

— Послушайте, коллега! Ведь вы же за этим ездили,— отчитывает он Грабовецкого, понизив голос.— Вы должны были привезти сюда свидетелей, да, но, кроме них, и уточненные данные о военных потерях Польши. Как же так? Трибунал заканчивает слушание свидетелей, через пару дней начнут давать показания подсудимые. Вы привезли материалы, коллега?

В ответ Грабовецкий, от волнения глотая гласные, поспешно затараторил:

— Я говорил с генералом. Я обращался к правительству.

И повторяю: у нас трудности. Не хватает инструментов. Нет экспертов, кругом развалины. Мороз. На дворе ведь февраль! Я даже в последний день накануне отъезда говорил с генералом. Надо вооружиться терпением, сказал он. Плохи дела с земляными работами.

Илжецкий снова закружился, повернулся к Грабовецкому спиной. Казалось, вот-вот взорвется, но вместо этого он вежливо спросил:

— Как перелет? Вы очень поздно здесь появились, мои дорогие! Я сильно сомневаюсь, удастся ли добиться, чтоб заслушали ваши показания!

Грабовецкий, в своей черной шляпе и черном пальто казавшийся особенно бледным, принял любимую позу указателя на перекрестке и обратился к нам:

— Скажите сами! Сколько дней мы ждали в Варшаве? А сколько дней отняла эта проклятая дорога в метель и пургу? Сколько у нас было вынужденных посадок черт знает где, на случайных аэродромах? Мы даже на военном аэродроме немало времени проторчали! Этот перелет длился бесконечно, Варшава в конце концов отозвала Циранкевича. Ему пришлось вернуться. А вы, пан прокурор...

Ответом ему были вздохи и поддакивания.

Илжецкий зевнул.

— Я бы не хотел, чтобы Польшу вычеркнули из повестки дня. Уже поздно. Прокурор Буковяк с неимоверным трудом добился согласия на то, чтобы пригласить сюда нескольких польских свидетелей. Но все сроки истекли, мы несколько раз переносили ваши выступления. Что нам скажут завтра? — Илжецкий беспомощно развел руками.

— Скажут, что на бал мы уже опоздали,— пошутил доктор Оравия, потирая пальцами лоб и глаза.

Прокурор снова зевнул и взглянул на часы.

— Надо сегодня же обязательно предупредить председателя. Я попытаюсь, хотя не знаю, увидим ли мы его. Уверяю вас, что неделя работы на процессе — это намного больше, чем может выдержать человек от воскресенья до воскресенья.

Грабовецкий поспешно подтвердил:

— Да-да! В воскресенье только и успеваешь привести в порядок свои записи, изучить документы, на отдых времени не остается.

Илжецкий прервал его:

— Подождите, пожалуйста. Я спрошу у портье, какие номера приготовили для наших свидетелей. Судья Яхолд

каждый день уверял американцев, что свидетели обязательно прибудут.

У молодого немца, который стоит, опершись руками на темное сукно, нежное девичье лицо. Какая нежная кожа! Мягкие ресницы распахиваются медленно, открывая небесно-голубые глаза. Именно так мы представляем себе поэтов: меланхоличная улыбка, отсутствующий взгляд. Илжецкий объяснился с портье по-английски, взял ключи, поблагодарил. Потом перехватил его взгляд, сразу понял, в чем дело, и несколько смутился. Подойдя ко мне, взял под руку и отвел в глубь холла.

— Тут, в Нюрнберге, уже оттепель. Иногда солнце светит как весной. У вас с собой только эти ботинки?

— Они замечательные. На редкость теплые. Мне повезло — купила их перед самым отъездом в Кракове, у одной крестьянки,— похвасталась я, не зная, что ответить.

— Да-да, но я надеюсь, вы захватили какую-нибудь обувь полегче? — шепотом спрашивает меня Илжецкий.

— Для такого путешествия они оказались просто незаменимыми,— отвечаю я и вижу поверх широких плеч Илжецкого голубые глаза немца.

Портье не переменил позы, не шелохнулся — он только смотрел и своим присутствием все больше смущал прокурора.

— Я угадал, правда? У вас в чемодане лежат туфли? Вот и чудесно. У меня камень свалился с сердца. А теперь прошу вас ко мне, ваши комнаты сейчас будут готовы.

Гостиница пахнет старым домом, мрачными квартирами, цементом и штукатуркой. Всюду тишина. Бал, видно, удался на славу, гости еще отсыпаются — в темных коридорах, наполненных покоем ночи, ни души.

Пухлая ладонь Илжецкого нажимает кнопку возле двери, и тут же бесшумно появляются три девушки. Легкий книксен чужим гостям из Польши, и они внимательно и радостно ждут распоряжений. Несмотря на воскресный день, они выгладят и принесут вынутые из чемоданов вещи, чтобы прибывшие свидетели выглядели как можно более элегантно и хорошо себя чувствовали. Это существенно. Нет больше военного положения, на улицах Нюрнберга нет гитлеровской армии, но эти девушки остаются ревностными солдатами своей нации. Ни одна из них не собирается в нас стрелять, не намерена бить и кричать, напротив, они с благоговением складывают вещи, которые

должны унести с собой, и перед уходом, радостно улыбаясь, вновь делают книксен.

— Вы и умыться не успеете,— говорит Илжецкий,— а у них уже все будет готово. Поразительно, как они умеют работать. Тот, кто не видел немцев в оккупированных странах и составлял себе мнение о них только по «Гранд-отелю», конечно, пришел бы в полный восторг. Ангелы мира. Скромные, честные, старательные.

Он махнул рукой. Снова все молчали.

Признаки оживления проявляет только Грабовецкий.

— Мы привезли письма. Целую пачку. Они у меня на дне чемодана.

— Вот и отлично. Почта попадает сюда кружным путем, через Лондон, через Москву,— объясняет мне Илжецкий, снова с трудом подавляя зевоту.— Иногда с курьерами, которых мы время от времени посылаем в Польшу. Напрямую: Нюрнберг — Варшава, нам не удается передавать информацию. Мы тут словно бы на некоем острове, это и не Германия, и не Англия, и уж никак не Польша. Существуем вне времени, нет ни войны, ни мира, да и сами мы перестали быть собой, я вас уверяю, здешняя обстановка нас преобразила, изменила, вы скоро убедитесь в этом сами, вы тоже станете здесь иными людьми. Только постарайтесь не пропустить момент своего перевоплощения.

Доктор Оравия потирает руки и шепчет:

— Это замечательно! Поразительно интересно! С точки зрения психологии это просто сенсация!

— Для кого как,— сказал прокурор. Своими пухлыми пальцами он вытащил «Честерфилд» и спички, предложил нам. Доктор Оравия угостил его отечественными из крупно, как во время оккупации, нарезанных листьев табака.

— Может быть, кофе? — вдруг забеспокоился Илжецкий.— Сейчас я вызову посыльного, он принесет. Через час-другой нам подадут обед, тогда выбор будет побольше.

Грабовецкий ухмыльнулся и, ткнув рукой в Илжецкого, попробовал пошутить:

— Вот вам дипломатическая вежливость: не хотите ли, детки, хлебушка? Нет? Ну и хорошо. Мы не только продрогли, пан прокурор, мы не ели со вчерашнего дня.

У Илжецкого побагровел лоб, румянец пробрался к жалким волосикам, прикрывающим розовую лысину.

— Коллега, ну зачем столько желчи? Вы же прекрас-

но знаете, что здесь, в Нюрнберге, любой ваш каприз доставит лишь радость персоналу отеля. Они просто не могли дождаться вашего возвращения. Хотите кофе? Его подадут через десять минут. Аперитив? Несколько бутербродов?

Пока они обменивались репликами, все мы почувствовали голод и решили поесть, прежде чем разойдемся по номерам. Илжецкий позвонил и заказал завтрак по телефону.

— Американцы имеют здесь гораздо более тесный контакт со своей страной, чем мы,— сказал он задумчиво.— Сами убедитесь. Почти все, что подадут к столу,— американское, доставлено сюда из США. Вам не придется есть традиционные тяжелые и приторные немецкие блюда, с которых капает сало. Американцы и англичане всем навязали свой стиль. Здесь едят то, что любят американцы. Здесь американское царство, они решают все, абсолютно все, касающееся не только нас, но в первую очередь подсудимых, их рациона и содержания, распорядка дня, может быть, даже приговора.

— Нами правят американцы,— добавил Грабовецкий и, вздохнув, прикрыл глаза.

Оравия торопливо потер лицо.

— Время покажет, хорошо ли это.

— Хотелось бы знать, насколько американцы в состоянии все это понять? — спросила я.

Прокурор развел пухлыми руками, приподнял брови, наморщил лоб, но ответить не успел.

В дверь легонько постучали. На пороге возникла улыбка, и вместе с улыбкой — горничная. В руках у нее белая рубашка Райсмана. Вот тут, указывает девушка пальчиком, не было пуговицы. Но она ее пришила. Es ist schon in Ordnund[1]. И легкий книксен. Еще одна сердечная улыбка, доброжелательная, полная сестринской бескорыстной доброты, адресованная владельцу рубашки.

Райсман молчит. Он стоит не шевелясь, крепко сжав побелевшие губы. Прокурор Илжецкий извлек из кармана несколько пфеннигов, протянул девушке.

— При чем тут они,— бормочет он.— Никто не спрашивал, нравится ли им нацизм. И я по собственному опыту вам советую: пока вы на территории гостиницы, отключитесь. Не думайте, не вспоминайте. Иначе мы все тут сойдем с ума. Все. Все!

---

[1] Все в порядке *(нем.)*.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Накоиец-то можно расслабиться. Комфорт, тишина. Удобная мебель, несколько старинных ламп — я зажигаю их подряд, одну за другой, проверяю, горят ли: за креслом с выцветшей бахромой, над зеркалом, под потолком, около постели, молочные шары в ванной. В немецкой гостинице должно быть светло, никаких теией и полумрака, только так я почувствую себя в безопасности. Надо тщательно запереть и проверить обе двери, только потом можно будет выкупаться и отдохнуть. Но прежде всего — к окну! Чтобы наконец самой, без свидетелей, без посторонних, взглянуть на этот знаменитый чудесный Нюриберг, город великолепной архитектуры, полный памятников старины, город Дюрера, с красивейшим замком, прекрасиой, как в сказке, крепостиой стеной и подъемными мостами. Нюрнберг с акварели. Идиллический Нюриберг.

Метет поземка. Слышно только шипенье шин. На пустыниой улице перед гостиницей мелькают редкие, едва различимые прохожие. Они идут быстро, подгоняемые ветром, потуже затягивают шарфы, запахивают пальто, поднимают воротники. Они вызывают даже сочувствие: обычиые продрогшие люди. Спешащие домой, потому что промочили ноги, потому что у них замерзли носы, уши, руки. Без всякого желания отправились они в путь, без охоты возвращаются. Немцы? Настоящие немцы?! И в этой метели не грянут выстрелы, не раздастся крик? Невероятно! Невозможно! Потрясеиная, стою я у гостиничного окиа.

Значит, иа самом деле среди немцев были нормальные люди?

В снежном тумане скользят и исчезают тени, никого из них нельзя остановить, спросить, кто он, что делал с первых дней войиы или год тому иазад, во время решительного наступления народов иа гитлеризм. Нечем подкрепить свою надежду, опровергнуть убеждение, что все они были преданы фюреру.

Они прячутся от снега под зонтами. И вдруг неожиданно мелькнула мысль: т е  н е м ц ы демонстрировали свою сверхчеловеческую стойкость, существам из стали не страшны осадки. Автомат защищал их от всего.

Но вот прошло несколько месяцев после капитуляции, несколько месяцев присутствия на их земле победителей. Неужто иедолгий период, когда Европа приходила в себя, был для немцев периодом утраты сил?

Нет, еще рано делать выводы, воскресное затишье

и снег с дождем усыпляют жителей Нюрнберга. Небольшая площадь перед гостиницей безлюдна.

Теперь под душ! Со времен войны мытье я отношу к одному из самых великих наслаждений в жизни. В ванной в самом теплом месте лежит большущее махровое полотенце — хозяева предусмотрительно позаботились о том, чтобы гость мог закутаться и вытереться, как только выйдет из воды. Зачем мерзнуть и покрываться гусиной кожей, если можно предусмотреть каждое движение так заботливо, так planmässig[1]? Обычное слово "planmässig" вызывает во мне множество самых страшных ассоциаций, слово, используемое эсэсовцами для определения действий, которые они на всякий случай определяли зашифрованными символами, сегодня снова приобрело свое давнишнее обиходное значение.

Шумит вода, теплый пар покрывает зеркало, затрудняет дыхание, но можно ничего не бояться — поездка в Нюрнберг еще одно подтверждение этого. Конец гитлеровской оккупации. Конец кошмару. Осталось только вернуть себе чувство реальности, а это непросто — трудно привыкнуть воспринимать ситуации, подобные сегодняшней, однозначно и просто, без двусмысленных ассоциаций.

Когда мне было пятнадцать или, может быть, тринадцать лет, мне приснилось, будто бы я умерла. Дематериализовалась, стала невидимой и неощутимой. Перестала существовать для всех окружающих. И все же я была! Сознание оставалось при мне, я видела, слышала, думала. Это было странное ощущение: мой слух и зрение и мысль находились на высоте мужского роста, то есть немножко выше, чем прежде, до наступления этой удивительной смерти. Я понимала, о чем говорят проходящие мимо несуществующей меня люди, разбирала их голоса, слышала дыхание, следила за движениями губ, миганием век, понимала смысл их слов, но не могла принять в этом участия, не могла включиться, и это было невыносимо.

Их реакции или, скорее, отсутствие реакции на мои попытки вступить с ними в контакт были доказательством того, что оборвались все связи. Я хотела дать им знать о себе, хотела обратить их внимание на свой никому не видный, прозрачный и безмолвный облик. Напрасно! У меня не было голоса, я была неосязаема. Мое нетерпение росло, я вновь и вновь возобновляла попытки — без-

[1] Планомерно *(нем.)*.

результатно. Появлялась почти полная уверенность, удивление и скорбь оттого, что я перестала жить. Умерла. Покинула вас, люди моего поколения, и тут же сомкнулись ряды голов, океан, из которого зачерпнули горсть воды. Вы продолжаете идти по улицам, распеваете песни, вас много повсюду, в домах и на стадионах, вы стремитесь вперед, вас поддерживает коллектив и собственная индивидуальность. Вы умеете быть братьями. Точно так же, как и прежде, когда я еще была ребенком, живущим среди вас, когда для меня, как и для вас, проливался на раскаленный уличный асфальт прохладный, освежающий дождь.

И сегодня тоже идет дождь. Дождь со снегом. Я чувствую приятный холодок, сырость, слышу негромкий, приглушенный шум. Меня радует любое проявление жизни. И трогает до глубины души. Но у меня нет слез. И только этим я отличаюсь от вас.

Я прижимаюсь лбом к холодному стеклу в незнакомом чужом «Гранд-отеле», смотрю на клубящуюся метель и зову, зову — люди, проснитесь, очнитесь, люди, живущие на смешном шарике под названием планета Земля, начните думать, анализировать бессмысленность загубленной, потерянной жизни.

Мокрый снег залепил окно, он валит все гуще и гуще, постепенно накрывая улицу. Теперь не видно уже ни зонтов, ни человеческих фигур, одна только беснующаяся белизна — большой бал переместился из гостиницы на улицу, свистящий ветер заменил оркестр, это же вальс; метель стала неотъемлемым фоном определенных событий, мгновенно возникают ассоциации, теснят друг друга, трудно отключиться, трудно перестать думать.

Скорее, хоть ненадолго выйти отсюда, посмотреть, каковы они, какими глазами смотрят на свой город, послушать, о чем говорят в трамвае жители знаменитого Нюрнберга, который снова прославился — на этот раз Трибуналом над главными нацистскими преступниками, деятельность которых международное правосудие назвало геноцидом. Любопытно, будут ли в новых изданиях путеводителей сведения о Нюрнбергском процессе как о любопытной детали, еще одной достопримечательности этого sehenswürdig[1] города? Скорее, скорее искать ответы на все эти вопросы.

Я одеваюсь и выхожу. Моросит холодный дождик.

[1] Достойного посещения *(нем.)*.

На улицах Нюрнберга пусто. Одинокие прохожие сутулятся, клонятся к земле, и это производит странное впечатление: кажется, будто все они ищут что-то, оброненное в мокрый снег. Невозможно различить их лица — все укутаны платками, замотаны шарфами, грязными драными тряпками. Идут преимущественно пожилые женщины, точнее, плохо одетые женщины, в длинных, сшитых по довоенной моде пальто, потрепанных, изношенных. Женщины, одетые в молчание, женщины, одетые в траур, который хоть и не окрашен в черный цвет, и без крепа, но все же — он есть, сопровождает их, останавливается вместе с ними на трамвайных остановках и ждет. Сжатые внутренней судорогой губы. Невидящие глаза.

Все победы Адольфа Гитлера, все его броски и марши, все конверты с адресами полевых почт легли на их хрупкие плечи, но об этой с трудом скрываемой боли не знало ни министерство пропаганды тогда, ни корреспонденты, прибывшие теперь на процесс со всех концов планеты. Тайна страдания женщин, которые остались одни.

Я отдаляюсь от гостиницы в полной уверенности, что вот-вот остановит меня резкий немецкий оклик, что я столкнусь с грубостью и злобой, увижу проявления сверхчеловеческой (Übermensch'а[1]) энергии. Но я ошиблась. В то воскресенье по улицам Нюрнберга ходили только подавленные существа, несущие свое горе или усталость. Как ни странно, я не встретила ни одной эсэсовки, ни одного капо. Мир, в котором нет олицетворения террора, вызывает во мне недоверие. Ведь эсэсовки по-прежнему существуют, они лишь на время затаились, ушли в собственное молчание. Когда я спрашиваю, как пройти к дому Дюрера, они поднимают руку и молча показывают направление. Глаза их остаются остекленевшими, невидящими.

Дюрер. Великий мастер. Это он создал образ смерти, подстерегающей рыцаря в пути, неподалеку от замка, башни которого с окнами, бойницами и стенами художник расположил на холме, нарисовал и дорогу, ведущую к домашнему теплу и добрым людям. Это совсем рядом! Рыцарь проходит мимо раскидистого дерева, и тут перед ним возникает призрак с отмеряющими время песочными часами в руках; отталкивающее видение, безносое, в венце из змей, с омерзительной речью, исходящей из глубины прогнившего черепа, сквозь мертвые губы. Здесь под спу-

[1] Сверхчеловек *(нем.)*.

дом народных сказок, легенд и басен дремало кошмарное психическое заболевание; страшная ведьма, внушающая ужас самым смелым путникам, собирающая кости за алтарем храма и раскидывающая их ночами, беснуясь в поисках человеческого мяса; косоглазый дюреровский дьявол, с обломленным рогом и разинутой пастью осла, тупо и уныло глядящий перед собой, словно эсэсовец, утомленный еженощным многомесячным убиванием.

Что-то из жуткой картины этой осело в подсознании каждого из них, и, когда Адольф Гитлер, закомплексованный мерзавец, вскинул руку, дав знак могильщикам Европы, многие сразу знали, что надо делать.

Но все ли? Надо ли верить Арнольду Цвейгу или Ремарку, которые говорили о том, как мучительна война, которая ведется вопреки воле народа?

Я должна сама найти ответ на этот вопрос здесь, в Нюрнберге, буду искать его повсюду — и среди молчащих, гонимых метелью людей, и в зале заседаний Трибунала. Может, кто-нибудь из обвиняемых — сановников третьего рейха — произнесет слова, которые объяснят, почему они с таким упорством создавали вокруг себя могильный климат, дышали смрадом разлагающихся тел, запахом человеческой крови, почему так охотно топтали ногами кости убитых и кости еще живых.

Ответь, Нюрнберг. Открой нам правду, на которой дано будет строить будущее Европы, или по совету Себастьяна Вежбицы надо бежать в далекие края?..

Американский солдат, стоящий на посту у «Гранд-отеля», не обратил на меня ни малейшего внимания час назад, когда я выходила из гостиницы, теперь же, радуясь, что он не зря стоит, раскинул руки, категорически не пуская меня обратно. Его румяные щеки прямо сияют от счастливого ожидания; она там роется в сумочке, пусть себе роется на здоровье, бравый вояка тем временем напрягает мышцы — крепкий, хорошо сложенный парень, никто не войдет внутрь против его воли. Война хоть и окончилась, но здесь, пока идет военный суд, действуют фронтовые порядки.

Наконец я нашла зеленоватую картонку, дающую право на вход в гостиницу. Руки часового возвращаются на пояс, на губах появляется улыбка, подбородок снова начинает ритмично двигаться: жвачка помогает часовому скоротать время. Я с трудом понимаю искаженное жеванием слово:

— О'кэй!

У портье возле моего ключа приколота записка: «Прокурор Буковяк ждет. Позвоните по номеру 511».

Ноги подо мной подкашиваются, по всем кровеносным сосудам, по всем нервам расползается страх, бесчисленное число раз пережитый во время оккупации, страх приговоренного, не отпускавший с первого дня войны и до момента освобождения. Все уже позади, но вопреки рассудку ощущение ужаса крепко засело в нервных тканях, это психическая опухоль, возникшая у тех, кто на себе испытал, что значит отмена во время оккупации всех прежде существующих законов.

Такой хриплый деревянный голос мог бы скорее раздаться из плохо настроенного приемника или со стертой пластинки:

— Алло! Это комната пятьсот одиннадцать? Я получила вашу записку...

В телефонной трубке шепот, и я с трудом различаю слова:

— А, вы уже пришли. Ждем вас.

— Сразу подняться к вам? — спрашиваю я и чувствую, как меня обдает жаром, ведь вызывает руководитель польской делегации.

Вместо ответа телефон разражается кашлем. Это длится страшно долго, а в перерывах я слышу тяжелое прерывистое дыхание. Впечатление, будто по техническим причинам нарушена телефонная связь.

. Наконец, словно из наполненного печальным эхом колодца, раздается несколько слов:

— Мы ждем вас. Да. Если можно, сразу. Будьте осторожны возле строительных лесов — там легко подвернуть ногу.

Значит, все-таки началось. Не только в воображении. Надо положить голову на дыбу, засунуть руки в тиски, взойти на трибуну для свидетелей и говорить правду, одну только правду. И все же до чего трудно поверить, что перевернулась страница мировой истории. Миновало время убийств, началась эра жизни. Вчерашний сторонник Гитлера пропустит сегодня в дверях человека, по отношению к которому не успели применить ни одного из множества средств у н и ч т о ж е н и я.

У меня неприятное ощущение, будто портье ощупывает меня взглядом, губы его складываются в злую усмешку, угодливый служащий отеля превращается в агрессивного немца, правда, он не позволяет себе ничего лишнего, мол-

чит, но одной лишь гримасой, оскалом рта выказывает свое презрение к иностранке, польке, которая ни с того ни с сего приехала в страну неуступчивых Übermensch'ев. А может, мне это только кажется? Может, это в самом деле помешательство, которое замечает в людях доктор Оравия?

В холле пусто. Как и прежде, темновато и мрачно.

Американский солдат по-прежнему стоит спокойно в дверях, с неувядаемым оптимизмом на боксерском лице, с жевательной резинкой во рту — это его единственное занятие на ближайшее время, пока снова не придется проверять документы у кого-нибудь из воскресных гостей. Солдат — победитель второй мировой войны, верящий в военную мощь США, бдительно следит за входом в «Гранд-отель»; там темноватый холл, конторка портье, лифты, коридоры, рестораны, номера — все это за его широкими плечами. Моральные комплексы приезжих не нарушают его спокойствия. А тем более выражение лица немецкого портье.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Первым делом меня ослепил свет лампы, направленный на письменный стол и стену. В комнате было накурено, толстая штора заслоняла окно, в полумраке светились огоньки сигарет. Кто-то любезно уступил мне место. Я узнала коренастую фигуру узника Треблинки.

— Приветствуем вас! — хрипло сказал прокурор Буковяк и протянул мне руку, которая, попав в круг света, словно превратилась в застывший предмет из желтоватого воска.

Мне пришлось подойти к нему, осторожно ступая, чтобы не задеть в темноте вытянутых ног. Я знала фамилии четверых юристов, которым удалось сломать барьер международных постановлений и добиться права участия в суде над гитлеризмом. В самое ближайшее время мне предстоит увидеть этих мужественных, упрямых людей в действии.

Ладонь прокурора Буковяка показалась мне горячей. «У него опять температура,— подумалось мне.— Неужели он не может победить свой туберкулез теперь, когда кончилась война и все стало намного легче?! Происходящие события должны заменить ему лекарство!»

— Мы тут как раз изучаем территорию Европы,— сказал он, с трудом поборов подступающий кашель.—

В голове не помещается, сколько братских могил на этой земле.

Он накрыл узловатыми, широко растопыренными пальцами ту часть карты, где по линии главной реки я узнала Польшу.

Буковяк говорил мрачно, делая паузы, чтобы откашляться, тогда становилось слышно, как хрипят басом его больные легкие.

— Ошеломляющее, совершенно невероятное количество мест массовых казней они разместили здесь, в нашей стране. Пройдут годы. Но и через десять, двенадцать, может быть, пятнадцать лет люди будут находить в земле следы гитлеровских преступлений. Мы уже сегодня можем и должны раздвигать рамки обвинительного заключения, дополняя их цифрами и фактами.

Он замолчал. Его слова пугали меня. Годы? Десять, двенадцать, может, даже пятнадцать лет? Маньяк! Подобная картина не укладывалась в моем представлении о мире, возрождающемся из пепла.

Я плохо знакома с этим человеком. Он вызвал меня к себе несколько недель тому назад, когда приехал из Нюрнберга в Польшу. Тогда он беседовал со мной, расспрашивал об Освенциме, о положении узников, ставил интересные проблемы, торопливо записывал мои ответы. Он был сосредоточен и спокоен. Казался очень сильным. Здесь же, в старой гостинице, при свете нависшей над письменным столом лампы, он производил впечатление утопающего, с трудом держащегося на поверхности.

Значит, это его стараниями меня вызвали в Нюрнберг в качестве свидетеля обвинения. Мои глаза постепенно привыкли к яркому свету лампочки, направленному на выцветшую, кое-где разорванную карту Европы. Между названиями городов, озер, горных хребтов я читаю совсем новые, но уже наполненные страшным содержанием слова: Аушвиц, Терезиенштадт, Ораниенбург, Собибур, Гузен, Белжец, Треблинка, Бухенвальд, Лидице, Дахау, Майданек. Рука Буковяка передвигается медленно, палец задерживается возле заболоченных окраин Штутова, дрожит возле эсэсовской караульной в Хелмне, дожидается, пока мы поймем, что значит Нойштадт-Глеве, Флоссенбург, Заксенхаузен.

Я радовалась, что свет, направленный на карту, оставляет меня в тени: пессимизм прокурора Буковяка ужасал меня, я с трудом овладела голосом, но мои поднявшиеся

брови, широко раскрытые от изумления глаза могли раздражать его.

Через десять-пятнадцать лет в Польше и воспоминания о войне не остается! Мне хотелось спросить, зачем он нагнетает ужас, и без того все достаточно мрачно и страшно? Зачем пытается выкрасить будущее в черный цвет войны?

Во мне росло, струной натягивалось неприятное, мне самой непонятное напряжение. Я все острее ощущала свою беспомощность перед всем тем, что стояло за словом «оккупация».

Узник Треблинки робко задал вопрос, который возник и у меня при виде этой испещренной названиями лагерей карты Европы:

— Интересно... Сколько времени отводится тут на показания свидетелей из Польши?

Буковяк, низко ссутулившись, молча развел руками. Означало ли это беспомощность?

— Дорогие мои,— заговорил он наконец голосом, полным сожаления.— Свидетели будут нужны на процессе как своего рода живая иллюстрация к собранным обвинительным материалам. Мы упросили Трибунал разрешить пригласить четырех человек из Польши. Люди из-за проволоки — это приложение к уже известным фактам.

Я перестала глазеть по сторонам и сосредоточилась.

— Поймите меня правильно,— откликнулся он на мое беспокойство.— Первая часть процесса закончилась. Начнут давать показания гитлеровцы, выступать их адвокаты. Обвинительный акт — это документ, который в значительной степени немцы написали собственными руками. Дада. Собственными руками. Приказы. Донесения. Отчеты. Рапорты. На этих документах стоят печати. Свастика. Гитлеровский герб. Подписи. Даты. Иногда даже указаны часы и минуты казни, списки людей, которых они посылали на смерть.

Он перевел дыхание. В комнате стояла такая тишина, словно в ней не было ни души. Буковяк, насупившись, продолжал совершенно другим, глухим тоном:

— Они забыли, что и без их помощи все уйдут, когда придет пора. Немцы решили ускорить естественный процесс. Их война приобретала в определенных фазах характер промышленного производства, и весьма крупного при этом. Могильщики народов!

Райсман, слегка шевеля губами, наклонился вперед.

Прокурор с минуту смотрел иа иего сквозь полумрак комиаты.

— Здесь собраны факты,— заговорил он сиова, тыча пальцем в письмеиный стол.— Явиые, достовериые, с иемецким педаитизмом регистрирующие чуть ли ие каждый вагои с людьми, отправляемыми в газовые камеры Треблинки, правда, далеко ие каждую группу рождеииых в лагере и отправлеииых в крематорий детей, и ие каждый расстрел иа улицах городов и в лесах. В этих безукоризнеиных рапортах содержатся даииые о карательных операциях, о сожжеиных польских деревиях иа Замойщиие, о тысячах умореииых голодом советских воеииоплеииых. Но это ие вся правда, а всего лишь иичтожиая ее часть.

Я молчала.

Буковяк, руководитель польской делегации, обратился к иам:

— Вы меня поиимаете? И мои намереиия вам ясиы? Надеюсь, и доктор Оравия меня понял. Ваши показания должиы хоть на какое-то мгиовеиие возродить из небытия действительиость гитлеровских лагерей. Тогда цитаты из отчетов о выполиеиии приказов оживут, имеиа и фамилии убитых заговорят человеческими голосами. Да. Человеческими голосами, и сделаете это вы.

Я слушала его виимательио. А когда ои сделал паузу, сдавлеииым голосом спросила, сама удивляясь — мой вопрос, казалось, мало был связаи с темой разговора:

— А иемцы? Какие они сейчас? Вы же видите их тут, в Нюриберге? Весь этот процесс, ои имеет для них какое-нибудь зиачеиие?

Глаза старого человека вспыхнули. Он ответил ие сразу, а его саркастическая усмешка могла озиачать что угодио.

— Вы их скоро сами увидите. Я попытаюсь, чтобы вас вызвали с первой группой свидетелей, возможио даже завтра, если мие вообще удастся осуществить мой замысел. Парадоксальио! Ведь могло случиться, что правосудие свершилось бы и без участия Польши. И это при том, что Польша первой из всех страи Европы оказала сопротивлеиие гитлеровским войскам, вторгшимся иа ее территорию; при том, что Польша в войну буквальио истекала кровью, а иаших юристов, наших свидетелей могло и ие оказаться иа процессе. Только благодаря невероятиым усилиям мы получили сюда символический доступ. Чисто символический. И все же это существеиио.

Он повернулся к нам спиной, переложил папки и обратился ко мне:

— Вот, посмотрите. Это все, что осталось от человеческих существ, содержавшихся в мучениях за колючей проволокой. От героической молодежи, учителей, идеологов. Лишенные фамилий, имен, одежды, волос, каких бы то ни было прав, они погибали поразительно быстро. Никогда, даже с вашей помощью, нам не удастся восстановить всю правду о гитлеровских преступлениях.

Я смотрела на сухие руки, перебирающие документы, и понимала, что слова этого сгорбленного человека наполнены его собственной скорбью.

— Да, господа, четыре державы-победительницы — это грандиозный успех, но все же не мешает и нам сказать здесь свое слово, пригласить сюда достаточно большую группу свидетелей из Польши. Мы завоевали это право во время войны.

Он перевернул несколько страниц и пододвинул мне почти слепую копию какого-то письма. Я пыталась прочесть неразборчивые слова:

«В связи с тем что в Международном трибунале должен в ближайшее время начаться суд над генерал-губернатором Гансом Франком...»

Я перевела глаза на адрес: «В министерство юстиции. Здание правительства на Праге». Отправитель даже не написал слово «Варшава»: может быть, трудно было назвать этим словом груду развалин!

— Теперь, как я уже говорил вам, процесс подходит к концу. Жаль, очень жаль, что вы приехали так поздно. Скоро закончится опрос свидетелей, Трибунал перейдет к допросам обвиняемых. Ганс Франк решил предстать здесь в образе кающегося грешника, он целыми днями молится и читает Библию. Знает, что делает. Множество доказательств преступлений гитлеровцам удалось уничтожить, остальные до сих пор лежат в земле, и долгие годы, целые десятилетия будут лежать там.

— Не может быть! — воскликнула я, неожиданно для себя самой.— Пан прокурор, послушайте, в это трудно поверить, ведь с окончания войны прошел уже целый год. Польша была освобождена год тому назад. Как же это возможно, чтобы доказательства до сих пор лежали в земле? Сколько они там пробудут?

Он с печальной задумчивостью покачал головой.

— Нужно время. Следы преступлений лежат в земле вместе с людьми. Ни один американец и даже ни один

англичанин не знает проблем оккупации в такой степени, как мы. И тем более как вы. Союзники вообще легко поддаются внушениям и влияниям.

Я запротестовала:

— Вы не хуже меня знаете, что еще во время войны был опубликован список гитлеровских преступников в Париже, Москве, Лондоне и Вашингтоне.

— Верно. Но проблема совсем в другом. Лагеря пусты. Газовые камеры исчезли. Теперь каплю за каплей подмешивают красители к тем событиям. Химические реактивы.

Мне стало не по себе. Неужели Нюрнбергский процесс — это нечто совсем не то, что я себе представляла? Я глядела на пол, на круг света от лампы, вокруг было темно, и мне вдруг вспомнилась самая страшная сказка моего детства — о ведьме, которую не останавливают никакие препятствия, которая взламывает двери домов, открывает могилы, обгрызает человеческие кости, издевается над молитвами и заклинаниями. Я смотрела на свои ноги в туфлях, купленных на Кошиковой улице в Варшаве, на них падал свет, но у меня не было сил сдвинуться с места, впрочем, я понимала, что это не имеет смысла: ведьма, с которой мне выпало встретиться лицом к лицу во время этой войны, была куда чудовищней той, со страниц детской, в мягком переплете книги. Эта ведьма была повсюду, в обличьях разных людей, иногда даже целых толп, иногда же отдельных красавцев мужчин или нежных женщин, про которых никто бы не догадался, что они способны пустить ее в себя.

Вот, например, Aufseherin[1] Грези, милая девятнадцатилетняя мадонна с огромным пучком светлых волос, оттягивающих назад голову, с нежным профилем камеи, с мечтательной улыбкой на устах, которая, зажав в миниатюрном кулачке хлыст, лупила по лицам мужчин, узников концентрационного лагеря. Я видела это. Эта картина и сейчас у меня перед глазами.

— Я вижу это,— прошептала я, к счастью, совсем неслышно.

Если в день окончания войны ведьма ушла из этих людей так же, как из Адольфа Гитлера жизнь, как вытекла кровь из Геббельса, то уже легче: мы очнулись от кошмара. Но только, кто скажет, не спрятались ли в садах среди листвы, в лесных кустарниках или там, куда

[1] Надзирательница *(нем.)*.

на рассвете уходит с земли темнота, чтобы вернуться на следующую ночь, какие-то воплощения этой ведьмы?

Буковяк прервал мои мысли:

— Ну а как, собственно, вы добрались? Мы вас ждали, не могли дождаться. Я слышал, вы летели с приключениями?

Я кивнула, пытаясь жизнерадостно улыбнуться. Когда он обратился к нам, прибывшим из Варшавы, в голосе его зазвучали теплые нотки:

— Как ваше здоровье? Самочувствие? Что слышно в столице?

Кому-то надо ответить, но доктор Оравия что-то записывает, а узник Треблинки не раскрывает рта, поэтому я заставляю себя ответить и слышу свой изменившийся голос:

— Жизнь идет. А это самое главное.

Он покивал головой.

— Жизнь идет, говорите. Да-да...

Он повернулся вместе со своим вертящимся креслом, постучал в дверь возле письменного стола:

— Пан Михал! Вы тут? Сколько можно вас звать?

Из-за двери никто не ответил.

— Жизнь идет.— Он снова покачал головой. Буковяк говорил почти шепотом, и я нагнулась, чтобы лучше расслышать.— Впереди вам видятся далекие горизонты, а это просто зеркала, они и создают впечатление глубины и пространства. В молодости все поддаются этой иллюзии — и разбазаривают время, думая, что перед ними целая жизнь! Это ведь так много! Правда? Вот жизнь и идет. Пока она есть.

Я молчала. Прокурор Буковяк поднял очки на лоб, протер уголки глаз.

— Ну что ж. Вы вблизи видели, что такое бесконечность. И все же это не лишает вас права верить, что вся жизнь — непрерывное бытие. Но с того места, где стоит сейчас Ганс Франк и остальные подсудимые, виден лишь маленький кусок жизни. Зеркала исчезли.

Он развел руками, черты лица его были суровы.

— Их время съеживается с каждым днем, с каждой неделей.

Он снова повернулся, резко и долго стучал, потом прислушался, склонив голову.

— Пан Михал! Вы слышите меня?

Скрип открывающейся двери вывел меня из задумчивости. Я выпрямилась.

Буковяк, сощурившись, смотрел перед собой.

— Ну вот наконец и пан Грабовецкий. Входите, входите, пан Михал, мы еле вас дождались.

Но вошел Илжецкий, румяный и свежий, как после сна. Он остановился в дверях.

— Вы позволите мне зажечь верхний свет? — спросил он, поворачивая выключатель.

Хотя загорелся лишь матовый шар над зеркалом, в комнате стало намного светлее. Только теперь я увидела, насколько комната Буковяка потеряла сходство с гостиничным номером, превратившись в рабочий кабинет. Сумрак по-прежнему таился в углах, лампа с зеленым абажуром над столом, заваленным бумагами, отбрасывала свет на щеку Буковяка. Она была бледная, худая, и казалось, в складках увядшей кожи прячется несмываемая, глубоко впитавшаяся грязь войны, осадок гитлеровской оккупации. Зеленоватый свет подчеркивал старость и утомленность этого человека. Неужели ему всего лишь сорок восемь лет?

Илжецкий вздохнул тяжело, опустился в кресло, но тут же энергично вскочил и принялся ходить из угла в угол.

— Я опасаюсь,— наконец сказал он, потирая рукой подбородок, словно у него болели зубы,— что вам предстоит, коллега, трудное объяснение в Варшаве. Вы зря вызвали свидетелей, вернее, слишком поздно. Американские юристы даже слушать не желают о каких бы то ни было изменениях в утвержденном порядке работы.

Буковяк обеими руками схватился за край стола, ссутулился, и мы с трудом разобрали сквозь его свистящее дыхание:

— Как... вы... могли?

Кашель, вернее, громкий хрип прервал его слова, но не умерил гнева. Он дышал так, словно вбежал по лестнице наверх.

Илжецкий примирительно заговорил:

— Дорогой прокурор! Это был ни к чему не обязывающий разговор. Так, за чашкой кофе. Впрочем, они до завтра могут и передумать. Нас всех заботит эта проблема, и я убежден, что вы сможете найти убедительные аргументы. Зачем сразу сердиться? Ссоры в Нюрнберге? Вы не считаете, что это ослабит нашу позицию?

Буковяк продолжал сжимать пальцами край письменного стола. Он громко, болезненно дышал, на висках выступили узловатые вены. Шли минуты. Наконец правая

рука Буковяка сдвинулась, он начал медленно и ритмично постукивать по столу указательным пальцем. Заговорил спокойным, хотя и сдавленным голосом:

— Польша должна присутствовать здесь. Здесь, где заседает Международный трибунал. И поэтому роль свидетелей огромна.

Он на мгновение прервался. В тишине громко шмыгнул носом Илжецкий.

Буковяк задержал на нем взгляд, и в этот момент Илжецкий снова втянул воздух, могло показаться, что он сдерживает смех. Буковяк продолжал постукивать пальцем.

— Участие Польши в определении меры наказания гитлеровскому правительству, рейхсмаршалу третьего рейха, генералам — событие колоссальной исторической важности. Факт приезда свидетелей из нашей страны — это вопрос престижа. Я еще раз повторяю: Польша должна присутствовать здесь, в Нюрнберге.

Илжецкий все еще ходил из угла в угол. Вдруг он остановился и уставился на носки своих ботинок.

— Конечно, конечно,— сказал он в нос.— Хотя, по моему скромному разумению, главное в другом. Свидетели из Польши, разумеется. Это будет весьма существенный факт на процессе, придаст ему законченность, но, что бы мы ни думали, это всего лишь мелкий, незначительный эпизод. Я готов уделить нашим свидетелям столько времени, сколько понадобится для дачи показаний.

Он помолчал, потом продолжал, точно объясняя:

— И все-таки главное — это документы. Мы, я имею в виду Польшу, не подготовлены, чтобы выступать на процессе. Прошел год с момента освобождения Варшавы. Год и месяц. Масса времени! Это достаточный срок, согласитесь, чтобы подготовить подробнейший обвинительный акт, перечислить абсолютно все гитлеровские преступления, совершенные по отношению к нашей стране.

Опять замолчал, глубоко дыша. Казалось, он старается упорядочить мысли для продолжения своей речи.

Буковяк сгорбился еще сильнее и отодвинулся от света. Он внимательно ждал продолжения речи Илжецкого. Тот наконец-то очнулся от задумчивости.

— Год! А нам не с чем выступить на таком ответственном форуме. Где наша серьезная научная база? Нет документов, мы не опросили тысячи людей, у нас нет окончательных данных, не подведены заключительные итоги. Сколько может длиться сбор материалов для обвинитель-

ного акта, относящегося к этой войне? Дольше, чем сама война?

Илжецкий остановился посреди комнаты, раскрасневшийся, напряженный, и в ожидании ответа снова шмыгнул носом. Никто не ответил. Он засунул руки в карманы, пригнул шею и исподлобья глянул на Буковяка. Они встретились взглядами, глаза их сверкали гневом.

Я внимательно наблюдала за ними. Оба были раздражены, но возмущение у каждого выражалось по-своему. У Илжецкого лицо покраснело, на шее набухли вены, пылали румянцем щеки. Лицо Буковяка потемнело, узкий рот был крепко сжат, веки постепенно наливались кровью.

Вдруг он зашелся астматическим кашлем.

— Вам бы следовало, пан прокурор,— хрипел он,— пережить с нами войну. Тогда бы вы поменьше критиковали. Сколько лет нужно, чтобы земля открыла всю правду? Вы еще в этом убедитесь. Qui vivra, verra![1]

Долго сдерживаемый кашель прорвался теперь с полной силой, сопровождаемый хрипом и глухими стонами.

Буковяк передвинул на столе зеленую лампу, совсем ушел в тень.

Илжецкий снова пересек комнату по диагонали и остановился перед зеркалом. Пухлый, крепко скроенный, пышущий энергией, он являл собой полную противоположность Буковяку. Непонятно, зачем он вытащил из кармана маленькую щеточку и принялся задумчиво расчесывать свой младенческий пушок на голове.

— Итак,— задумчиво произнес он, вероятно продолжая развивать какие-то свои мысли,— необходимо предъявить как можно больше доказательств. Ни на минуту нельзя забывать о том, что юридические принципы Трибунала определят многое, потом это скажется на развитии международного права. Можно сказать не колеблясь, что новая история Европы, история мира в огромной степени будет зависеть от решений, принятых в Нюрнберге. Именно здесь, именно сейчас будет сформулировано, кто является военным преступником, несет ответственность за развязывание второй мировой войны. На основании документов, неопровержимых документов. Об этом нельзя забывать.

Он прищурился, словно хотел разглядеть выражения наших лиц, но в комнате было для этого недостаточно светло, и он двинулся к двери.

---

[1] Поживем — увидим! *(франц.)*

— Вы позволите зажечь верхний свет?

— Пожалуйста,— прохрипел Буковяк.— Зиачит, вас в первую очередь интересует, как будет развиваться междуиародиое право после Нюрибергского процесса. Для меия же гораздо важиее завтрашиее заседаиие и иезиачительный эпизод, как вы его иазвали: дача свидетельских показаиий поляками. Опрос свидетелей должеи подтвердить иаше участие в первом в мире междуиародиом акте правосудия. Вот почему я считаю завтрашиий день чрезвычайио важиым для иас.

Изборождеиное морщииами лицо Буковяка слегка разгладилось и посветлело, он уже ие хрипит, голос его звучит дружелюбио и тепло.

— Я иадеюсь иа иаших свидетелей,— продолжил ои.— Они возьмут иа себя ответствеииость за завтрашиий деиь.

Доктор Оравия поднял голову и слушал, сжимая ладонями голову. По мере того как Буковяк говорил, его помятое лицо разглаживалось.

— Если мы взгляием иа карту Европы,— заговорил полушепотом Буковяк,— мы иасчитаем миожество, может быть тысячи, мест, где иаходились гитлеровские коицентрациоиные лагеря. Даже иам самим в это трудио будет поверить. Но полиая картииа составится только через годы. Поэтому так важно, чтобы в Нюриберге давали показания живые люди, оии сегодня скажут больше, чем иной обиаружеииый через двадцать лет докумеит.

Илжецкий слушал его, уставившись в потолок, почесывая жирный подбородок.

— Живые люди не замеият веществеииых доказательств,— улыбнулся он, чуть кривя губы.

Буковяк перебил его:

— Дорогой коллега, чтение докумеитов все же, иа мой взгляд, производит иное впечатлеиие, иежели показаиия людей, освобождеиных из лагерей смерти. Бумаги, фотографии, отчеты, фотокопии приказов свозят сюда килограммами. Вы же зиаете, ими завалеиы кабииеты в здании Трибуиала. Очень сомиеваюсь, что все оии будут прочитаны.

Все молчали. Буковяк виовь заговорил:

— Я добивался, чтобы вызвали свидетелей из Польши. Живые люди. Живое слово. Согласие Трибуиала пригласить их я считаю победой иашей делегации.

— Да-да. Да-да! — Илжецкий упорио смотрел в потолок.— Посмотрим, к чему приведет упорство моего уважаемого коллеги. Посмотрим.

Мне не хватало смелости вступить в разговор. Страх сковывал меня. Война наполнила меня этим зловонным страхом, я не могла перебороть себя. Мне хотелось спросить, когда в Нюрнберг вызовут профессоров Краковского университета, которых во время войны держали в Заксенхаузене, когда вызовут женщин из Равенсбрюка, которых гитлеровские лекари называли «подопытными кроликами». Кроме слов, они могут представить и вещественные доказательства: сквозь чулки на их ногах видны шрамы, глубокие синие впадины, следы варварских насильственных операций. Когда вызовут жителей Замойщины, они расскажут, как в их воеводстве сжигали целые деревни, как вывозили детей в Освенцим. В газовые камеры.

Завтра мне предстоит отвечать на вопросы Трибунала; я не боюсь этого, но это не смелость, скорее, просто отчаянная решимость; почему же сейчас я молчу и не нахожу в себе сил, чтобы в тишине гостиничного номера, нарушаемой лишь тиканьем часов (или, может, это капает вода в раковине?), высказать свои сомнения, сказать, что из Польши пригласили слишком маленькую группу, так мало свидетелей из страны, которая не смогла еще подготовить все документы, потому что испытала на себе все разновидности гитлеровских зверств и разорена дотла.

Все это время доктор Оравия сидел в тени. Вдруг он встал, улыбнулся Буковяку, успокаивающим жестом вытянул вперед обе руки.

— Пан прокурор предоставил нам возможность говорить от имени тех, кого лишили жизни. Мы заменим их!

Голос Оравии дрогнул, руки задрожали. С трудом овладев собой, он резко сказал:

— Нюрнбергский процесс должен явиться плотиной. Чтобы больше никогда не было преступлений. Никогда. Понимаете? Никаких преступлений на всем земном шаре!

Видно, доктору хотелось добавить что-то еще, но все молчали. Приглушенные звуки все еще дремлющей повоскресному старой гостиницы то усиливались, то утихали, гасли в глубине ее стен. Неужели человеческая речь бессильна перед событиями, очевидцами которых мы были?

Хриплое дыхание Буковяка скорее похоже на треск в проводах. Он заговорил, и лишь постепенно неразборчивые звуки начали складываться в слова.

— Сейчас сюда придет Михал Грабовецкий и сможет ответить на все вопросы и сомнения нашего прокурора.

Он специально ездил в Варшаву за результатами работы комиссии. Наверняка привез данные, протоколы показаний свидетелей.

Кашель одолел его, он долго не мог прийти в себя, но вот наконец успокоился.

— Совершенно отдельно следует рассматривать вопрос о гитлеровском генерал-губернаторе Гансе Франке. Мы пытались добиться выдачи его Польше, суд над ним должен состояться у нас в стране, он несет ответственность за трагедию нашей страны. Но Франк значится среди главных военных преступников, его нам не выдадут, его судят в Нюрнберге. Не удалось доктору Оравии добиться этого, хотя он тщательно подготовил материал о его преступлениях в Польше. Обвинения, выдвинутые против него, были бы полнее, если бы мы представили их в польский суд. Здесь же, в Нюрнберге, преступления Франка рассматриваются как один из разделов всего комплекса проблем. Закончится Нюрнбергский процесс, возможно, о нем даже забудут, а в Польше будут и будут появляться факты и материалы, отягчающие вину Ганса Франка. Поэтому сейчас показания узников Освенцима или Треблинки важнее документов и цифр.

Сгорбленный, вросший в кресло Буковяк повернулся всем телом к собеседникам. Он распахнул дверь стоявшего за его спиной шкафа — при ярком свете лампочки, осветившей полки, мы увидели кипы скоросшивателей. Буковяк снова постучал в стенку, за которой находился номер Грабовецкого.

— Пан Михал, когда вы наконец распакуете свои вещи? Расскажите, как обстоят дела в Варшаве!

Он с минуту подождал. Илжецкий выпятил вперед нижнюю губу и шмыгнул носом. Буковяк обеими руками потер лицо, видно было, что разговор его утомляет.

— Отлив кончился,— сказал он, тяжело дыша.— Советую смотреть в оба. Можно многое увидеть. На каждом шагу. Особенно завтра на заседании Трибунала.

Из его горла снова раздается хрип, и, снижая голос, он шепотом говорит:

— Смотреть в оба.

Приступ кашля опять не дает ему говорить. Он прикладывает платок ко рту, пытается приглушить хрип больных легких.

Прижав толстые пальцы к губам, ко мне обращается Илжецкий:

— Американские юристы не признают показаний сви-

детелей. Для них важен только документ. Умно составленный документ. С комментариями. К которому можно в любой момент вернуться.

Буковяк наконец справился с кашлем, спрятал платок и старается улыбкой загладить тяжкое впечатление.

Илжецкий отошел к двери, встал перед зеркалом, полюбовался своей детской головкой с младенческими завитушками, привел в порядок прическу, старательно поработав щеткой. Все молчали, ждали пана Михала.

Илжецкий иронично заметил:

— Пан Михал, видно, лег вздремнуть. У него, по-моему, нет ни комплексов, ни морально-философских проблем. Отсыпается за войну. Отсыпается после командировки в Варшаву. Отсыпается по очереди за каждую усталость.

Буковяк снова нервно застучал в стенку, наконец взял телефонную трубку, набрав номер соседа, терпеливо ждал ответа.

— Ну как работать в таких условиях? — вздохнул он и вдруг громко вскрикнул: — Пан Михал, наконец-то, где вы пропадали? Все время были у себя? Не морочьте голову! Ждем вас.

Казалось, со злости он сейчас швырнет трубку, но он осторожно положил ее и, низко склонившись над столом, задумчиво разглядывал карту.

В приоткрывшейся двери показалась лысина Михала Грабовецкого.

— Я вам не помешаю?

— Дайте же наконец последние данные! Сколько погибло в Варшаве! — нервничал Буковяк.

Грабовецкий усиленно потер ладонью виски.

— Что вам сказать? Из-за морозов и снегопадов снова отложили земляные работы, придется ждать до весны. Этого следовало ожидать. И мои предположения полностью подтверждаются: мы не получим этих данных до вынесения приговора. Пока, пан прокурор, ничего не получится с эксгумацией, нет людей, зима. Я разговаривал с генералом, он просил это вам передать.

— Что?!

Пан Михал беспомощно опустил руки.

— Значит, будем ждать весны.— Он потер лоб и повторил шепотом: — Ждать весны.

— Весны? Ни до какой весны я ждать не могу! — рявкнул Буковяк.

Грабовецкий развел руками:

— Я только могу повторить: сейчас в Польше проводить раскопки некому.

Буковяк опять зашелся в сильнейшем кашле.

Илжецкий продолжал возиться со щеткой, опять пригладил волосы пухлыми пальчиками и, подражая фальцету Грабовецкого, повторил:

— Ничего не получится с эксгумацией, сами понимаете, коллега. Ничего, абсолютно ничего...

Ошеломленная вышла я из гостиницы. О разговоре в комнате Буковяка мне не хотелось думать. Хотелось успокоиться, привести в порядок свои мысли. Ссора земляков?! Здесь, где у нас почти никаких надежд? Меня ослепил свет, искристое сияние снега и удивительно ласковое и теплое солнце, внезапно выглянувшее из-за облаков. Первое прикосновение весны, еле ощутимой в это время года. Оно согрело мое лицо, заставило дышать глубже. Осыпающийся белой пылью иней, пахнущий весной ветер, смешиваясь, несли облегчение.

Освободившись от чего-то, что было выше моих душевных сил, я спокойно шла; не хотелось возвращаться, пока последний солнечный луч не исчезнет за крышами домов, что должно было произойти уже скоро: февральские дни коротки.

Я расслабилась, исчезло напряжение, не отпускавшее меня с того момента, как мне сказали, что я поеду в Нюрнберг, и все долгие дни мучительного пути. Темная комната Буковяка еще больше взвинтила меня, тон разговоров повергал в уныние. Сейчас все это куда-то ушло.

Перед гостиницей было пусто. Неожиданно на улицу вышли трое. Я понимаю, что вышли чужие мне люди, и не обращаю на них внимания. Седовласый мужчина в поношенном пальто идет бочком, пропускает вперед молодую женщину и ее спутника. Седовласый угодливый немец вряд ли имел что-то общее с планами Адольфа Гитлера, почему же в каждом его жесте такое смирение? Наверное, он всегда был предупредителен и только я усматриваю в его поведении нечто особенное?

— Bitte, gnädige Frau! Bitte![1] — говорит он взволнованно.

У подъезда стоят несколько автомобилей. Шоферы-немцы внимательно следят за дверью «Гранд-отеля». Американский солдат-диспетчер кивает головой одному из них и почти тут же отсылает машину обратно, вызывает другую,

[1] Прошу вас, любезная госпожа, прошу вас! *(нем.)*

более шикарную. Обшарпанная рухлядь возвращается на свое место. "Gnädige Frau" подходит к открытым дверцам автомобиля.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

На кого похожа эта женщина? Я закрываю глаза и пытаюсь вспомнить, кто это. Очень элегантная, красивая, уверенная в себе, у нее решительные движения, стройная фигура. Она оглядывается по сторонам, вдыхает морозный воздух, словно пьет, открыв рот, чудесный напиток. И вдруг замечает меня. Сдвигает брови — и тоже не может вспомнить, но это длится одно мгновение.

— C'est vrai?[1] — изумленно спрашивает она и переходит на польский: — Здесь? В Нюрнберге?

Ну вот, сомнения развеяны. Как она изменилась, но голос остался прежний. Никогда бы я не поверила, что человеку достаточно вернуть свободу, и он так перевоплотится.

— C'est vrai? — радостно повторяет она.

Тот же мягкий, приглушенный голос, как в тот январский день, когда я увидела ее сгорбленную худую спину с торчащими под полосатой робой лопатками. Бритая голова, шея по-собачьи втянута в плечи. Доходяга пыталась протиснуться в разношерстную группу лагерных оркестрантов.

Эсэсовец забраковал уже множество кандидаток. Решительные Weg! Ab! Raus![2] быстро укорачивали длинную очередь. Только с этой безволосой доходягой он начал канителиться, спросил о чем-то, но, не зная французского, вызвал переводчика.

— Dolmetscherin! Sofort![3]

Я услышала тогда дрожащий от холода голос, краткие ответы на вопросы переводчицы. Бельгийка. Училась в Польше, у профессора Джевецкого, по классу фортепьяно. Играет Шопена, Моцарта, Листа, Бетховена, Грига.

— Name? Vorname?[4]

— Солаиж...

Немец не слышал такого имени, велел ей расписаться.

Наверное, не только от холода дрожала ее грязная, посиневшая рука над листком бумаги. Через ее плечо я прочла: Солаиж Прэ.

---

[1] Неужели это правда? *(франц.)*
[2] Прочь! Вон! Уходи! *(нем.)*
[3] Переводчицу! Скорее! *(нем.)*
[4] Имя? Фамилия? *(нем.)*

Эсэсовец принялся острить:

— So lange?[1]

— Сколько времени ты в лагере? — быстро спросила переводчица, смертельно напуганная сложившейся ситуацией.

Соланж подняла пять пальцев и мизинец.

— Шесть недель.

К немцу вернулось хорошее настроение.

— So lange! Гм-гм! Столько времени ты имеешь право тут продержаться. Но попробуй не сыграть Бетховена, Моцарта... Грига...

Он велел ей ждать, пока не опросит остальных кандидаток. Я стояла возле нее. Оказалось, что "die Geige"[2] пригодится в оркестре, хотя в школьные годы я куда лучше играла на гребешке, чем на скрипке. Мне было страшно. Сменить лопату на смычок, канаву, полную грязи и мокрого снега, на барак для оркестра...

Эсэсовец, уверенный, что Соланж лжет, был в прекрасном расположении духа. Его забавляла перспектива разоблачения доходяги. Честно говоря, и мы сомневались в том, что это хорошо кончится. Эдакое чучело. Скелет, обтянутый синей кожей, с красными пятнами на обмороженных щеках. Мокрый нос, потрескавшиеся губы. И вдобавок ужас в глазах, у нее дрожали руки, спина, подбородок.

— So lange тебе хотелось бы здесь остаться? — развлекался эсэсовец.— Also komm. Komm[3]. Проверим.

По размокшему снегу мы три километра брели до рояля. Там Соланж долго грела руки над железной печуркой, потом растирала пальцы, вызывая громкий смех эсэсовца. Наконец села к роялю, подкрутила табурет и сыграла Полонез си мажор Шопена. Струны не лопнули, хотя нам казалось, что вот-вот что-нибудь случится.

И вот теперь я стояла перед ней, изменившейся настолько, что мне хотелось спросить, действительно ли мы встретились здесь, в Нюрнберге, перед «Гранд-отелем». Я услышала свой сдавленный голос:

— Оркестр в далеко не полном составе.

Соланж помрачнела.

— Да, многих из нас уже нет.

И тут же снова улыбнулась, обняла меня.

— Послушай. Я даю здесь концерт. Пожалуйста, поедем

---

[1] Так долго? *(нем.)*

[2] Скрипка *(нем.)*.

[3] Тогда пойдем. Пойдем *(нем.)*.

со мной на репетицию. Не спорь. Я буду чувствовать себя свободней среди них, только ты сможешь понять, до чего мне неуютно здесь играть.

— Боюсь, что не смогу. Меня только-только вызвали из Варшавы...

— Ну пожалуйста, не увиливай. Ты поможешь мне успокоиться. Подумай о слушателях, о солдатах-фронтовиках. Я очень люблю играть для них, мы им обязаны жизнью. Давай представим, что рояль стоит в лесу, кругом палатки. Помнишь, как наши надежды, наше воображение придавали нам силы, заменяли кино, театр, чтение, разговоры с друзьями, все.

Я молчу. Соланж крепко сжимает мое плечо.

— Поедем со мной на репетицию. Если ты не хочешь слушать музыку, не слушай. Просто побудь там. Дирижер, который со мной, был в эмиграции, он приличный человек. Но все равно его немецкая речь терзает мой слух.

Мы смотрим друг на друга сквозь сверкающие в лучах солнца снежинки. Я начинаю понимать Соланж, ведь я испытываю то же: с раннего детства жили среди сверстников, мечтали, росли. Немцы вырвали нас из родного дома, отправили в лагерь.

Последняя группа, где мы жили надеждой,— тот страшный лагерный оркестр перестал быть нужен немцам, и они растоптали его. Поэтому сегодня мы протягиваем друг другу руки, чтобы убедиться: мы все еще существуем, им не удалось нас убрать. Мы сейчас подтверждаем наше существование. Нам хочется верить, что наши пути пойдут вблизи друг от друга.

— Значит, я услышу тебя в Нюрнберге? — говорю я, внимательно вглядываясь в этого нового человека, которым стала Соланж.

— Встреча с тобой здесь — огромная радость для меня,— отвечает она.— И какое-то облегчение. А для тебя?

— В Нюрнберге! Неслыханно! Представляешь? Об этом мы даже не мечтали.

Седой мужчина покорно ждет, он пытается вступить в разговор, но Соланж лишь улыбнулась ему и продолжает уговаривать меня своим тихим голосом. Когда она на минуту умолкла, мужчина объяснил:

— Концерты организовывают американцы для гостей Трибунала, на них приходят офицеры из охраны, простые солдаты. Французы, поляки, югославы, чехи. Можно сказать, случайные слушатели. Настоящие меломаны бывают редко.

Соланж подняла большой палец, улыбнулась. Красивая, европейская, возвращенная к жизни.

— Значит, одной репетиции вполне хватит? Едем?

Я с сомнением смотрю на «Гранд-отель», но Соланж не принимает моих возражений.

— Сделай это для меня. Потом мы сможем поговорить. Поедем со мной. Прошу тебя.

Я думаю о волосах Соланж. Они отросли, хотя прическа все еще по-мальчишески короткая. В ее движениях чувствуется свобода и уверенность в себе. Высокая, прямая, теперь она не сутулится. Ей сегодня принадлежит весь мир.

— Итак, едем,— властно говорит она.

— Ты давно в Нюрнберге?

Соланж поднимает руки.

— Потом! Я приехала вчера после обеда. Сегодня выступлю, а завтра улетаю в Рим. Потом в Милан. Я радуюсь Европе, принимаю все приглашения. А сейчас похищаю тебя. Ты скажешь, сколько мне надо репетировать перед концертом. Буду слушать только тебя.

Я поняла, что круговорот ее жизни уже затягивает меня. Плот стронулся с места и помчал меня по реке впечатлений и желаний. Мы быстро ехали по пустынным улицам. Соланж снова обняла меня, тихонько запела какую-то ритмичную, полную темперамента песенку. Ветер, врывающийся в раскрытое окно, трепал нам волосы.

Я должна бы испытывать радость, мчась в этом шикарном автомобиле с безупречно вышколенным шофером, который по первому знаку готов любезно притормозить, прибавить скорость, повернуть, остановиться, предупредительно распахнуть двери, помочь выйти. Но я не чувствую ничего, кроме опустошенности.

— Я помню, как отправляли оркестр,— вспоминает Соланж.— Нашу маленькую группу построили вдоль путей. Было лето, разгар лета, я была поражена, когда заметила, как сморщились, пожелтели, побурели, стали мертвыми листья на деревьях, словно схваченные морозом. И только тогда, отчетливее, чем прежде, поняла, где мы находимся. Это меня окончательно сломало. Я больше не могла бороться. Я поняла, что оркестру подписан приговор. И только неожиданное наступление на фронте помешало им привести его в исполнение.

Она прикрыла глаза. До меня доносятся прерываемые ветром обрывки слов:

— Ты первый человек оттуда, которого я встретила после войны. Я не знаю, что с остальными.

Соланж вздохнула. Она напевает мелодию, которую часто пела вечерами, сидя на нарах под дырявой крышей: Camarades, darmez vous?[1]

Я начала ей подпевать, сначала скованно, а потом все громче и свободней. Эти слова были для нас чем-то вроде гимна. Неожиданно она воскликнула:

— Поехали со мной в Италию! Соглашайся, упрямица! Я завтра же с утра достану для тебя билет и все оформлю. Ты только подумай, выслушай меня, потом будешь качать головой. Там ведь гораздо теплее, скоро весна.

Как рассказать ей о Нюрнбергском процессе, не привлекая к нашему разговору посторонних?

Я решаю отложить его на потом, а пока поддаюсь ее настроению: солнце греет сквозь стекло, в Италии весна, завтра самолет летит в Рим. Оттуда в Милан. Разумеется, я должна поехать туда, доказать самой себе, что к миру возвращается рассудок. Сбежать как можно дальше отсюда, забыть о своих мрачных проблемах.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Толпа обтекает белые колонны, валит валом, лестницы переполнены, значит, успех обеспечен. Культурные жители Нюрнберга знают наизусть все выдающиеся произведения, их трудно чем-либо удивить. Будем надеяться, что немцы не осмелятся появиться в зале! Будем надеяться. Может быть, они начнут вести себя так, как нам бы хотелось.

Прошло еще пять минут. Мне пора к Соланж. Я обещала ей прийти немного пораньше.

Удивительно, сколько слушателей в этом старом концертном зале. А фамилия на афише вовсе не знаменитая и звучит не по-немецки. Вокруг меня слышна речь народов всего мира. Идут французы, итальянцы, норвежцы, англичане, американцы, черные, белые, шоколадные, в мундирах со знаками различия и в гражданском, с орденскими планками, которые скромно свидетельствуют о том, что и это войны; входят группы югославов и чехов, русских и бельгийцев, голландцев и поляков. Но нет моего Томаша, и ни один из мужчин не похож на него, черты Томаша расплываются, рассеиваются в сероватом тумане. Надо забыть о нем, отказаться от надежды. А мое воображение упорно уносит меня в ту жизнь, которая могла бы быть. Музыка помогает воображению, вызывает непроизвольные ассоциации, открывает дорогу в жизнь и позволяет забыть, что на этой до-

[1] Товарищи, вы спите? *(франц.)*

роге многих уже нет. Умерших накрыла земля, война кончилась, самые отважные ушли от живых, и огромные толпы людей, лишенных любви, лишенных всего, что наполняет ветром паруса человеческой жизни, рассеялись. На их место приходят другие.

Сколько народу! Зал, наверное, уже переполнен, но что я делаю здесь, среди них? С кем я? Скорей с теми, кто покоится в братских могилах. Их черты мне близки и знакомы, они заслоняли кого-то собственным телом и поэтому исчезли, растворились в глубинах небытия.

Я совсем одна. Чужая в этой огромной толпе, никого нет из моих земляков, я знаю только Соланж, но она целиком поглощена концертом. Меня все сильнее гнетет одиночество среди людей, но нет, я не уйду. Войду в зал, закрою глаза и буду слушать.

Подошла последняя минута.

До чего торжественный и величественный вид у всех этих лестниц, потолков, коридоров, скульптур, балюстрад! В этом храме притаились мелодии, залетевшие сюда, словно ласточки, вот слышны даже взмахи крыльев, сменяются тональности, гудит эхо, разбуженное чьими-то шагами,— возвращаются времена давних концертов. Кто играл тут прежде? Моцарт? Лист? А может быть, и Шопен? Это наверняка знает дирижер. Прекрасная тема для беседы. Я смогу избежать расспросов о цели моего приезда, о первом впечатлении от Нюрнберга.

Лучше всего с самого начала направить любопытство всех собеседников к проблемам банальным и безразличным. Или музыкальным.

Спокойствие, бесследно исчезнувшее с нюрнбергских улиц, сохранялось здесь в неприкосновенности. В воздухе ощущается аромат прошлого, с овальных медальонов над деревянными панелями на нас кротко взирает девятнадцатый век, именно такой, каким представляем мы его себе по книгам: прохлада и простор, запах дерева и старых фолиантов, в воздухе аромат только что сорванных фруктов и бродящего в старых подвалах вина.

Я поднимаюсь по лестнице, и эхо шагов под сводом звучит все громче и отчетливее, у него свой аритмичный ритм, своя немелодичная мелодия, доносятся обрывки музыкальных фраз — это оркестр настраивает инструменты. И вдруг волнение пронизывает всю меня, мою нервную систему: что я тут делаю, как я могла пообещать Соланж прийти на концерт, меня пугает эта толпа, я должна уйти отсюда — и вместе с тем точно взрыв радости: я живу, я должна жить,

ни о чем другом не желаю думать. Как это просто — опуститься в мягкое кресло и ждать прелюдии Шопена, знать, что ты среди людей. Соланж говорила, что я нужна ей. Я все еще поднимаюсь по лестнице. Концертный зал уже рядом, оттуда плывет теплый воздух, разговоры, смех, тóпот ног, возбужденный шум толпы, отдельные голоса, которые моментами заглушают оркестр, пробующий первые такты. Сердце стучит все быстрее, от напряжения сжимается горло. Не надо бояться, вспомни, ведь тогда ты умела справиться со страхом, подавить воображение, душила все надежды перед допросом, а после допроса у тебя была одна забота — как переправить записку.

Теперешнюю ситуацию нельзя сравнивать с той, думаю я, продолжая идти по лестнице. Горький смех поднимается во мне, ирония быстро успокаивает нервы: надо бы выйти на сцену. Поднять руки. Закричать. Встать у самого края, сказать им, что нельзя терять времени. Почему мы не кричим? Почему все стараются быть воспитанными? Почему я молчу? Неужели самых смелых поубивали, а их место заняли теперь тихие, покорные посредственности, трусы, глупцы, из которых ни один не осмелится поднять руку и закричать?

— Ну наконец! — Дирижер склонился в низком, пожалуй, слишком низком поклоне.— Мадемуазель Соланж уже спрашивала о вас.

Освещенная сзади голова этого старого человека, белая, точно облако на ясном небе, источает сияние, большие руки тепло пожимают мою ладонь, а глаза в сеточке густых морщин следят за моей реакцией на эту сердечность. Я знаю, что этот немец — эмигрант. Элегантный, слегка поношенный смокинг, архаичная вежливость смешат меня и одновременно вызывают сочувствие.

— Мадемуазель Прэ просила, чтобы я проводил вас к ней, как только вы придете.

— Сегодня много публики,— говорю я, чтобы не молчать.— Здесь замечательный зал.

— Мое сéрдце будет сегодня вечером биться очень сильно. Я хотел бы, чтобы мадемуазель Прэ одержала тут победу. Артист — это своего рода современный пророк в пустыне, он должен знать, как ударить по скале, чтобы забил настоящий чистый родник.

Я с удивлением ловлю себя на том, что, отвечая ему, не контролирую себя.

— Она уже одержала свою победу. Причем при удивительных обстоятельствах. Я этого никогда не забуду.

В руках репортеров шуршит бумага. Завтра мы сможем прочесть в газетах очередные банальности. Профессор наклоняется ко мне.

— Она очень талантлива. Кроме того, с ней лучший союзник таланта — молодость. Я уверен, что на сегодняшнем концерте она проявит себя в полную силу. Соланж Прэ — явление редкое, исключительное. Артисты такого уровня рождаются раз в столетие. На последней репетиции мне показалось, что она гениальна.

Столько похвал и восторгов со стороны немецкого маэстро! Невероятно! Его слова способны выбить из равновесия.

— Было бы лучше, чтобы Соланж не слышала этого,— говорю я сурово.— Мы скажем ей после концерта, если все пройдет хорошо.

— Можете не сомневаться,— заверяет старый дирижер.

Он ощутил мою холодность, и я довольна, что сумела его смутить.

Его плотным кольцом обступают журналисты, музыканты, представители радио и прессы. Они быстро записывают, потом один придвигается со своим блокнотом и карандашом ко мне и шепотом спрашивает:

— Мне бы, если вы будете так любезны, очень хотелось узнать... Когда мадам Соланж играла безупречно? Что это за ее победа, о которой вы упомянули...

Я в полной растерянности. Где найти слова, которыми чужому человеку можно было бы рассказать о том, что было тогда? Зачем упоминать об этом? Он, видимо, слышал мой разговор с дирижером.

— А может быть, мадам Прэ согласится дать интервью? У меня уже готов первый вопрос! — радостно восклицает репортер.— Надо выяснить, выступала ли она прежде в Нюрнберге? Скорей всего, нет. Почему?

Надо поскорей улыбнуться, чтобы скрыть мысли, которые всколыхнули его слова во мне.

— Все очень просто. Не было подходящего случая.

Старый дирижер выбил свою трубку о ладонь.

— Да... Существовали некоторые сложности в сообщении между европейскими странами,— наконец сказал он, вздохнув. На губах его мелькнула ироническая усмешка.

Я громко и неестественно рассмеялась.

— Ну уж нет! Транспорт тогда работал куда лучше, чем нынче. Просто на удивление.

Дирижер надолго замолчал. Дым из трубки, которую

он громко посасывал, окутал его лицо. Репортер пытался заразить окружающих своим возбуждением, но это ему не удавалось, во всяком случае, по отношению ко мне.

Появилась Соланж. Мальчишеский силуэт, короткая стрижка. Защелкали фотоаппараты, круг стал еще плотней. Молодой репортер с блокнотом в худых и нервных пальцах пытается протиснуться ближе к пианистке, потом выпаливает на одном дыхании:

— Я представитель крупного телеграфного агентства, у меня единственный вопрос — какой вы национальности?

— Европейка, родившаяся в Брюсселе,— не колеблясь, отвечает Соланж и тут же ускользает, здоровается с кем-то у входа в зал, радостно смеется.

Странное впечатление: будто вместе с появлением Соланж веселая бабочка влетела сюда и кружится под потолком.

— Еще два вопроса! — снова кричит репортер и без дополнительных предисловий пытается получить интервью.— Ответьте, где вы дали свой первый концерт? И в связи с этим... это будет сенсацией... я слышал о каком-то удивительном случае в вашей карьере?

Дирижер вскинул руки, пресекая расспросы бесцеремонного журналиста.

— Никаких интервью перед концертом. Абсолютно никаких! Я категорически запрещаю.

До чего он рассудителен и заботлив! — думаю я, прислушиваясь к его словам. А после концерта пусть хоть потолок обрушится. Тогда уже ничто не помешает Соланж, а сейчас тишина и покой.

Репортер отступил на шаг, воцарилась тишина. Дирижер меняет тему. Он указывает на стены, увешанные портретами. С них смотрят потемневшие от времени лица артистов былых времен.

— Вы выступаете в Нюрнберге, где играл Иоганн Себастьян и Вольфганг Амадей.

— О! — вежливо отзывается Соланж и, придерживая меня за локоть, направляется к старым картинам. Мы рассматриваем их по очереди, старательно и долго.

Я думаю о разочаровании, которое испытал бы этот старый человек, скажи я вслух то, о чем думаю: я сбегу отсюда, если не вступит в меня свет, нужный мне теперь больше всего, если не прекратится диссонанс, терзающий мой слух, какой-то на редкость неприятный, усиливающийся скрежет.

— Вы не хотели бы отдохнуть перед выходом? Быть

может, вы захотите послушать оркестр? Мы оставили для вас место в зале,— спрашивает дирижер, стоя перед улыбающейся Соланж почти что навытяжку.

— Я с удовольствием послушаю... но не из зала,— отвечает она.

— У нас за кулисами стоят кресла, оттуда можно видеть и слышать весь концерт.

— А я пойду в партер,— решаюсь я.— Мне нужна дистанция.

Дирижер подходит ближе к Соланж, он растроган, собирается чем-то поделиться с ней:

— Когда-то, много лет назад, здесь бывала со мной моя невеста... Как давно это было!.. Она всегда садилась за кулисами... Я дирижировал и поглядывал на нее чаще, чем в раскрытые ноты, и в этом таился секрет моих юношеских успехов,— сказал он, обращаясь, возможно, к самому себе.

Я села возле сцены и на время забыла, зачем меня вызвали в Нюрнберг. Международный трибунал перестал существовать. Обстановка помогла мне справиться с нервами, меня окружала атмосфера культуры и покоя, свет подчеркивал мягкость тканей, драпирующих сцену. Приятно выглядели свежие цветы на рампе. Я могла не думать обо всем том, что оставалось за пределами этого здания. Через минуту-другую оркестр заиграет Моцарта, и, слушая его, я смогу примириться с сегодняшней действительностью, смогу заглушить нарастающую боль. Я предпочла бы не видеть слушателей, я сжала пальцами виски, закрыла глаза. Однако я чувствовала чье-то дыхание, тепло постепенно наполняющегося зала, входили и входили какие-то чужие люди. Что было бы, если б хоть один из них оказался знакомым? Возникающие воспоминания тотчас бледнели, тень ровесника из дней оккупации расплывалась в уходящем времени, напряженном и жестоком, удалялась все дальше и дальше, я тщетно пыталась ее задержать.

Разверзлась пропасть между прошлым и настоящим. Из этой пропасти возвращаются в одиночестве, конец войны застает в чужих местах, на чужой земле, безуспешно взывая к тем, кто ушел навсегда.

Оркестр все еще настраивает инструменты, эти звуки наполняют мое сердце беспокойством.

Аплодисменты. Вдоль рампы идет дирижер. Красивый, с добрым лицом, он держится прямо, хотя видно, как устал. Низко кланяется, раздается взрыв аплодисментов.

Дирижер повернулся спиной к залу, взял свою палочку с пюпитра. Он задержался так на несколько секунд, необходимых, чтобы слушатели сосредоточились, чтобы утих шелест, и резким движением опустил руки. Оркестр заиграл. Казалось, этот старый человек вдохнул в него свою душу. Я давно не слышала такого вдохновенного исполнения Моцарта. Звучала знакомая тема, возникла давно забытая зальцбургская осень, мягкая, теплая, пахнувшая опавшей листвой.

Катарсис. Очищение музыкой. Весь осадок, вросший в нервную ткань, должен раствориться, улетучиться. Изболевшиеся места снова наполнятся радостью и вдохновением. Жаль, что нельзя сохранить это состояние до конца моего пребывания в Нюрнберге, остаться за этим толстенным матовым стеклом, которое отделяет меня от жизни. Но что-то нацарапано на этом стекле грязным пальцем: Gott mit uns[1]... и свастика... Права Соланж: надо бежать отсюда!

Я выхожу из задумчивости. Мое бездумное существование завтра кончится, я должна буду сжать пальцы в кулак и ударить. А пока можно спокойно следить за руками дирижера, парящими, нервными, вытянутыми в напряжении.

За последние пятьдесят, сто, а может, и все сто пятьдесят лет вроде бы ничего и не произошло в Европе; звуки моцартовского «Реквиема» по-прежнему погружают в задумчивость, трогают до слез. Нет, не может быть, что-то из пережитого осело в нашем сознании, вот вошли в этот зал человеческие тени с Елисейских полей, из Брюсселя, Варшавы, Плашова или Терезина. Они присутствуют сегодня здесь. Стоит прикрыть глаза, и перед тобой появляются скрюченные предсмертной судорогой руки, отчаяние громко звучит голосами всех инструментов, а потом стихает, переходя в стенания жертв и вскрики палачей, которые их убивают.

В зале так тихо, будто здесь и вправду собрались умершие. Боюсь, сюда пришли не только те, кто ведет Трибунал и кто на него приехал, тут определенно немало немцев. Они слушают не дыша, упиваются музыкой, в такой аудитории музыка обретает крылья. Я ненавижу их за это! Я ненавидела их музыкальность и сентиментальность. Их звериную жестокость. Поразительно, как соединялась в них любовь к искусству с тем, что они творили, как

---

[1] С нами бог *(нем.)*.

научились они отключаться от изуверств, творимых ими четверть часа тому назад, и в следующие минуты уже спокойно наслаждаться музыкой. Зачем я пришла сюда? Это была ошибка. Надо уходить.

Из боковой ложи, где сижу, я хорошо вижу лица, наслаждающиеся музыкой, и это возмущает. Мне начинает казаться, что каждый здесь присутствующий мог и тогда точно так же, затаив дыхание, слушать музыку... Как сбросить с себя этот кошмар?

Я более внимательно вглядываюсь в ближайшие ряды. Ну конечно, в зале не одни немцы, сюда съехались люди со всей Европы, со всего мира. Среди поношенных костюмов то и дело мелькает офицерский мундир, отутюженный в американском стиле: две вертикальные складки прочерчены утюгом от пяток и до ключиц. Теперь, когда война осталась позади, многие гражданские надели военную форму, демонстрируя мужество, которое они не успели проявить раньше. На территории Германии им сейчас удобно расхаживать в военной форме — как-никак победители.

А случается, что мундир куда лучше, чем обычное платье, подчеркивает стройность девичьей фигуры; эта малышка из второго ряда совершенно очаровательна в американском мундире. У нее ухоженная кожа, пушистые волосы, маникюр, эмаль цвета свежей крови на нежных пальчиках,— все это создает контраст между нею и женщинами из оккупированных стран; она зевает, вертится на скрипящем кресле, вряд ли она большой любитель музыки. Пожалуй, кот, свернувшийся клубком на ее коленях, больше напоминает меломана — не дыша слушает очередную фугу Баха, очень талантливо исполняемую оркестром. Совсем еще юный американский полковник, сидящий в том же ряду через три кресла от нее, подмигивает своей подчиненной, указывая на кота. Его это забавляет. Девушка, нагнувшись над коленями соседей, ловко подхватывает мирно дремавшего зверька и кидает его полковнику. Тот ловит. Этим молодым американцам нет дела до оркестра. Молчаливый обмен взглядами и улыбками занимает их куда больше, чем музыка.

Кот довольно быстро пришел в себя, поудобнее расположился на коленях мужчины, но тотчас был возвращен своей хозяйке, которая благоразумно сунула его в кожаную планшетку.

Кто-то сдавленно фыркнул, вовсю гремел оркестр, своды зрительного зала, казалось, вздрагивали от мощных

аккордов; я заметила своего соседа по самолету, Себастьяна Вежбицу, который с интересом следил за флиртующей американской парочкой. Увидев меня, он поклонился и, улыбнувшись, вскинул брови, как сегодня, когда наш самолет шел на посадку.

Взрыв аплодисментов. Дирижер и оркестр раскланиваются. Окончилось первое отделение. Американская girl[1] в мундире принялась счищать шерсть с брюк полковника, а тот, втиснувшись между креслами, полностью загородил проход.

— Вот потеха! Пусть меня кондрашка хватит! — Могучий баритон Себастьяна перекрывает шум голосов.— Этот безусый герой должен получить награду — как-никак контужен на немецкой земле! Одним махом его поразили в сердце и чуть ниже.

Горячие ладони Себастьяна сжали мои руки и на мгновение замерли.

— Как хорошо, что вы тут. С утра я жалел... Мне срочно надо было заняться своей дальнейшей поездкой, решение принято лишь час назад. Я задерживаюсь на несколько дней в Нюрнберге. И, честно говоря, этому рад.

Мы стояли между рядами, не торопясь выходить, к тому же полковник и американка с котом все еще загораживали дорогу.

— По-моему, полковник боится щекотки, а быть может, весьма чувствен,— гудел могучий голос Себастьяна.

Довольный собственной шуткой, он расхохотался, и я учуяла, что мой земляк перед концертом здорово подкрепился. Поняв, что пойман с поличным, он подкрутил ус и с мальчишеским самодовольством заявил:

— Небольшой аперитив против дурных сновидений. Прекрасно поднимает настроение.

Мы двигались вместе с толпой, вокруг звучала французская, итальянская, английская речь. Себастьян порой отставал, пропуская кого-то, но тут же догонял меня, краешком глаза все время следя, чтоб я не потерялась. Мне это приятно. Значит, я уже не одна в чужой толпе. Могу смеяться, говорить. В дверях мы задержались, с удовольствием наблюдая за полковником и красавицей блондинкой с розовым платочком в руке.

— Наша встреча — полная неожиданность! — воскликнул Себастьян, поглаживая усы.— Мне тут надо найти кое-кого из друзей, проследить за делами.

[1] Девушка *(англ.)*.

— А как же персиковые сады? — спросила я.

— К чему спешить! Я поеду туда. Всему свое время. И еще вас уговорю.— От него исходила сила, он был полон юмора, глаза его ловили мою улыбку. Мне хотелось спросить, кому из героев Генрика Сенкевича он подражает, но я решила не портить ему настроения. Вид у него был довольно странный: густые буйные волосы ниспадали на воротник мундира без знаков различия, на рукавах два красных полукруга с четкой надписью "Poland", широкая орденская планка. Видимо, это и привлекало к нему внимание. Среди рослых, крепких американцев, среди стройных и подтянутых англичан, среди белых, черных, среди метисов, цыган, аристократов, среди тощих и разжиревших Себастьян сразу выделялся: то ли осанкой, то ли внутренней силой. Люди уступали ему дорогу, а он, улыбающийся, спокойный, шествовал, точно король, удостоивший своим посещением сегодняшний концерт, время от времени замедляя шаг, чтобы пропустить меня вперед.

— Надо же, какая неожиданность! — шептал он, поглаживая усы.— То мы с вами встречаемся над облаками, то в концерте. Везет же вояке.

— Здесь, по-моему, собрались все наши попутчики из самолета.

— Бог с ними. У меня запросы куда скромнее, вполне хватает встречи с вами.

Началось второе отделение. Я прикрыла глаза руками, чтобы ничто не мешало мне слушать. Мои мысли, словно плот, сорванный с места весенним паводком, помчались по течению к местам, к пейзажам, о существовании которых я и не подозревала. Себастьян все время наблюдал за мной, я ощущала это, каждый раз натыкаясь на его пристальный взгляд. Меня это слегка раздражало, но вместе с тем было приятно, я не испытывала одиночества.

И снова гром аплодисментов. Серебристая голова дирижера опустилась в поклоне. Какой тревожный момент. Кончилась оркестровая часть. Теперь все услышат Шопена, Листа, Моцарта — в чьем исполнении? Соланж? Или другой пианистки? Что это за девушка подходит к роялю? Неужто в самом деле объявленная в программе Соланж Прэ? Значит, она жива? Ей разрешили жить? Я открываю глаза и оглядываюсь. Нет, то время ушло. Я не в том, странном оркестре, одетом в новые полосатые лагерные робы, который репетирует в девятом бараке. Оркестр, в котором и солистки, и все оркестранты держали инструменты озябшими руками, а в их расширенных гла-

зах отражался ужас обреченных, стоящих на краю пропасти. Музыка навсегда стала для меня мостом к прошлому, и этот мост памяти трудно будет разрушить.

Я никогда больше не возьму в руки скрипку, думаю я, уныло глядя на сцену, на раскрытый рояль. Соланж восхищает меня. Она идет быстро, бесстрашно улыбаясь, с высоко поднятой головой.

Поразительно, меня согрел энтузиазм зала. Еще минуту назад я боялась за Соланж, была уверена, что она не сможет пройти этих нескольких шагов до рояля на одеревеневших ногах, что ее онемевшие пальцы не смогут правильно сыграть простейшей гаммы. А теперь вдруг мое сердце переполнено надеждой, я жду успеха, победы, именно здесь, в Нюрнберге. Я хочу, чтобы она заставила их восхищаться, кричать «браво», вызывать на бис. А потом она расскажет, ведь после концертов всегда берут интервью, репортеров всегда интересуют творческие биографии, она расскажет, при каких обстоятельствах совершенствовала свою технику. Сегодня перед ней распахнул двери самый знаменитый концертный зал Нюрнберга. А тогда?

Дирижер пошел ей навстречу. Соланж поклонилась в ответ на легкий шум приветственных аплодисментов. Села к роялю.

Зал замер. Воцарилась тишина. Огромная, наполненная легким шорохом, хлопками раковина вновь опустилась на дно покоя. Кажется, зрители затаили дыхание в ожидании первого аккорда.

В тот момент, когда Соланж будет исполнять «Прелюдию» Шопена, я начну свой разговор с Томашем, ему адресую слова, как если б вдруг оказалось, что он жив. Мне надо думать о нем, только тогда музыка поможет восстановить в памяти его черты, развеваемые ветром волосы, глаза, которые перестали видеть, всего его, быть может давно ставшего соком земли.

Соланж склонилась над клавиатурой. Ее успех станет моей победой, «бисы» заполнят этот вечер до конца.

Сама я, в самом деле, ничего не умею, я не поднялась даже на первую ступень жизни; сухое, рассыпчатое, твердое, шуршащее зерно не превратилось в зеленые, буйные, сочные всхóды, не вытянулось в изящные живые стебли, не обрело аромата цветения, не налилось тяжестью созревших колосьев. Чего мне не хватает? Воли? Таланта? Или смелости, которая необходима, чтобы заново взяться за дело? Я не знаю! Я не могу ответить на эти вопросы.

Просто в самые трудные минуты жизни музыка стала для меня потребностью, такой, как вода, мыло, хлеб или простой карандаш; необходимым инструментом для выражения чувств; она играла роль спасательного круга, соломинки, за которую я судорожно хваталась, чтоб не рухнуть под пролетевшими над моей головой событиями. Только сейчас я понимаю, что мои тревоги не имеют ничего общего со страхом — скорее, воспоминание о том дне лишает меня покоя и душевного равновесия. Тот день, отразившись в музыкальном произведении, запечатлелся в моих нервах. И оставил свою печать, как ракушка, сотни тысяч лет тому назад вросшая в камень, подобранный когда-то мною на берегу Ионического моря. Известковая ракушка давно рассыпалась, исчезла, но форма ее отпечаталась навсегда в минерале.

Дирижер взмахнул палочкой, он походил то на прекрасного танцора, прикованного к месту, то на пальму, гнущуюся под резкими порывами морского ветра.

Оркестр ведет скорбную песнь Фридерика Шопена. Соланж еще не играет, но уже участвует в полете мелодии, впитывает ее ритм, тему, слушает, проникается пафосом, поэзией, напевностью. И вот!!! Первым же аккордом легко вступает в музыку, пальцы несутся, давая выход искрометному темпераменту, сдерживаемому техникой.

Она нашла свою тональность, пальцы едва касаются клавиш — это шум дождя на тихой улочке, это шелест листьев, с которых стекают капельки воды на подоконник, это звон стрекозиных крыльев над лугом, это четкий ритм, который отбивают ножонками деревенские ребятишки, спешащие по тропинке в школу в далекой Польше. Это жаркое солнце, день ожидаемой встречи с Томашем,— день, который никогда не наступит.

Поразительно, до чего гибкие и быстрые пальцы у Соланж, гораздо гибче, чем раньше. Чтобы играть Шопена, нужно верить в сказки, нужно уметь их рассказывать, а ведь время сказок прошло бесповоротно. Неужели боль одиночества становится для нее источником вдохновения, как тогда отчаяние?

Дирижер склонился к роялю, мне видно его лицо, одобрение, быть может, даже восхищение промелькнуло в его улыбке, глаза, полные мягкого света, дружески смотрят на Соланж. Тут нет дирижера, нет пианистки, оркестра — есть только Шопен, очарование тишины, напевность, запах сосен и запрятанная глубоко, на самом дне поэзии, человеческая сила.

Аплодисменты оглушили меня, зал взорвался, и я не сразу поняла, что уже можно перевести дыхание. Первая часть выступления закончилась. Соланж благодарит за аплодисменты, низко кланяется. Дирижер взял пианистку за руку, ведет к рампе. Они улыбаются друг другу, словно во время свадебного танца. Овации не смолкают, к ним присоединяется рокот голосов, молодежь, стоявшая вдоль стен, скандирует. Я удивленно смотрю на Вежбицу, напрасно пытаясь понять, что кричат эти люди.

Дирижер доволен; лихо тряхнув седой шевелюрой, он рукой показывает на Соланж. Аплодисменты снова усилились. Себастьян наклонился ко мне. Я чувствую горячее дыхание.

— Слышите? "Noch einmal"[1]. Они просят повторить еще раз.

— Значит, и немцы пришли на концерт?

У Себастьяна дрогнули брови.

— Только хорошие немцы. Исключительно хорошие немцы.

Я поднесла палец к губам.

— Скажите, они вызывают на бис только Шопена?

Себастьян не понял меня, потом вдруг до него дошло, и он расхохотался. Аплодисменты заглушали наш разговор, мы едва слышали друг друга.

— Пока да. Но за будущее поручиться не могу.

Я ответила:

— После такой музыки я готова согласиться с каждым "noch einmal".

Соланж заняла свое место. Положила руки на клавиши. С минуту молча ждала, закрыв глаза. Наконец-то зал успокоился.

— Прелюдии Шопена,— говорю я совсем тихо. Но мою просьбу уже подхватывает Себастьян Вежбица, чей бас перекрывает другие голоса.

— Прелюдии! Прелюдии Шопена! — повторяют вслед за Вежбицей соседние ряды.

Соланж взглянула туда, откуда раздавались голоса, кивком головы подтвердила: она исполнит то, о чем просит зал.

С неописуемой легкостью пальцы коснулись клавиш. Слушатели замолкли, захваченные напряженной мелодией. Оркестр ждал. Я закрыла глаза. Тот далекий день всплыл в памяти так отчетливо, что я на мгновение даже увидела

---

[1] Еще раз *(нем.)*.

Томаша, стоявшего в группе мужчин. Черты его я не могла различить, лишь туманный контур неподвижной фигуры, это болью отдалось в сердце — и внезапная уверенность: его нет, нет среди живых. Что это значит — его нет?

Скандирование, приглушенное, едва различимое "noch einmal" раздается теперь после каждой вещи, исполненной Соланж. Она черпает в этом силу. Горячая волна счастья заливает меня, моментами я тяжело вздыхаю и тогда чувствую усталость от этого длинного дня, но это всего лишь доли секунды, тут же ко мне возвращается спокойствие, я понимаю, что у Соланж громадный успех, я знаю, что она должна остановиться на этом аккорде победы; она и сама сознает это и легким движением головы дает понять, что сегодня больше играть не будет.

Все громче аплодисменты, они длятся и длятся, в них не слышно теперь криков «бис», зал сотрясает настоящая овация, и совсем еще молодая бельгийка принимает это с вежливым достоинством, она благодарит поклоном и улыбкой, до конца сохраняя спокойствие. Вот она подходит к самому краю рампы, подчиняясь непонятному мне порыву — видно, эти люди в зале создали такую атмосферу, что она может играть легко и свободно, будто на пустынном морском берегу или в нежилом, заброшенном доме. Их восторженный прием окрылил ее. Думаю, что только раз в жизни она играла так самозабвенно. Как хорошо я помню тот день — но там была борьба за то, чтобы выжить. Я поднимаю руку, хочу дать ей знак. Я воспринимаю ее в двух плоскостях: сегодняшней и той, очерченной каплями нереальных, туманных огней.

Аплодисменты напоминают бурю, сухой дождь осенних листьев, толпа тогда шла по аллее, посыпанной шлаком, шаги отдавались ритмичным хрустом. Сгибающиеся от ветра тополя пахли горечью, их листья громко шелестели в тишине того страшного октябрьского вечера. Шелест и ритм шагов и глубокая темень, насыщенная туманом, а где-то впереди расплывающиеся во мраке огни. Там, где нас выгрузили, остались опустевшие товарные вагоны; резко свистнул паровоз. Как горько, но эта спонтанная овация отбросила меня в те времена, в тот туманный вечер! Тогда, в ту первую ночь, мы познакомились с Соланж, и тогда началась наша дружба.

Дыхание зрителей совсем рядом, оно согревает, завораживает. Они подарили Соланж свое восхищение и признание. Они благодарят ее и не торопятся уходить. Они ждут. Интересно, что будет, если им рассказать? Сумеют

ли они понять? Нервы мои уже успокаиваются, но напряжение не проходит.

— Что с вами? — спрашивает Себастьян.

— Ничего, ничего. Я ужасно рада. Какой триумф! «Дамы и господа,— мысли складываются в конкретные фразы, и я отнюдь не уверена, что вот-вот не заговорю вслух.— Вы проявили незаурядный музыкальный вкус, вы постигли мысли композитора, вы не дыша, вдохновенно внимали мелодии. Такое понимание музыки — свидетельство высокой культуры. Вы скандируете «бис! бис! бис!». Как же понять ту глухоту, которая поразила многих из вас тогда? Как это возможно, как поверить, что вы не слышали криков оттуда? И криков здесь, в вашей стране, рядом с вашими домами?»

Соланж преподнесли цветы, едва распустившиеся розы. Она растрогана, и зал, видя это, приходит в неистовство. Люди вскакивают, о чем-то спрашивают, молодежь пробирается к самой сцене, просят автографы.

«Дамы и господа,— мысленно продолжаю я, с беспокойством следя за каждым движением Соланж,— может, ваш восторг вызван тем радостным фактом, что молодая красивая женщина спасена? Ведь таких, как она, красивых и талантливых, отправляли в газовые камеры, отправляли на смерть. Делали это люди, родившиеся в вашей стране. Сейчас они здесь, арестованы, их судят. Кое-кому удалось скрыться, исчезнуть, и они будут выжидать, когда смогут выйти на свет божий. Как вы оцениваете это с точки зрения морали? Ваши хлопающие ладони, ваши губы, кричащие «бис»,— именно в них содержится ваша нравственная оценка? Там никто не кричал «бис», и тем не менее мы целыми днями распевали бессмысленные слова, бесконечно повторяя припев: "Und die Musik spielt dazu"[1]». Дирижер обеими руками сжал руки Соланж, он что-то тепло говорит ей, а зал, обрадовавшись этой сердечности, хлопает еще громче, порывы бури все чаще, они ударяют, словно ветер в брезент палатки, под которым прячутся во время грозы.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Постепенно в концертном зале гаснут лампы. Сначала исчезает во мраке сцена, пропадают стены — выключены ярко горевшие бра, видна только толпа, безликая, бес-

[1] При этом музыка играет *(нем.)*.

цветная. Проходы между рядами, лестницы, коридоры — все забито людьми, освещаемыми лишь бледным светом слабых светильников под потолком. Я вижу круги под усталыми глазами, замечаю плотно сжатые молчанием губы, и мне кажется, что молчание это вызвано болью, а не раздумьем.

Я двигаюсь медленно, шаг за шагом, вместе со всеми, мне бы хотелось обогнать их, вырваться на мороз, но темп определяет толпа, она движется всей массой, топчется на месте сотнями ног. Позади меня идет Себастьян Вежбица. Моментами он фыркает — его, видно, тоже раздражает это надоевшее шествие.

Вежбица совершенно чужой мне человек, куда более чужой, чем Буковяк или Илжецкий; такой же посторонний, как билетер, мимо которого я как раз прохожу, лысоватый немец лет пятидесяти сливается с фоном, его форма выкрашена в тот же серый цвет, что и портьеры. Его спокойствие и безразличие как бы свидетельствуют о том, что он простоял тут всю войну. Глядя на него, можно подумать, будто не призывались в армию немцы в возрасте от семнадцати и до шестидесяти лет, что не было боев под Сталинградом, в Африке, в Норвегии, в Югославии, в Голландии, в Польше, в Бельгии, в Венгрии, во Франции, на морях и в воздухе. Это все приснилось нам, людям с навязчивой идеей, это все лишь привиделось мне, варшавской студентке. Но завтра мне придется предстать перед Международным военным трибуналом и в немногих словах рассказать о том, что я видела собственными глазами на болотистой пустынной земле, которую немцы назвали Аушвиц-Биркенау.

Себастьян громко откашлялся, его хрипловатый баритон раздался сзади меня:

— В этом Нюрнберге есть что-то, что все время нагоняет на меня хандру. Какое-то лихорадочное состояние. Чумная земля. Малярийная. Все-таки надо отсюда смываться. И вам я тоже это советую от всего сердца.

Мы двигались медленным шагом. Вокруг снова звучала французская и английская речь, все говорили громко, как в месте, где никто никого не знает, все чужие друг другу и можно чувствовать себя свободно.

— В Калифорнию! — гудел за моей спиной Себастьян, который никак не мог расстаться со своей навязчивой мыслью.— Для нас тут нет будущего, мы на вулкане, а я мечтаю о покое. Человеку положено кочевать, искать свое место на земле. Идти вперед.

Я оглянулась, молча посмотрела на него. Высоко поднятая голова Себастьяна, обрамленная серебристой шевелюрой, выглядела театрально, чем-то напоминала балмаскарад: этот человек не походил на других людей, перемолотых жерновами войны, теплушками, противотанковыми рвами, окопами, казармами, бараками.

— Я обещал подробней рассказать вам, в чем заключается теория двух зубров. Но сперва скажите, как вы себя чувствуете? Как вам нравится Нюрнберг?

Я молчала. Себастьян поравнялся со мной в ожидании ответа.

— Сама не знаю. Трудно сказать. Может быть, вам это знакомо: между мной и всем, что происходит вокруг, существует непробиваемое стекло.

— Ха! Еще бы! Надо признать, что это непробиваемое стекло как бы утолщается. Ну а как вы себя чувствовали на концерте?

— Вроде бы я забылась. Но стекло осталось. Хочется, сжав кулаки, вырваться. Ударить? Разбить его?

Мы снова помолчали.

— Что касается зубров, так это довольно простая теория. Зубры бьются упорно, не на жизнь, а на смерть. У нас, в Беловежской пуще, несмотря на все ограды и массивные барьеры, мы видели это своими глазами. И уж если один прорывается, никакой силой не растащить двух сцепившихся в смертельной схватке гигантов. Вот так же в слепых схватках сходятся народы. Я сыт по горло. Кто знает, не начнется ли очередная драка в какой-нибудь части Европы. Наполеону захотелось воевать — поляки идут за ним. Турки под стенами Вены — поляки тут как тут[1].

Он замолчал. Нас медленно несла волна двигающихся к гардеробу людей. Наконец мы остановились в каком-то закутке. Вежбица наклонился ко мне.

— Я знаю только один путь избежать этого,— сказал он, заслоняя меня плечом от напора спешащих американских солдат.— Только один, но зато верный: уехать из Европы. Моя связная, будь она рядом со мной сейчас, наверняка бы это поняла. Я даже подыскал для нее интересное занятие. Ведь я все еще надеюсь найти ее. Если бог существует, я должен с ней встретиться!

Голос его сорвался.

---

[1] В 1668 году польский король Ян III Собеский разгромил турецкие войска, осаждавшие Вену.

Толпа снова подхватила нас и потащила к выходу. Из открытых дверей пахнуло морозцем.

— Может быть, вас это заинтересует,— продолжал Вежбица, забирая у меня номерок от пальто.— Время от времени появляется возможность выехать в Канаду, в Мексику, в Калифорнию, причем на весьма выгодных условиях. Уход за детьми. Ничьими детьми, освобожденными из лагерей. Прекрасное занятие для молодой женщины. Сопровождать их, опекать.

— Это сироты?

— Есть сироты, а есть и не сироты. Немцы отняли этих детей у родителей. Отобрали их, хотели германизировать. Кто знает, где искать отца, мать, родственников. А есть совсем малыши, даже не помнят ни своих родителей, ни фамилий, ни адресов. Ничего. Иногда только имена. Да и имена уже не свои собственные, а немецкие.

— Рассказывайте, я вас слушаю.

— Этим детям надо обеспечить хорошие условия, Калифорния, Мексика, Канада, персиковые деревья за окнами.

— Кто это решает?

Он рассмеялся, закинув голову назад.

— Мудрые люди. Этим детям нужен покой. Я мог бы вас устроить воспитательницей в одну из отъезжающих групп.

Он взял у гардеробщицы пальто и подал его мне.

— Вы сказали «персиковые деревья за окнами». Настоящие? Которые будут цвести и принесут плоды?

Он быстро надел шинель, торопливо застегнул ее. Его серебряная грива на воротнике шинели выглядела странно.

— Вы сможете там есть персики величиною с мой кулак, пушистые, зрелые, сладкие. Не такие, как те зеленые мышки, что растил мой отец. Почему вы смеетесь?

Опустив голову, я натягивала перчатки.

До чего странное чувство. Как объяснить ему, что я знала людей, которые отдали бы все, чтоб вернуться к родному порогу и есть картошку с солью. Но говорить об этих людях можно только в прошедшем времени. Были деревни, где часто не хватало пшеницы до следующего урожая, матери варили детям суп из плодов дикой груши или ходили в поле и выбирали там картофелины величиной с грецкий орех. Но это были родные матери. Родные дома. Что за безумие?! Кому персики могут заменить родину, возвращение домой?

— Выше голову! — командирским тоном воскликнул

Вежбица.— Не стоит печалиться раньше времени. Поживем — увидим. Этот вопрос, милая пани, решили без нас. Теперь началась стадия реализации. Вы можете отказаться. Но случай представляется исключительный! Порой такой возможности приходится ждать всю жизнь.

Мы стояли почти в дверях. Оседая на ветвях, крышах домов, фонарях и заборах, падал с неба тихий снег.

— Знаете, тут возникает ряд проблем. Да и все вместе кажется мне весьма сомнительным. Я уверена, что у этих детей не спросили, куда они хотят вернуться. А если бы среди них была ваша дочь? Или сын? Вы и тогда бы не сомневались?

— Я продолжал бы утверждать: прочь из Европы! Как можно дальше! Оставить позади эту кровавую трясину. У Польши нет столицы. И ее никогда не восстановят. Никогда. Во всяком случае, при нашей жизни. Нет людей. Нет школ. Нет сейма. И неизвестно, будет ли он вообще когда-нибудь. Крайова Рада Народова[1]? Все это сказки!

— И все же вашим рассуждениям не хватает четкости: если в один прекрасный день все отправятся в персиковые сады и не вернутся, как будет выглядеть брошенная нами Польша?

— Дорогая пани! Страна, где взбесившиеся зубры сцепились в смертельной схватке,— не пристанище для детей. С этим вы не станете спорить? Хорошо, давайте отложим этот разговор. Я узнаю, есть ли еще свободные места в группе, которая готовится к отъезду. А вы к завтрашнему дню все спокойно обдумаете. Не спеша. Вам надо будет только поставить свою подпись. А потом занять свое место в самолете. Все остальное за вас сделают другие. Первое и обязательное условие, которое все определяет: не думать, плыть по течению, ждать, пока вода вынесет вас на спокойный берег.

Снег медленно падает на землю, тает, нежно касаясь лица. Это уже не резкая зимняя метель, нет ни ветра, ни мороза, нарядная белизна украсила стволы деревьев, засверкала вокруг уличных фонарей. Какое странное ощущение: завтра снова можно мчаться в самолете сквозь снежные облака, стоит лишь поставить свою подпись, а потом сразу — Калифорния, цветущие сады, солнце...

[1] Представительный орган польского народа, создан по инициативе Польской рабочей партии 31.XII.1944 года в оккупированной Польше; до 19.I.1947 года выполнял функции временного парламента.

Люди притопывают, чтобы согреться. Негр, идущий впереди нас, закинул голову, вытянул кверху ладони, с восторгом пытается поймать мелькающие снежинки и смеется громким смехом счастливого ребенка.

— Что же мы будем делать дальше с этим вечером, который так замечательно начался? — спросил Себастьян непринужденно, словно уже забыв о своем предложении.

Буквально в ту же минуту перед ним возник паренек в демисезонном пальто с поднятым воротником и, щелкнув каблуками, вытянулся по стойке «смирно».

— Гражданин капитан, рядовой Ян Нерыхло прибыл в ваше распоряжение.

Себастьян вздрогнул. В гневных словах его ответа я уловила смешливые нотки:

— Это что такое? Черт побери! Пусть меня кондрашка хватит! Нарядился в гражданское и вздумал мне честь отдавать? Выпил, что ли, Нерыхло?

— Пить-то я как раз и не пил, пан капитан, хоть и было что. А явился по вашему приказанию.

Он снова, еще громче и энергичней, щелкнул каблуками.

— Да я вас в каталажку отправлю! Марш отсюда! Вы что, не видите, что я с дамой?

— Виноват, пан капитан, я совсем забыл, что не в мундире, но ваших приказов я не забуду никогда, буду ли в армии или на гражданке. Я тут фрица одного узнал. Военного преступника. Я вас искал повсюду.

— Узнали, говорите? Где этот преступник? Может, вам почудилось?

— Отец мой и вся деревня помнит, каждый подтвердит, если понадобится. И учитель подтвердит, он тоже видел. Преступник это. Брать его надо — и в петлю.

Вежбица потряс его за плечо.

— Протрите глаза. Урожай на преступников давно кончился. Опомнитесь, Нерыхло.

— Да я его, вот как вас, видел, пан капитан. Я тут поджидал, мне старшина Земский сказал, что вы на концерте. Если б надо, я бы и до утра тут простоял. Его надо сразу брать под суд. Они тут в Нюрнберге с ним по справедливости разберутся. Ведь у них тут Международный военный трибунал заседает, да?

Себастьян не перебивал его, только громко хмыкнул. Нерыхло, размахивая руками, начал быстро рассказывать:

— Вот как лестницу эту, как снег затоптанный, так я тогда видел кровь на дороге между нашей деревней и Млавой. Вся телега в крови была, мой отец шел рядом, плакал, руки у него тряслись, еле вожжи удерживал, а эсэсовец толкал его прикладом в спину, погонял, чтоб ехать быстрее, потому что в Млаве уже вагоны ждали. Меня мать следом послала, чтоб рассказал, коли с отцом что случится.

— И вы немца узнали? Разве такое возможно?

— Он, он это. Если его сразу прижать, он и отпираться не станет. Где, мол, был тогда-то и тогда-то, что делал в Польше под Млавой весной сорок третьего? У него, пан капитан, может, и приказ такой был: людей к поезду доставить, чего говорить, война была, может, и был приказ, да только он сам такую резню учинил, вырывал детишек у матерей из рук и на телегу швырял, он точно рассчитал, что их ждет. А на телегах этих специальные штырьки сделаны, чтобы снопы не сваливались. Так он мальца трехлетнего за ножки схватил и швырнул на телегу, тот на штырь и напоролся. Кровь фонтаном брызнула, потекла, а эсэсовец никому подойти не дал, мальчонку снять.

Он замолчал, вытер лоб смятой шапкой. Вежбица молчал. Мы стояли в снежной мгле, заглушавшей звуки шагов.

— Глядеть на это невозможно было, душа разрывалась. Кровь стекала по спицам в песок позади телеги, а мать ребенка чувств лишилась, так и не пришла в себя по дороге. Никогда, пока жив буду, я тех детишек забыть не смогу.

Снег вдруг перестал, и все замерло вокруг.

В сумерках зазвонил трамвай и с лязгом отъехал.

— Скажите, Нерыхло, сколько вам тогда было лет?

— Минутку. В марте мне исполнится девятнадцать. Значит, тогда было около шестнадцати. Весной сорок третьего года. Это я точно помню. И то, что я его сегодня узнал, тоже точно. Я тогда шел в нескольких шагах от отца, а немец все оглядывался и погонял, чтоб быстрей ехали. Я его хорошо разглядел.

— Подумайте, Нерыхло, как следует, сколько таких немцев в военной форме вы перевидали за годы войны?! Разве можно каждого запомнить?

— Что и говорить, пан капитан, этого добра мы перевидали немало. Но этот не такой, как все. У него подбородок вперед торчал и весь в наростах, будто грибы-дождевики из-под кожи лезли.

Теперь и я засомневалась.

— Что ж это за особые приметы? Наросты на подбородке!

Нерыхло, в очередной раз щелкнув каблуками, гордо ответил:

— Сапер ошибается только раз. И по моему разумению, тот, кто здесь, среди немцев, показывает на военного преступника, тоже может ошибиться только раз, не то с ним быстро разделаются. Ну а я не ошибаюсь. Я б его и в аду узнал. И еще у него примета есть: на левой руке пальцев не хватало. Я сегодня не поглядел, но все равно уверен. И отец мой, коли жив, подтвердит. Вся деревня подтвердит. И учитель, он тоже свое слово скажет.

Себастьян молчал. Вдалеке виднелись заснеженные неуклюжие развалины домов — следы налетов в последние месяцы войны.

— Двух пальцев у него не хватало. Были только мизинец, средний и безымянный. Большой палец ему совсем оторвало, а от указательного только культяшка торчала, зажившая уже. Я бы эту руку и его рожу потную даже в свой смертный час узнал, потому что собственными глазами видел, как он хватал крошечных, отощавших детишек и на телегу швырял.

Смущенная звучащей в голосе юноши уверенностью, я тихо сказала:

— Но ведь и до этого вы видели немцев. Толпы немцев.

— Нет, обычно только издалека. Деревня наша маленькая, несколько хат в стороне от дороги, в роще. Они, бывало, по большаку проезжали, то на мотоциклах, то на грузовиках, в километре от деревни. А тогда я впервые к немцу пригляделся. И подумать не мог, что человек на такое способен. Как закрою глаза, так и вижу его перед собой. А нынче выхожу из поезда на нюрнбергском вокзале, я во Франкфурт ездил, вы же знаете, пан капитан, гляжу — он в зале ожидания стоит, без формы, в гражданском; я чуть было не кинулся к нему, прямо на месте хотел с ним рассчитаться за того мальчонку, что он на штырь, точно табачный лист, насадил.

— Вот бы дел наделал! — Баритон Себастьяна зазвучал, точно надорванная струна.

— Игнат меня удержал. Не подпустил к немцу, пока я в себя не пришел. Да я и сам уж подумал, может, лучше с ним по закону разобраться. Одного только боюсь...

— Что ошиблись?

— Ошибиться-то я не ошибся, пан капитан, хотя в зале ожидания в одном конце стоял, а он в другом, возле буфета, ждал чего-то. Боюсь только, как бы они тут мухлевать не начали. Он пронюхает и деру даст, волк среди волков, затаились они, сразу и не скажешь, вроде камень у канавы лежит, да только это волк камнем прикинулся, а как в глаза ему глянешь...

— Тут вы правы. Даже у портье в «Гранд-отеле» взгляд такой,— вмешалась было я, но юноша продолжал говорить.

— Только вы, пан капитан, только вы сможете. Как вы того типа ловко прищучили, господи боже мой, самого лагерфюрера из концлагеря, а англичане-то его за порядочного держали. Он у них без сучка, без задоринки прошел.

Себастьян присвистнул сквозь зубы.

— Да, только я ведь даже не знаю, где он, кто и когда станет его судить.

— Ну, этого волка мы из рук не выпустим, пан капитан, это уж будьте спокойны! Сами будем за ним следить, сами в суд доставим. Был у тебя приказ вывозить население из деревни в Млаву? Был, не был — не наше дело. А вот, что ты убийца, у нас свидетели найдутся. Чтоб другим неповадно было. Есть ведь на свете справедливость. Создан Международный трибунал! Взять подлеца — и сразу под суд.

Меня вдруг охватило беспокойство. Ощущение опасности было таким отчетливым, что мне хотелось предостеречь их обоих, но я не находила слов, достаточно убедительных и серьезных, чтобы мужчины их поняли. Нерыхло протянул руки, настойчиво уговаривая:

— Там Игнат сторожит его уже давно! Он как на этого немца поглядел, сразу за вами послал, а сам следить остался. Пойдемте! Тут каждая секунда дорога.

Себастьян повернулся спиной к Нерыхло, огорченно поглядел на меня.

— Ну вот, видите, какая у нас развеселая жизнь! Я вас, Нерыхло, предупреждаю, если вы мне голову морочите, отсидите, как пить дать, две недели на воде и хлебе.

— Слушаюсь, пан капитан. Отсижу.

Я протянула на прощание руку. Себастьян возбужденно и быстро объяснял мне:

— Завтра я постараюсь уточнить, когда отъезжают польские дети за океан. И сообщу вам. Но вы не раздумывайте: цветущие персики за окнами — один только этот

пейзаж способен вылечить человека, избавить от дурных воспоминаний. Открываешь глаза поутру, а тут вместо эсэсовских касок, немецких преступлений, Трибунала, военных преступников и их защитников, крови, виселиц видишь ветви персиковых деревьев, усыпанные розовыми лепестками. Персики розовеют на солнце. Незабываемая картина. Бегство от кошмаров Европы.

Я решила пошутить:

— Я бы предпочла спелые персики. Сразу срывать и есть.

— Вот видите! Так и следует рассуждать! Я вас все-таки соблазнил этими персиками величиной с кулак. О'кэй! Формальностями мы займемся завтра. Поставите свою подпись — и больше никаких забот.

— Мне казалось, вы дали мне время на размышление?

— Совершенно верно. Только тут долго думать нечего. Идемте, Нерыхло! Ведите меня, посчитаем, сколько пальцев на руке у этого вашего немца. И как тут жить человеку? С одной стороны — сердце радуется, с другой — будто нарыв нарывает. Сердце у меня радуется, когда мы гитлеровцев одного за другим за решетку отправляем, а нарывает оттого, что я до сих пор, простите великодушно за грубость, в этой засранной, окровавленной Германии околачиваюсь.

Нерыхло продолжал стоять по стойке «смирно», но капитан Вежбица словно забыл о нем.

— Во время концерта меня одолевали сомнения. Что я тут делаю? Чего ищу? Но ведь кто-то должен выявлять преступников, кто-то должен напомнить им о их злодеяниях, а то они все забудут, бедняги, все, что им мешает.— Вежбица в задумчивости провел рукой по своим длинным серебристым волосам и продолжил: — В тридцать девятом году я решил не бриться и не стричься, пока мы не прогоним немцев с нашей земли. Идиотство, правда? Я был тогда очень молод и наивен. Но теперь другое дело,— он понизил голос до шепота,— я не постригусь, пока хоть один эсэсовец останется на свободе, кто-то обязан за этим следить, через год, два, пять, десять эсэсовцы опять возьмутся за оружие.

Бедный безумец, подумала я, глядя на него. Он мерит эти проблемы длиной своих волос!

— Вы только представьте, совершенно случайно я навел английскую прокуратуру на след настоящего вампира. Нерыхло как раз о нем и вспоминал; того, кто в своем жал-

ком мозгу выносил, а потом и реализовал идею умерщвления людей газом.

Я вздрогнула, пораженная этой новостью.

— Вы нашли его? И выследили?

Он махнул рукой.

— Чистая случайность! Меня назначили распределять бензин английскому командованию в Ганновере, и однажды за продовольственными карточками пришел эдакий угрюмый немецкий мужик. Из тех, что до пяти сосчитать не умеют. А у меня по отношению к этим сверхчеловекам дьявольская интуиция. Немец поглядел на мой мундир, вот сюда, где нашивка "Poland", и вдруг я замечаю, что он окаменел, слюну глотает, будто давится. Ах, думаю, ангел ты мой, что-то ты знаешь. И говорю наобум, негромко, но так, чтобы он расслышал: Майданек, Аушвиц, Равенсбрюк. Тот прямо на глазах позеленел, губы посерели, весь какой-то серый стал, будто крыса.

Я внимательно слушала.

— Дежурный старшина начал задавать ему вопросы: имя, фамилия, год рождения, имена родителей, жены. Тот начал что-то плести, запутался. К счастью, англичанин был не дурак, спросил его прямо: что делал во время оккупации в Польше? Ну, немец мало-помалу и раскололся. Только оказалось, что ему не так-то просто подвести итоги своих военных успехов. Он сейчас, слава богу, за решеткой сидит, свои воспоминания-показания пишет.

— Сознался?

— Нам от его крысиного страха все ясно стало. Перепуганный подонок сразу расклеился. У англичан с ним хлопот не было, он им письменно заявил, что собственноручно подписал приказ об умерщвлении людей в Освенциме газом. Признался, что уничтожил два с половиной миллиона. У меня даже с собой фотокопия его показаний. Майор Дрейпер, англичанин, инвалид войны, приехал тотчас, как только старшина сообщил ему по телефону, кого задержали.

— Так выглядят будни в этой стране.

— Вы замечательно это сформулировали. Так должны выглядеть будни в этой стране. Сегодня кто-то из англичан сказал мне, что в комиссии по розыску военных преступников уже имеется список — около пятнадцати тысяч гитлеровцев, которые успели скрыться. Кто-то должен помочь комиссии в этой трудной работе. Поляки лучше всех с этим справятся, кого, как не Польшу, гитлеровская оккупация лишила спокойного сна, все мы теперь просы-

паемся по ночам от собственного крика.

Он на минутку умолк.

— Ну, разболтался, как баба в непогоду. Пошли, вперед, Нерыхло!

— Слушаюсь, пан капитан! — Рядовой щелкнул каблуками и вытянулся по стойке «смирно».

— Очистим территорию, а потом уедем в большой мир, направление: персиковые сады. Навсегда забыть обо всех сверхчеловеках.

Они удалялись, дорогу им перешел тот же негр, ловя снежинки розовыми ладошками с длинными гибкими пальцами. Какой-то американец кинул в него снежок. Тот попытался швырнуть горсть пушистого снега, но американец уклонился и тут же слепил и покатил перед собой все увеличивающийся, растущий белый ком. Над площадью возле концертного зала зазвенел веселый смех разыгравшихся взрослых детей.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Находясь в Нюрнберге, трудно было представить себе персиковые сады. Здесь шел снег, накрыв белым бинтом открытые раны разбомбленных улиц. Хоть руины эти выглядели так же, как в Варшаве, они были другими, чужими, они появились не при защите своих границ, своих семей. Нюрнберг был в развалинах оттого, что мир слишком долго не мог разделаться с гитлеризмом, который, словно опухоль, расползался по всей Европе, уничтожая на пути Роттердам и Сталинград, Ясную Поляну и Лидице, зажимая в своих раковых клешнях все: дороги и реки, порты и лесные просеки, там, где стояли тихие деревеньки, появились концентрационные лагеря, уничтожая право человека на жизнь.

На прекрасный Нюрнберг, одну из жемчужин мировой архитектуры, сокровище многих поколений, посыпались бомбы союзников, но это все равно не смогло включить тормозные системы гитлеровцев, не остановило их звериной деятельности, не заставило их задуматься и сделать выводы, они продолжали выполнять приказ, Befehl ist Befehl[1], до той поры, пока сам Адольф Гитлер держал их в состоянии массового психоза. Почему? Зачем они сделали это? Разговоры о Lebensraum[2] — обычная сказка для детей,

[1] Приказ есть приказ *(нем.)*.
[2] Жизненное пространство *(нем.)*.

не знающих географии. Лучше бы пахали, сеяли, сажали леса, возделывали свои просторные поля и целинные земли.

Кто-то теплыми пальцами дотронулся до моей руки.

— Соланж! — обрадовалась я, но оказалось, это был всего лишь Грабовецкий, он повел меня к машине.

— Мы поужинаем вместе с нашим юристом в пресс-центре. Я побился с ним об заклад, что мне удастся отыскать вас в этой толпе. Пойдемте теперь искать Илжецкого.

Он страшно любил всех опекать, и, хотя я осторожно высвободила руку, он упорно вел меня к стоянке. Там я увидела мою подругу. Она ждала меня, и мне это было приятно. Но ее вечерняя программа показалась утомительной: Соланж предстоял банкет в обществе музыкантов, речи, тосты, интервью, мне же больше всего хотелось спать после трудной, долгой дороги. Я стала прощаться.

— Я отыщу тебя в пресс-центре,— пригрозила Соланж.— Мне нравится причинять беспокойство нашим хозяевам. Они это обожают. Правда?

Ее последние слова были обращены к сияющему дирижеру и его свите. Старик не понял слов, но с энтузиазмом подтвердил:

— Jawohl, jawohl[1].

Остальные тоже выразили полное удовлетворение.

— Ты видишь, до чего они милы? Значит, после ужина мы посетим знаменитый пресс-центр. Пока.

Обменявшись поклонами, мы расстались. Илжецкий был в полном восторге.

Машина нырнула в темные, пустые улицы Нюрнберга, освещаемые редкими фонарями. Свет фар выхватывал из темноты стены, площади, строения, но на улицах не было ни души. На долю секунды при повороте я увидела на брандмауэре огромные неровные буквы — такими во время войны писали лозунги против оккупантов. Сейчас смысл этих чужих слов ошеломляет, даже пугает. Я еще с утра обратила на них внимание, но не успела дочитать, задумавшись над тем, кто, в каком порыве отчаяния, бешенства и бунта написал этот мрачный стишок. И вот в ночной темноте черные слова мелькнули на белизне штукатурки и исчезли, это длилось короче, чем вскрик боли:

Willst du alte Sau?
Dann nimm eine deutsche Frau[2].

---

[1] Да, да *(нем.)*.
[2] Хочешь старую свинью?
Возьми немецкую жену *(нем.)*.

Как тут не подумать о возвращении с войны к любимой, которая не выдержала разлуки, о гигантской европейской бойне, где, прикрываясь пропагандистской ложью, человеческая жизнь становилась жалкой ветошью; о горечи побежденных, которые до этого пытались уничтожить всех неугодных и сплясать на их могилах, а теперь вынуждены записать поражение в свой личный дневник. Смолой записать поражение на стенах домов и заборах, открыв родному городу все свое отчаяние и унижение.

Мы нырнули в черный туннель возле вокзала. Лунный луч сверкнул на трамвайных путях и спиралью зазмеился по мостовой.

— До пресс-центра еще порядочный кусок,— объясняет Илжецкий.— Но там вам понравится, это место гарантирует покой.

Разве есть в Европе место, гарантирующее покой? — думаю я, глядя в окно на зияющие развалины. Себастьян советует бежать отсюда, бежать за океан, подальше от пропитанной кровью земли, в тень цветущих персиков. А если он прав?

— Там полно журналистов из всех стран. Обычно вечера они проводят у нас в «Гранд-отеле», но сегодня наша гостиница спит,— добавляет Грабовецкий.

Под колесами заскрежетали обломки кирпича и черепицы, машина поехала медленней, осторожнее. Фары высветили останки замка Нибелунгов, словно растоптанные гигантской ногой: башни, подъемные мосты, галереи, крепостная стена — все превращено в груду развалин после налетов союзнической авиации. Город «Нюрнбергских мейстерзингеров» Рихарда Вагнера. Город знаменитых игрушек, которые изготовлялись здесь и рассылались по всему свету. Город Parteitag'ов Адольфа Гитлера. Parteitag гордости... Parteitag[1] славы...

Скажи мне, Нюрнберг, прижимаюсь я лбом к оконному стеклу, неужели жизненное пространство, пресловутый Lebensraum, им действительно надо добывать таким образом?

Под шинами лопаются куски штукатурки, стекло.

— Это вымерший район,— говорит Илжецкий.— А вот, смотрите, дом Дюрера. Слева. Уцелевший, как говорят немцы, чудом. Давайте завтра вечером зайдем к одному местному искусствоведу. У него интереснейшая коллекция гравюр, я видел ее уже несколько раз.

---

[1] Партийный съезд *(нем.)*.

— Возможно, завтра я буду давать показания.

— Сомневаюсь. Наш старик — фантазер. Вы еще в этом убедитесь. До финала пока далеко, они тут, в Трибунале, ничего наспех не делают. Хорошо, если заслушают вас дня через четыре-пять. Если вообще сочтут нужным спрашивать польских свидетелей. Так что мы вполне могли бы завтра вечером навестить этого чудака. Только я должен вас заранее предупредить: он сразу начнет говорить о потерях немецкой культуры, о разбомбленных городах, обо всех бедствиях, которые они испытали, проиграв ими же развязанную войну.

Я не ответила. Как смотреть на вещи по эту сторону границы? Дом Дюрера. Нюрнбергский замок. А художественная галерея в Дрездене, а Ганновер, а порты в Бремене, Гамбурге, Любеке? Конечно же, местные жители считают себя обиженными. Не так-то легко объяснить им, что Европа действовала в порядке самозащиты, надо было обезоружить врага, вышвырнуть его за порог. Можно ли вообще спорить на эту тему? Разве хороший пинок, который получит грабитель, пойманный на месте преступления, можно назвать нападением? Грабитель? Нет, это слишком нежное прозвище для человекоубийцы.

Мы ехали сквозь глубокую, мертвую ночь. Город-кладбище. При свете дня на его улицы выползают контуженные, стенающие, обескровленные, ковыляющие на костылях, искалеченные жители, которых скорее можно причислить к жертвам второй мировой войны, чем к ее зачинщикам, сознательным и ответственным участникам. Я видела их днем, а теперь они исчезли. Ночью здесь пусто, молчание и иней укутали спящие развалины.

— А вот и он,— сказал Илжецкий.

Я очнулась.

— Пресс-центр? Значит, мы уже приехали?

— Нет... Это Фютерштрассе. Вон Дворец юстиции, в нем заседает Международный трибунал.

Шофер притормаживает, поглядывая в окно, словно старательный служащий бюро путешествий. А мы прилипаем к правому стеклу, потом дружно оборачиваемся назад и смотрим на здание Трибунала, пока оно совсем не исчезает из виду.

В темноте освещенные яркими прожекторами торжественно и радостно реют разноцветные флаги США, Советского Союза, Англии и Франции. Несмотря на все различия между этими странами, флаги дружно реют над



4—1203

зданием Трибунала, где должна торжествовать справедливость. По каскаду лестниц не торопясь прохаживаются солдаты в белых гетрах и перчатках, с белыми ремнями и буквами MP[1] на белых касках.

— Сегодня здание охраняют американцы,— поясняет Илжецкий.— Каждый день здесь несут вахту солдаты одной из четырех держав.

Город, ставший наконец символом международного правосудия, которое вынесет заслуженный приговор верным ученикам и подчиненным Гитлера, надел самые разные, удивительные маски. А если попытаться заглянуть хотя бы под одну из них, наверняка было бы очень интересно...

Маска суровости. Маска усталости. Маска страха. Карнавальная маска.

— А во время бала тут тоже был выставлен караул? — задаю я вопрос.

— Разумеется. Это крайне необходимо,— отвечает Илжецкий.

— А наши, польские солдаты?

— А что наши?! Наше войско не несет караул у входа в здание Трибунала. Только армии союзников. Четыре державы.

— И вы находите это нормальным?! Польша! На нее первую напали, и она мужественно дралась с гитлеровскими дивизиями.

Илжецкий развел руками.

— Политика,— начал он,— международная политика подчинена своим собственным законам. Это только у себя в стране мы считаем себя Прометеями. Для них здесь, вы вскоре сами в этом убедитесь, для многих американских корреспондентов и даже для наших более близких соседей — англичан, Польша всего лишь незначительный эпизод в этой войне.

— Значит, здесь поэтому только американцы, русские, англичане и французы.

— Именно так.

— Другим не нашлось места даже в этом символическом карауле?

— Увы!

Машина снова поехала быстрей. Мы молчали. Я еще раз оглянулась.

В круге яркого света сверкало здание с реющими

---

[1] Military Police — военная полиция *(англ.)*.

флагами стран-победительниц, все остальное, весь Нюрнберг, дома, улицы, потонуло во мраке, едва мы чуть отдалились.

Пресс-центр расположен далеко за городом. Слишком долго едем мы по глухим разбомбленным участкам дороги, езда уже не доставляет удовольствия, а скорее раздражает, будоражит воображение.

В голове возникают картины того, как год тому назад, а может, и того меньше, здесь были слышны взрывы, треск разваливающихся домов, крики. Европа душила агрессора на его же территории, бросились в последнюю атаку русские, англичане, югославы, французы, поляки, впились мертвой хваткой в горло оккупанту.

Немцы, разбуженные воем сирены, умирали точно так же, как до этого жители Варшавы, Орадура, в деревнях на Замойщине. И хотя крик давно затих, мы едем сейчас по нему, машина окунается в него, и я ловлю себя на странном, болезненном ощущении: рождается сочувствие к перепуганным немецким женщинам, которые волокут сонных немецких детей в разбитые бомбоубежища.

Еще один вираж, фары разгоняют темноту, и внезапно из глубины парка выступает дом, ограда, дорога, а из-под колес от резкого торможения с сухим треском разлетается гравий.

— Вот и пресс-центр,— сообщает Илжецкий.

Ветер резко распахивает дверцы автомобиля, врывается внутрь, свистит в ветвях, чем-то твердым бьет по водосточной трубе, властвует здесь, срывает одежду. Мне надо что-то сказать, но у меня сильно дрожит подбородок, и я не могу с этим справиться.

— Вы озябли?

— Слегка.

— Сейчас согреемся. Нас здесь покормят. Они так и жаждут теперь подавать нам шедевры кулинарного искусства для поднятия настроения.

— Собственного настроения, насколько я понимаю?

— И я так думаю.— Илжецкий огляделся в темном вестибюле.— Они бы с радостью устроили нам лукуллов пир, лишь бы показать, какие они паиньки.

Молодой ксендз, протягивающий портье свое черное пальто, оборачивается в нашу сторону.

Мимо нас в этот момент торопливо проходит какой-то угрюмый, задумавшийся мужчина в форме польского лесничего. Он буквально налетает на ксендза и лишь тогда поднимает голову. Они удивленно смотрят друг на друга, на лице ксендза отражается глубокое смущение. Он приветственно поднимает мягкую, белую ладонь, которой можно гладить только головки набожных детишек, потом опускает руку и, отбросив приличествующую его сану серьезность, хватает лесничего за плечи, обнимает, целует, отодвигает от себя, чтобы разглядеть со всех сторон, и опять прижимает к груди. Типично мужское проявление нежности, больше всего напоминающее серию сильных и частых боксерских ударов.

Какое-то время слышно похлопывание, потом ксендз опять чуть отстраняет лесничего и, радостно сияя, смотрит на него.

— Влодек! Значит, ты выжил в том аду. Вернулся оттуда. Ты должен мне все рассказать. Все! — восклицает он с радостным волнением.

Лесничий стоит понурив голову, смотрит в пол. Ксендз снова прижимает его к себе, ласково похлопывает по плечу.

— Ну-ну, старик. Не падай духом. Нас теперь двое. А двое из нашего класса, да еще с одной парты, после этой войны значит больше, чем общий съезд всех выпускников школы. Как твоя семья?

Тот помолчал, потом буркнул еле слышно:

— Я совсем один.

Ксендз снова встряхнул его, как грушу во время сбора плодов.

— Жить все равно надо. Выше голову, брат. Разве я не прав?

Лесничий улыбнулся, неуверенно поддакнул.

— Наверное... А что у тебя, Яцек? Как это тебя угораздило? Всегда за девчатами бегал, а теперь в таком одеянии? Неужели от немцев в таком наряде прятался?!

Наступило неловкое молчание. Ксендз поправил воротничок сутаны, криво усмехнулся. Лесничий оживленно продолжал:

— Война ведь давно кончилась. Скинь ты эту юбку. На что тебе маскарад?

Ксендз по-прежнему возился с воротничком.

— Оставь, Влодек. Оставь.

— Что-то я не пойму. Ты что, все еще скрываешься?

Неуверенным жестом ксендз взялся за пуговицу на кителе лесничего.

— Послушай, Влодек. Мы ведь виделись в последний раз, когда нам вручали аттестат зрелости, да? Помнишь, как Жирафа читала нам последнее наставление — напутствие в жизнь?

— Тебе что, тоже захотелось проповеди читать?

Я волновалась за пуговицу, пальцы ксендза не переставая крутили ее: вправо — влево, вправо — влево.

Оба молчали. Наконец лесничий, недоумевая и изумляясь, спросил:

— Не пойму, ты что, действительно в попы подался? Без обмана?

— Да ладно, старик. Брось это...

— Фу-ты ну-ты! Так это не маскарад?!

— Как видишь... Пойдем поужинаем вместе. Тут у них отличное вино.

— Освященное небось?

— Да ладно тебе. Пойдем посидим. Поговорим. Я тебе все объясню. Идем.

Указывая рукой на дверь, он наконец выпустил пуговицу. Лесничий махнул рукой.

— Да чего тут объяснять, если ты обет дал. А как ты девчатам нравился! Даже моя сестра в тебя была влюблена! А теперь что — всю жизнь будешь в юбке ходить? А мы-то думали!..

— Да ладно, старик. Я хотел в авиа-автомобильную школу поступать. Но на вступительном провалился.

— Ну и погиб бы летчиком на войне. Может, и к лучшему, что так вышло.

— Пойдем, Влодек, посидим. Расскажешь, что с тобой было, как ты теперь живешь.

Лесничий молча опустил голову, уставился в темный угол вестибюля. Ксендз настороженно наблюдал за ним.

— Ну-ка пошли! — Он крепко взял его за плечо.— Я понимаю, ты прошел через ад. Теперь надо забыть об этом и вернуться к жизни.

— Знаешь, старик, мне сейчас даже трудно решить, когда было хуже. Во время оккупации я был уверен, что, если выживу, меня уже никакие мелочи, сантименты, всякие там фигли-мигли, домашние заботы трогать не будут. А теперь вот...

Он покачал головой.

Ксендз озабоченно смотрел на него.

— Ты мне сейчас все расскажешь. Тебе станет легче, вот увидишь.

— Как я мечтаю, чтобы мне стало хоть чуть-чуть легче. Но пока даже во сне не удается забыться, все об одном думаю. Просыпаюсь со сжатыми кулаками.

— Идем сядем у окна. Если хочешь, мы проведем вместе весь вечер. Может, все не так плохо, как тебе кажется.

Они вошли в зал ресторана. К ксендзу, судя по всему, вернулось присутствие духа: он спокойно шел, откинув голову, сплетя пальцы на груди, точно читал про себя молитву, наверное, готовился выслушать предстоящую исповедь.

Илжецкий весело подмигнул мне:

— Вот вам наши соотечественники! Им даже в голову не приходит, что в Нюрнберге еще кто-то может понимать по-польски.

— Исповедальней, судя по всему, послужит накрытый стол. Интересно, постучит ли ксендз трижды в знак отпущения грехов?

— Можете не волноваться! Он ему по старой дружбе отпустит все грехи. К приятелям и одноклассникам проявляют снисхождение.

Мы направились в соседний зал, чтобы не мешать землякам, не слышать их откровений, к этому явно шло дело — они сидели наклонившись, почти касаясь друг друга головами. На фоне окна четко вырисовывались их сгорбленные спины. Широкоплечий, грузноватый ксендз сидел неподвижно, лесничий что-то рассказывал, нервно жестикулируя. Его пальцы принимали живейшее участие в беседе, он то и дело открывал и захлопывал портсигар, перекладывал с места на место спички, потом рассыпал их, снова собирал.

Я огляделась. Меня смущало, что я стала невольной свидетельницей встречи этих двух людей.

Обшитые деревом стены казались холодными, неуютными. Тусклый свет, приглушенные разговоры немногочисленных посетителей. Официант вежливым жестом проводит нас к столику в глубине зала.

— По крайней мере никто не будет торчать за спиной,— говорит вполголоса Илжецкий.

— Зато те двое видны отсюда, как на ладони.

Какое-то время мы молча изучаем меню, потом начинаем подыскивать тему для разговора, не связанную с этими двумя посторонними людьми. Я разглаживаю ладонью

льняную скатерть и ловлю себя на странном ощущении: мне кажется, будто я в знакомой деревне сижу за празднично накрытым столом, на который вот-вот положат краюху хлеба, поставят соты с теплым медом, только что вынутым из нагретого солнцем улья.

— До чего красивая! Это ведь ручная работа? Просто удивительно, откуда у немцев такие способности к ткачеству, ведь этим испокон века занимались голландцы, норвежцы, поляки.

Илжецкий барабанит пальцами по столу, отбивая ритм какой-то мелодии. Я не уверена, слышит ли он мои слова.

Перебирая руками бахрому, я спрашиваю:

— В старых романах часто встречаются фразы вроде: опасность миновала. Это могло означать, что кончилась буря, вернулось ощущение покоя, исчезло напряжение. Скажите, у вас было такое, не омрачаемое сомнениями ощущение, что после капитуляции Германии опасность миновала? Что кончился кошмарный сон и можно вздохнуть с облегчением?

Он помолчал, потом пухлыми пальцами взял мою руку; на лице седовласого амура показались ямочки.

— Деточка! Я и без того в Нюрнберге плохо сплю. С завтрашнего дня у вас тоже начнется бессонница. Нюрнберг не то место, где можно утвердиться в убеждении, что опасность миновала. Как раз наоборот. В Европе растет и усиливается какая-то невидимая напряженность.

Кто-то вошел, в открывшуюся дверь ветер занес немного снега. Я съежилась. Мне по-прежнему было холодно.

— Простите, сейчас я объясню вам, почему мне хочется вернуться к этой теме.

Он снова забарабанил пальцами, словно это он должен был отпускать грехи лесничему, а я продолжала:

— Сегодня после концерта я случайно присутствовала при одном разговоре.

Теперь он слушал меня с интересом.

— Да-да? А что играли? Жаль, мне надо было пойти с вами. В этих музыкальных вечерах есть своя прелесть. Какая была программа?

— Просто замечательная. Моцарт, Григ. Вторая рапсодия си минор Листа. Несколько вещей Шопена, которые я очень люблю.

Он вздохнул.

— Жаль, что я не пошел. Но мне хотелось выспаться. В итоге я и не поспал, и удовольствия лишился. Ко мне

заходил Буковяк: он ни о чем, кроме ваших показаний, думать не может. Чудо-человек. У Трибунала готовый план работы на понедельник, и никто не станет ни с того ни с сего его менять только потому, что из Польши приехало несколько свидетелей. К тому же вы опоздали на целую неделю, а здесь главное — пунктуальность.

Я некоторое время молчала, потом, чтобы переменить тему, рассказала ему о рядовом Нерыхло.

Илжецкий задал мне несколько вопросов. Он слушал, кивая головой, потом обратился к Грабовецкому.

— Безумцы! — Это прозвучало неожиданно громко.— Безумцы! Если у вас есть возможность, постарайтесь их остановить. Тут много наших земляков уже угодило за решетку. А кто их оттуда вытащит?! У польской делегации есть другие заботы. Верно я говорю, пан Михал?

На нас оглядывались. Молодой мужчина, который только что вошел и еще не сел, повернулся к возбужденному Илжецкому.

— Обязательно предупредите их, они пропадут ни за что. Увязнут со своей глупой самодеятельностью. Видали мы таких молодцов. Они устраивают самосуд, потом попадают в тюрьму, а их дела рассматривают американцы. Случается даже, что к их делам привлекаются и немецкие юристы.

Вошедший человек, поглядывая на нас, неуверенно шел к свободному столику. Я прикрыла глаза, и в памяти возник давний облик этого человека.

— Орех? — спросила я совсем тихо. И тут же исправилась:— Пан Ореляк?

Илжецкий исподволь наблюдал за нами. Молодой человек улыбнулся, левая щека его нервно дернулась. С минуту он смотрел на нашу троицу.

— Вот не думал, что кто-нибудь на этом свете помнит подпольную кличку моего брата,— сказал он, здороваясь с нами.— Мы были очень похожи с Орехом. Он до конца пытался нам доказать, какой он твердый орешек... И погиб во время восстания.

Илжецкий с детской непосредственностью протянул к нему обе руки и предложил присесть к нам.

— А у вас какая кличка?

— Керат. Ореляк — это моя фамилия.

— Присаживайтесь к нам, дружище. Попробуем вместе убедить нашу даму остановить безумцев. Они хотят к многочисленным печальным инцидентам на немецкой земле прибавить еще и собственную трагедию. Хватит горя!

Олухи! Если их ие удержать, пропадут ии за что.

Керат сиова улыбнулся, ио в его страииой гримасе ие видно было радости: при движении губ иачинала дергаться щека, мие показалось, что иа него накатывает приступ ярости.

— Наши соотечествеиники,— заговорил ои, положив иа стол сжатые кулаки,— народ легкомыслениый, чтобы ие сказать больше. Да и трудно осуждать их за это. Неужели, паи прокурор, вы верите, что существует такой трибунал, который зафиксирует, ие делая выводов, только зафиксирует все преступления гитлеризма? Чушь! Немцы действовали, прикрываясь лозунгом "Nacht und Nebel"[1]. Ночь и тумаи миогое тогда заслоняли, а теперь поляки, горячие головы, хотят сами вершить правосудие.

Илжецкий кивал головой, лицо его покрылось иездоровым румяицем.

— Но ведь это безумие! Оии сами лезут в иемецкие тюрьмы, а мы ие сможем им помочь. Здесь чужая территория.

Керат, задумавшись, стучал пальцем по краешку стола. Я постепеиио вспомииала его.

— Существует миожество вопросов,— сказал ои иакоиец, не отрывая взгляда от своей руки,— множество сложиых вопросов, которые уже никогда ие удастся пересмотреть. Только молииеиосиым действием порой можно чего-то достичь. Я тут кручусь как белка в колесе, делаю дурацкую работу, а время уходит. И шаисов все меньше.

Он поглядел иа нас и умолк, а мы ждали, заинтриговаииые его словами. Ои ссутулился, потянулся за зубочисткой, повертел и сломал ее.

— Я с самого иачала, собираясь в Германию для розыска польских детей, знал, черт побери, что если мы не иайдем их сразу же, не установим имеиа и фамилии, то оии, возможио, всю оставшуюся жизиь будут искать дом, родииу, свою мать. Или, никем ие узиаиные, не опозиаиные, остаиутся тут иавсегда, чужие среди чужих.

Он постарел за последиие военные годы. Не было раиьше этих морщии иа лбу, глубоких темиых борозд, идущих от губ к подбородку, ие было седииы в волосах и этой печали, звучащей в его словах.

— А тут, в Гермаиии, оказалось, что наша задача намного сложнее, чем я мог предположить. Времеиами

[1] Ночь и туман *(нем.)*.

мне кажется, что у меня никогда теперь не будет покоя на сердце, всегда буду жить с сознанием, что входил в состав комиссии, которая не сделала ничего, ровным счетом ничего: вывоз польских детей был организован очень хитро. Продуманно. Детишек отбирали у матерей и увозили. Übermensch'ам чистой расы требовалась все же наша кровь. Скажите мне, как узнать младенца, где искать его родителей? Никаких документов нет. Нет ничего.

Я молчала. Значит, вот какие «ничейные» дети должны были теперь отправиться в персиковые сады? «Дети войны», украденные у родителей и спрятанные в каких-то специальных лагерях для германизации. Их в Калифорнию? Значит, об этом мечтал Себастьян Вежбица?

К нам подошел вежливый, предупредительный официант. Он почти с материнской заботой склонялся над нами, чтобы как следует расслышать каждое слово иностранных гостей, и краешком глаза непрерывно следил, насколько нравится нам то, что он предлагает. Выражая внимание всем своим сморщенным, старым лицом, он интересовался, очень ли мы голодны, если бы мы согласились подождать всего лишь двадцать минут, он бы имел честь предложить нам изысканное блюдо — гренки, переложенные ломтиками нежнейшей куропатки, шампиньонами и спаржей, впрочем, это могут быть и ломтики чирка, кряквы, дикого гуся или если мы пожелаем, то и серны.

— А может быть, вы, чтобы скоротать время, осмотрите здание, где сейчас пресс-центр, познакомитесь со здешней коллекцией? — Он тогда немедленно пригласит экскурсовода, опытного гида, который знает тут каждую мелочь.

— А ведь это неплохая идея.— Илжецкий развел руками, обращаясь к Керату.— Вы хорошо знаете резиденцию Фабера? Дворец известного карандашного фабриканта Фабера?

— Да, более-менее. Я бы с удовольствием осмотрел парк. О нем рассказывают чудеса. Но перед этим хотелось бы что-нибудь перекусить. Я со времен войны не могу побороть в себе чувство голода, во мне живет вечный страх остаться голодным.

На детском лице прокурора отразилось беспокойство.

— Да-да, и дама наша замерзла.

Официант услужливо ждал ответа.

— Я уже согрелась, но предпочла бы прогуляться после ужина,— поторопилась я ответить.

Ореляк пробежал глазами меню и передал прокурору.

— Что касается меня,— сказал он,— то я охотно дождусь этого кулинарного чуда, особенно если нам пока подадут какую-нибудь закуску.

— Отлично! — Илжецкий повернулся к официанту.— Пока ваше замечательное блюдо будет готовиться, мы чего-нибудь перекусили бы, а в парк пойдем после десерта. Как вы относитесь к тому, что мы съедим по порции самой банальной, обычной ветчины?

— Полностью приветствую.

Официант прошептал почти с нежностью:

— Может быть, и страсбургский паштет? И к нему соус?

— Прекрасно! Сытый, согревшись рюмочкой водки, я готов отправиться осматривать сады Семирамиды, а не только парк Фабера.

Немец обслуживал нас с воодушевлением и радостной улыбкой на лице.

— Вы видите, до чего легко сейчас осчастливить немца,— заметил Илжецкий.— А во время оккупации? Они получали удовольствие совершенно от другого.

— Jawohl! Jawohl, sofort[1],— шептал сам себе старый официант, творя чудеса искривленными от артрита руками, ловко, незаметно и удивительно красиво накрывая стол. Довольный собой и аппетитом гостей, он тактично отошел и стоял невдалеке, готовый броситься к нам в любой момент.

Покончив с закуской, Ореляк вынул из кармана пачку сигарет.

— Вы позволите? — обратился он ко мне и к Илжецкому.

В тот же момент возле его локтя щелкнула зажигалка.

— О, черт побери! — Ореляк резко обернулся.— Никак не могу привыкнуть к такому беззвучному появлению сзади.

— Bitte schön[2],— в руке старого официанта, любезно ожидающего, пока клиент возьмет сигарету в рот, дрожал маленький язычок пламени, голос его был полон тепла.

Мы кончали ужинать, когда в дверях показалась Соланж. Отдохнувшая, разгоряченная, с пылающими от мороза щеками. Короткие пряди волос беспорядочно торчали из-под меховой шапки. Проходя мимо зеркал, она поправила их ладонью.

---

[1] Да, да, сейчас *(нем.)*.

[2] Пожалуйста *(нем.)*.

— Вы не пойдете с нами в парк Фабера? — спросил Илжецкий, поздоровавшись.

— Чудесная идея! Обязательно пойду! Я после обильного ужина, от которого легко растолстеть. Только прогулка может меня спасти. Представь,— обернулась она ко мне,— венское радио обратилось с совершенно диким предложением: им хочется записать сегодня вечером несколько произведений Шопена в моем исполнении.

— Сегодня? Еще сегодня? Ты же завтра утром улетаешь!

— В этом все дело. Организационный гений на этот раз подвел хозяев. Они должны были обратиться ко мне раньше, договориться о сроках. Нельзя же так работать. Я категорически отказалась. Но, вообрази, они стали объяснять, что готовят специальную программу о важнейших событиях в Нюрнберге, куда включат отчет о показаниях свидетелей. Короче, было как-то неловко послать их ко всем чертям, и я, сама не знаю почему, согласилась. Поедем на студию вместе. Ты будешь для меня идеальным слушателем.

Илжецкий поправил салфетку под подбородком.

— Давайте закончим ужин. Позвольте мне выпить вина и набраться сил. Потом я готов на все: парк, прогулка, что вам будет угодно.

Уже возле гардероба, в вестибюле, к нам подошел, точнее сказать, подлетел, еле касаясь ногами пола, легкий, как пушинка, почти прозрачный старичок, с одухотворенным лицом и облаком белых волос над высоким и выпуклым лбом. Его мягкие пушистые волосы шевелились при каждом вздохе.

Официант объяснил нам, что это экскурсовод, профессор Этцер, прекрасный знаток Нюрнберга, который с удовольствием покажет уважаемым гостям резиденцию Фабера.

Мы вышли из теплого помещения ресторана.

Мороз немного спал, полная луна висела низко над землей, заливая серебряным светом снег на ограде, на стволах деревьев, на клумбах и замерзших стеблях.

Ореляк тихо, еле слышно насвистывал.

Экскурсовод начал свой рассказ с глубокой древности. Видно, в последнее время ему не часто выпадал случай блеснуть эрудицией перед туристами. История Германии, история Нюрнберга была в его рассказе затянутой и скучноватой. Он шел бочком, возбужденный и торжественно-патетический, с развевающимися на ветру волосами.

Он рассказывал об искусстве, литературе, музыке, уверяя, что семейство Фаберов окружало заботой миогих выдающихся художников, а тех, кто, кроме славы, имел еще и собствеииое состояние и ие нуждался в помощи, Фаберы принимали у себя во дворце. Семья приобретала произведеиия искусства, поддерживала художииков, скульпторов, даже музыкаитов.

Ои надолго замолчал, и было непонятио, то ли ои потерял нить рассказа, то ли почувствовал какую-то усталость. Понурив голову, ои вздыхал и наконец заговорил тихо-тихо, словио про себя:

— Увы, иемцы почти ие сохраиили верности своим культурным традициям, истиниому искусству. Возможно, осталась у нас еще иаша музыка... Да, иаша великая музыка, наши композиторы...— Он задумался, потом с воодушевлением добавил: — Наша изумительная немецкая музыка. Думаю, это иепреходящая ценность.

Илжецкий, точно поперхнувшись, громко закашлялся. Старый профессор с болью в голосе продолжал:

— Какая жалость, что уже вечер. Приезжайте сюда еще раз, иа более длительную прогулку... Здесь, совсем рядом, протекает речушка с прелестиыми мостиками, есть искусствениое небольшое озеро, часовня, множество романтических уголков, достойных вниманиия.

— Д-да, в другой раз вы все это нам покажете.— Илжецкий, поеживаясь, застегнул воротник пальто.

— А сегодия напоследок я покажу вам еще одио любопытное место; оио, может, и не заслуживает особого виимания, но свидетельствует о привычках и пристрастиях самого господииа Фабера. Нечто очеиь человеческое... Идущее от сердца.

Фоиарь и луиа освещают уголок сада, где рядами стоят камеиные плиты разиых форм и размеров; оии иебольшие, иа них выбиты иадписи, красиво вплетеиные в гирляиды и барельефы.

Виезапио я схватила Солаиж за руку.

— Боже мой,— я едва слышио рассмеялась,— как легко меия теперь иапугать! В первый момент мне почудилось, что это иадгробья. Детское кладбище.

Илжецкий откашлялся, потом равиодушным тоном спросил по-английски:

— А что это, собствеиио, такое? Выставка скульптуры?

Наш экскурсовод замер в театральиой позе, наклоиив седую голову, потом узкой ладоиью описал круг над освещеиными плитами.

— Перед вами, господа, кладбище собак. Вы можете прочесть имена, даты рождения и смерти. Фабер, как никто другой, умел показать свою преданность покинувшим его любимцам, он увековечил каждого в прекрасном надгробии. Человек, провожающий собаку в царство вечного покоя, ощущает себя,— простите мне эту метафору,— немного богом, наблюдающим смену поколений: срок жизни наших четвероногих друзей во много раз короче того, который природа подарила нам, людям. Вот могила его любимца, пекинеса по кличке Нулль, за ним чуть дальше похоронен белый мальтийский пудель Рольфи, возле него лежит бульдог Ово.

— Да-а-а...— задумчиво протянул идущий рядом со мной Ореляк, у которого в войну была подпольная кличка Керат.— Да-а-а... ничего не скажешь. Этот Фабер умел... как никто другой, черт побери! Умел показать собакам свою любовь. Много любви! Прямо целые килограммы!

Гид, довольный произведенным впечатлением, молча кивал головой.

— Разрешите спросить вас,— Керат заговорил на этот раз по-немецки, на прекрасном немецком языке,— не было ли тут пса по кличке Гомо?

От неожиданности старый немец остановился и замер. Только волосы шевелились под порывами ветра. Потом энергично, словно лишившись дара речи, он замотал головой и только после этого вдохновенно заговорил:

— Нет, пса с таким именем здесь еще не было. Тут лежит Плуто. Спит вечным сном Одис. Но памятника Гомо у Фаберов пока не было. Но я верю, я не сомневаюсь: придет время, когда господин Фабер начнет вновь разводить породистых собак. Список имен возрастет. И на кладбище появятся новые надгробья. Возможно, в один прекрасный день среди них окажется Гомо.

В парке ветер, мрак и холод. Скрипит снег. От ворот в нашу сторону идут какие-то люди.

Наш гид, радуясь, что представляется случай выступить перед следующей группой туристов, метнулся к ним и начал свой рассказ. До нас доносятся отдельные слова и фразы, те же, что несколько минут назад он говорил нам, те же самые, словно записанные на пластинку. Самого гида в темноте плохо видно, лишь на мгновение, светясь серебром, мелькает его шевелюра. Даже интонация его голоса та же самая, с тщательно отмеренными дозами пафоса и волнения.

Я сжимаю пальцами лоб. Это, наверное, сон. Мне кажется, что я давно уже не существую.

Воодушевленный профессор шествует впереди своих слушателей, но, когда он прекращает воспевать собачье кладбище, я слышу сдавленное покашливание — так всегда курит трубку аккредитованный при Трибунале наш редактор Кароль Малцужиньский: попыхивая и покашливая одновременно.

Некоторое время никаких других звуков не слышно. Потом до меня доносится печальный и скорбный голос Грабовецкого:

— Ну, что скажете по поводу этого Фабера! Хоронил собачек. И у него не было никаких проблем. Собачье кладбище. А между тем половина Европы столкнулась после войны с нешуточной проблемой, как захоронить всех мертвецов! Это вам не собачье кладбище!

Соланж позвала меня. Мы уже собрались уходить, но тут, освещенное ярким светом фонаря, передо мной возникло лицо бывшего узника Треблинки. Он явно хотел что-то сказать, но не мог — таращил глаза и шевелил губами, точно выброшенная на берег рыба.

— Туда, в Треблинку,— он показывал пальцами назад, словно Треблинка была рядом в нескольких шагах,— они свозили туда могильные плиты с разоренных еврейских кладбищ, разбивали их и мостили дороги.

Мне хотелось что-то сказать ему, но вместо собственного голоса я услышала лишь вздох, похожий на стон.

— Когда мы потом ходили по этой дороге,— продолжал мужчина,— на камнях под ногами можно было прочесть обрывки слов, имен, фамилий... слова скорби и боли...

Наступило долгое неловкое молчание.

— Пойдем,— предложила Соланж.— Нас ждут на радио.

Она побежала по тропинке к дворцу и остановилась в тени деревьев, поджидая меня. За нами шли остальные. Я услышала, как Кароль Малцужиньский, то и дело попыхивая трубкой, сказал:

— Что правда, то правда — действительно культурный человек этот Фабер. Не чета гитлеровцам. А в далеких лагерях тысячи и тысячи людей душили циклоном, сжигали в крематориях, развеивая их прах по полям или сбрасывая в реки. А Фабер не такой! Он ставил надгробия, чтобы каждый мог прочитать, сколько прожила собака, как ее звали при жизни, чтобы со-

бачьи души могли явиться на Страшный суд и выть вместе с освенцимскими овчарками, во славу добрых и культурных немцев.

— Мадам Соланж Прэ просят к телефону,— сообщил портье.— Мне не хотелось мешать вашей прогулке, но этот тип рявкнул: "Bist du verrückt geworden?!"[1]

Профессор-гид качнул головой, светящейся в темноте, точно белая хризантема.

— Мадам,— шепнул он с подобострастием,— звонит какое-то важное лицо.

Соланж взяла меня за руку.

— Только вместе. Иначе я не смогу играть, я хочу быть с тобой, особенно после этой бодрящей прогулки.

Трубка лежит возле зеркала в вестибюле. Соланж с кем-то разговаривает, одновременно поправляя волосы.

Потом обращается ко мне:

— Ты очень устала? Какой-то репортер с радио приедет за нами. У нас всего десять минут. Он вроде бы хочет задать мне какой-то важный вопрос. Он сразу после концерта намекал на это, и теперь снова...

Мы стояли у подъезда. Далеко позади в сиянии лунного света, укутанные серебряным инеем, остались парк и собачье кладбище.

В морозном воздухе громко скрипел снег под ногами возвращающихся людей. Возглавлял это шествие экскурсовод, опустив голову и глядя себе под ноги, точно он искал на дорожке парка обломки камней и надписи из Треблинки.

Кароль Малцужиньский все так же попыхивал трубкой.

— Ну до чего же человечный этот Фабер, не правда ли? — шепнул он с иронией.

Ему ответил Керат:

— А мне довелось дожить до исторического момента: гуляю себе время от времени по резиденции Фабера... и внукам расскажу... о памятниках старого Нюрнберга... об уютном тихом кладбище собак... О, du blöder Hund[2], но какого класса был человек!

До чего обидно. Я всегда радовалась, что не живу в эпоху Столетней или Тридцатилетней войны, но как назвать время, в которое мне выпало жить? Это не годы

---

[1] Ты что, с ума сошел?! *(нем.)*

[2] О ты, слабоумный пес *(нем.)*.

правления Тиберия, не эпоха Священной инквизиции, судов, Гойи, которого по ночам вызывали на допросы.

Это годы, когда я живу, единственный отрезок моего путешествия по этой земле, неповторимые годы, и я должна их прожить по законам и беззакониям времени. И, судя по всему, как и люди давних веков, иных спиралей существования, иных комет, окружающих земной шар, я проживу их без участия свободной воли, без выбора. Все насильно навязано нам, целым народам, и недостает сил бороться с бессмысленностью бытия.

Это пытаются делать разве только самоубийцы, но их поступки свидетельствуют скорей о слабости, чем о силе.

Мое лицо овевают струи кислорода, водорода, других газов и огня, ведь все это может постепенно превратить в тлеющую головешку любого такого же сильного, могучего, закаленного, как Геракл, проложит глубокие борозды на его лице, иссушит губы и щеки, обесцветит волосы, погасит блеск самых ярких глаз, под которыми появятся мешки и густая сетка морщин.

Получилось, что группка дегенератов провозгласила лозунги, прикрылась ими и беспрепятственно пустила в ход свой инстинкт убивать и еще раз убивать, послала на смерть миллионы молодых людей. И на свежих могилах новые вожди начинают ставить под ружье следующие поколения.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

— Садись поудобней и слушай, я сыграю для тебя,— говорит Соланж.— Теперь я могу играть до утра.

Наблюдавшему через окно режиссеру она дала знак, что готова. Крышка рояля, переставленного по ее желанию, загораживает Соланж от взоров тех, кто готовит радиопередачу. Мне понятно ее желание быть невидимой. Погас зеленый сигнал, и на его месте тут же вспыхнул красный. Соланж взяла первый аккорд. Пальцы свободно скользят по клавишам, и я уже знаю, что Соланж в приливе вдохновения будет играть так, словно находится в полном одиночестве.

В студии прекрасная акустика, у рояля чудесный, глубокий звук. Мужчины ушли в кабину записи.

Значит, можно думать о своем, можно даже помечтать. Странно, что журналисты с таким упорством возвращаются к той теме... Им хотелось бы узнать обстоятельства незабываемого концерта... Видно, Соланж как-то обмол-

вилась о нем. Тех нескольких слов, что сказала я, недостаточно. Их интересует гонорар, сколько ей заплатили. Какая святая наивность! Представляю, как вытянулись бы их физиономии, расскажи им Соланж правду. Как-то в воскресенье у нас там организовали выступление оркестра с участием выдающихся европейских солистов. Стулья и пюпитры расставили на посыпанной гравием земле, между двумя рядами колючей проволоки под током. Во время подготовки узникам казалось, будто грядет нечто светлое, способное утешить, унять боль. Кто мог, тянулись к этому месту послушать музыку. Все равно какую. Дело было не в том, что сыграет бельгийка Соланж Прэ, одна из самых способных учениц профессора Джевецкого, а в самом невероятном, небывалом факте концерта в лагере. Повеяло весной. Откуда-то донесся запах леса и луга, земли, орошенной дождем. В этот воскресный день долетел до нас аромат испеченного домашнего хлеба, овеяв до боли пронзительной иллюзией свободы.

Наш оркестр пополнили большой группой привезенных из Освенцима мужчин, их выбирали так же, как чуть раньше нас в Биркенау. Играющие счастливчики, которым кое-как удалось подстроиться к мировым знаменитостям из Вены, Будапешта, Парижа, Варшавы, изо всех сил трясли аккордеонами, били в тарелки, дудели во флейты, чтобы хоть таким образом оплатить право на жизнь.

Примерно в полдень узники привезли рояль и осторожно установили прямо на песке, его надо было успеть настроить перед репетицией. Долго ждали еще кого-то. Все расползлись по баракам, и рояль стоял один, салонный до абсурда, ярко-черный на фоне желтой высохшей лагерной глины. К роялю сбежались девушки, привезенные всего несколько недель назад из разных стран Европы, где немцы продолжали свою охоту на людей по принципу расовой принадлежности. Вновь прибывшие находились в состоянии непреходящего ужаса, первые дни жизни в лагере, возле стен крематория, чудовищно страшны, потом приходит отупение. Голод, нервное напряжение, бессонница лишили их энергии и силы, они быстро превратились в тени, облаченные в сине-серую полосатую арестантскую одежду, неустанно бродили они между бетонными столбами с колючей проволокой, за которой видно было то, что не могло нормальному человеку привидеться даже в самом кошмарном сне.

Заключенные из более ранних партий легко отличали новеньких. Их обритые наголо головы, фиолетовые от

холода, не были прикрыты платками — им, видно, не успели их еще выдать. Ноги, обутые в плоские гигантские деревянные башмаки, больше напоминали ходули, на которых человек хоть и двигается, но с трудом сохраняет равновесие.

Они окружили рояль, и вдруг одна из них, лет четырнадцати, такая же худая, как все, села, тревожно огляделась, закрыла глаза и заиграла «Славянские танцы» Ференца Листа. Ее худенькие смуглые руки, ее тонкие пальцы вызвали бурю звуков и ритмов. Остальные, столпившись, слушали — немые, трагические, уже обреченные на гибель. По их изможденным лицам катились слезы, а музыку сопровождала трудная и странная венгерская речь.

Когда на них, грозя палкой, налетела дежурная, они разбежались, попрятались за бараки, затаились в уборных, исчезли, как отступает перед насилием каждый человек.

По роялю застучали крупные капли дождя. Они падали на глиняную пыль лагерной земли и скользили по ней, точно темные пауки. Если испортится погода, концерт не состоится, огорчилась я.

Но концерт состоялся. Пришли узники из лагерного оркестра. Слушая в их исполнении Бетховена, я подумала, нет ли среди них мужчины, который думает и чувствует так же, как я.

А он, имени которого я даже не знала и лицо которого вряд ли смогла бы разглядеть среди других, стоял в это время в толпе обритых, одетых в полосатые робы людей по ту сторону проволоки.

Дежурные свистели, созывая на концерт.

Я помню, как меня охватила усиливающаяся по мере приближения концерта тревога. Стоящий на земле рояль звучал хорошо, но руки Соланж одеревенели, она отстучала, пробуя инструмент, какую-то мелодию, понимая, что оцепенение вызвано ее психологическим состоянием: всего вероятней, ей предстояло играть последний раз в жизни — на утренней селекции ее номер внесли в список тех, кого отправят в газовые камеры. Она знала об этом. В подобной ситуации многие проблемы отпадают сами собой, исчезают. Человек созревает.

В тот день созрела и я. Созрела навсегда — и по сию пору моя собственная зрелость обременяет меня, а окружающие воспринимают ее как некую ущербность и не задают лишних вопросов.

Помню, как Соланж села за рояль, под которым скри-

пел гравий, и ждала своего момента. Она исполняла длинное произведение, вероятно выбрав его для того, чтобы продлить, затянуть тот небывалый концерт.

Заиграл мужской оркестр. Музыка сразу сжала мне горло, сдавила. Мне казалось, что я стою на коленях на гравии и впитываю каждую каплю мелодии. Все, что говорят простые люди, пытаясь передать свое состояние от прочитанной книги или услышанной истории, когда они объясняют, как они плачут от волнения,— все это я в тот момент особенно ясно осознала. Я чувствовала, как во мне скапливаются слезы: они не стекали по лицу, они остались во мне, едва выступив на глазах. Своей очищающей силой музыка вселяла в меня надежду, наполняла силой мое изможденное голодом тело, мне хотелось жить, хотелось бежать отсюда, я забыла, где я, что меня окружает, музыка усиливала растущее напряжение.

Как они играли! Заслушавшись, я не заметила того, что произошло почти рядом. А этот трагический случай можно было предотвратить... Альма Розе, голландка, дирижировала самозабвенно, с глубокой печалью. Она уже тогда знала, что это ее последнее выступление в жизни.

Концерт был большой. Раз уж позволили его устроить, музыканты решили воспользоваться возможностью поиграть для узников, помочь им хоть немного отвлечься. Я стояла вместе со всеми, отделенная проволокой от рояля и всего оркестра. Альма Розе парила со своим оркестром, я видела издали, как тянутся к ней, откликаясь на музыку, люди. Женщины подходили все ближе, круг делался теснее. Толпа стояла возле самой проволоки, все время передвигаясь чуть-чуть вперед, чтобы лучше видеть и слышать.

Оркестр разместился между двумя рядами бетонных столбов с торчащими изоляторами. Колючая проволока всегда была под током высокого напряжения. Слушателями были женщины из лагеря А и лагеря Б, они стояли полукругом по обеим сторонам отгороженной полоски земли. Гораздо дальше, в конце дороги, у железнодорожной платформы, толпились мужчины — бесформенные тени, расчерченные синими полосами лагерной одежды.

Концерт продолжался, взлетали кверху тонкие руки Альмы Розе, и казалось, что с этого места несется к небу молитва. Никто не осознавал, какова сила воздействия музыки, пока девушка, стоявшая у самой проволоки, не протянула руки и медленно, спокойно не сжала ее паль-

цами. На глазах у всех ее тело в полосатой робе на мгновение замерло, потом его начало трясти. Эти судороги — предвестник смерти, вечно живущей в проволоке. Узникам позволили приблизиться к этой проволоке и послушать музыку. Гитлеровцы решили продемонстрировать, что в концлагерях стало лучше. Но действия их не перестали быть преступными, убийца не сменил своей души, он был просто музыкален, ему захотелось поделиться своей музыкальностью с узниками теперь, когда Гитлер проигрывал войну на всех фронтах.

Никто из лагеря А не мог приблизиться к девушке — их отделяли проволока и ров. Мужчинам с такого расстояния не было видно, что происходит. Оставался только лагерь Б, на самом краю которого дергались худые ноги девушки. Никто не бросился на помощь — женщины из лагеря Б замерли. Ток высокого напряжения давно поразил их нервы. Они не реагировали.

На проволоке, жалобно, порывисто скуля, извивалось человеческое существо, его лицо постепенно серело.

Из толпы неподвижных женщин, стоявших точно полосатые огородные пугала, я вырвалась вперед. Передо мной три пустые табуретки — кто-то уже побежал туда и что-то советовал, безрезультатно объяснял, как надо разжать пальцы. Напрасно. Бегущая, безымянная, я ли это была, ты ли, а может, чья-то мечта о смелости и быстрой реакции схватила крепко табуретку, подцепила ножками безжизненное тело и дергала изо всех сил; дерево — единственный доступный изолятор, дотронуться голой рукой до той, на проволоке, нельзя.

В такой обстановке трудно думать о сольном выступлении. Соланж подбежала к самому рву, чтобы быть как можно ближе к висевшей на проволоке девушке. А тем временем полосатая фигура, быть может я, грязная, с гримасой отчаяния на лице, решилась на поединок со смертью, глубже подсунула ножки табуретки под бесчувственное тело, рванула изо всех сил, потеряла равновесие, отлетела назад, тут же бросилась с отчаянной решимостью вперед. Еще раз дернула. Скрежет колючей проволоки, обдирающей ее ладони, был чудовищно громок, он до сих пор звучит у меня в ушах. Ее надо было отрывать, не обращая внимания на ободранные руки, теперь и другие женщины помогали мне тащить ее тело табуреткой. Когда она наконец сползла на землю, раздался вздох облегчения.

— Искусственное дыхание,— крикнул кто-то сдавленным голосом, и тут же несколько женщин опустились на

колени возле истерзанного тела.

Вдруг истерически заорал эсэсовец:

— Что это значит? Музыку! Играть! Ты так долго находишься в лагере и все так же глупа? Быстро за рояль! Ты, крематорное чучело.

Девушке было не больше пятнадцати. Она стонала.

Соланж села к роялю. Губы ее были плотно сжаты. Казалось, она сейчас ударит по клавишам кулаками, не думая о том, что станет с нею, с обгоревшей девушкой, со всем оркестром, со слушателями. Первый аккорд она взяла в тот момент, когда начали делать искусственное дыхание. Нетрудно было догадаться, что происходило с ней, она изо всех сил стиснула зубы, иначе не смогла бы играть. Может быть, в эту минуту она ненавидела себя за то, что умеет играть и что это дает ей привилегии, право носить чистую робу, что ее не включают в рабочие бригады, которые зимой и летом гоняют рыть канавы. Вскинув голову, она заговорила. Заговорила руками, пальцами, зазвучала прекрасная мелодия, моментами поднимающаяся до оглушительного крика. Это была единственная доступная ей в ту минуту речь, и она ею говорила. Она играла Шопена, запрещенного в Польше. Его «Революционный этюд» волнами катился над лагерем.

Женщины сгибали и разгибали руки пострадавшей, борясь за первый глубокий вдох, первое слабое дыхание. А Соланж взывала к ее сознанию, к энергии, к уходящей за грань небытия душе. Она, конечно же, понимала всю бессмысленность своих усилий. Да и искусственное дыхание тоже уже не могло помочь. Здесь, где смерть тысяч людей не имела никакого значения, борьба за спасение одного пораженного током существа казалась бессмысленной, как старания ребенка выловить из воды муравья.

Рояль стоял боком к проволоке. Соланж то и дело оборачивалась, следя за руками женщин. И почувствовала, что у них появилась надежда. Ее пальцы быстрее забегали по клавишам, ритм аккордов подгонял работу сердца. И вот победа: несчастная застонала.

В это воскресенье только под вечер после концерта нам удалось пробраться в тот блок, узнать, как чувствует себя Марыся Мигдал.

— Очень болят ладони, только ладони,— утешала нас бедняжка, радуясь своему спасению, и благодарила Соланж.— Вы так чудесно играли. Я теряла сознание, а му-

зыка звала меня вернуться к жизни.

— Как ты попала в лагерь? Ты же совсем ребенок!

— Мы с мамой собирали сено недалеко отсюда, на берегу Солы. Мама всегда брала с собой из дома немного картошки, хлеба и оставляла для заключенных. Эсэсовцы заметили. И нас забрали. Маму и меня. Маму уже отправили куда-то.

В эту ночь Альма Розе приняла свое решение: утром ее нашли мертвой, она не хотела больше дирижировать оркестром узниц Освенцима. Возможно, она, как и Соланж, узнала от верных людей из Schreibstube[1], что и ее фамилия, несмотря ни на что, после месяцев надежды — в списке назначенных к отправке в крематорий. А для Соланж воскресный концерт обернулся удачей: ей позволили жить. Какой-то унтершарфюрер обожал Шопена и велел Соланж играть чаще. Как можно чаще. И она играла. Эсэсовец-меломан вызывал ее и днем, и ночью, после отправки огромных партий узников на смерть, когда, казалось, даже стены крематория раскалялись и набухали. Она садилась к роялю и играла порой до самого утра. Она возненавидела музыку. Тогда ей казалось, что навсегда.

На следующий день маленькая девочка вызвала меня из барака. У дороги между ближайшим крематорием и оградой из колючей проволоки группа узников толкала груженную песком платформу.

— Он просил позвать кого-нибудь из оркестра, все равно кого,— объяснила девочка.— Вон тот, что бежит сейчас к самому рву.

На сторожевой вышке не видно было эсэсовцев — у них как раз начался обеденный перерыв. Серо-синий полосатый человек нагнулся, потом резко взмахнул рукой и что-то швырнул, девочка бросилась вперед, пытаясь поймать.

— Стой,— остановила я ее криком.— Тебя могут застрелить.

И вдруг в голову пришла простая мысль: разговаривать с мужчинами запретили нам оккупанты. Но почему я обязана соблюдать их запреты?

Что-то упало в траву. Я подняла прикрученную проволокой к камню записку. Спрятавшись в уборной, я развернула бумажку. Сердце выскакивало из груди, когда

[1] Канцелярии *(нем.)*.

я читала: «Благодарим за концерт, особенно за Шопена. Браво, подруга! Томаш и группа товарищей».

Я быстро спрятала записку в башмак и вернулась в барак, где репетировал оркестр. Поглощенная мыслью о происшедшем, я играла невнимательно. Простой, аккуратный почерк — что можно знать о постороннем человеке, если даже самых близких никогда не знаешь до конца? У Святовида — мифического славянского бога войны — четыре одинаковых лица, но стоит обойти его кругом, как убеждаешься, что все они разные. Человек всегда старается показать себя с лучшей стороны, подчеркивает свои достоинства, сознательно скрывает изъяны. Что можно знать о мужчине в серо-синюю полоску, который подошел к проволоке и перекинул камень с запиской?

На наших пюпитрах появилось новое произведение, неумелый дирижер, назначенная сегодня вместо Альмы Розе, готовит оркестр к первому исполнению. И вдруг у входа в барак раздается громкий топот — это бежит к нам, стуча деревянными башмаками, давешняя девочка. Дежурная бросается ей наперерез, прыгает между кроватей, пытаясь перехватить ее.

— Здесь оркестр! Марш отсюда! Убирайся сейчас же!

Девочка вскинула руки. Делает какие-то знаки. В ее глазах суровая обреченность человека, ждущего исполнения приговора.

— Его схватил эсэсовец. Он бьет его лопатой. Пойди посмотри, как он его лупит. Вобьет в землю за эту записку.

Я зажала рот рукой и не слышала, что еще говорила эта отважная малышка.

Нужно уничтожить эту бумагу. Вдруг он проговорится? Что будет со мной?! Разорви! Разорви записку!

Здоровый эсэсовец за проволокой равномерно наклонялся и выпрямлялся, будто рубил дрова. Того, кого он бил, я не видела. Он лежал, распластанный на земле возле платформы, полной каких-то железяк. Палка в руках эсэсовца ритмично поднималась и опускалась.

Я заслонила лицо, закрыла глаза руками, но все равно видела, чувствовала каждый удар. Потом я зажала себе рот, чтобы сдержать рвавшийся крик, и увидела, как палач, сняв фуражку, вытирал платком взмокшее лицо. Было жарко, неимоверно палило солнце в лазурном небе, негодяй устал. Надев фуражку и поправив пояс, он отошел от своей жертвы, широко шагая по песку. Сломанный черенок лопаты зло швырнул в сторону.

Вокруг было пусто. Колючая проволока была почти невидима в лучах солнца, и только ряды столбов с белыми фарфоровыми изоляторами предупреждали о границе жизни. "Achtung! Lebensgefahr!" — предостерегали пестревшие на каждом шагу надписи. "Achtung! Lebensgefahr! Achtung! Lebensgefahr!" — Внимание! Опасно для жизни! — "Achtung! Lebensgefahr! Achtung! Lebensgefahr!"

Узник, который так метко бросил в мою сторону камень с запиской, а теперь лежал на желтом песке у проволоки возле самосвалов, прозванных в лагере платформами, наверное, не помнил о предупредительных надписях. Томаш. Может быть, именно он написал записку. И я не знаю, убил его этот гитлеровец или нет. Может, все-таки нет? Но тогда бы он его пристрелил, раздался бы выстрел, без этого тут не обходится... Значит, еще есть надежда? Узник с трудом отказывается от надежды, он с ней не расстается, пока ее не отнимут.

Мужчина пошевельнулся, пытаясь встать. Сначала я увидела сгорбленную спину. Он постоял, опустив голову, сцепив сзади руки, и, пошатываясь на широко расставленных ногах, двинулся вперед. Неуверенно шагая, он удалялся по той самой дороге, что и эсэсовец,— в направлении мужского лагеря и крематориев.

Меня пронзила боль. Я смотрела вслед человеку, шедшему с опущенной головой, с руками, будто связанными за спиной, и не могла двинуться с места, хотя он давно уже исчез из виду.

— Я спрятала твою порцию похлебки,— сказала Соланж.— Она уже остыла. Возьми вон там в углу под нарами. Знаешь, тебе досталось целых четыре картофелины.

Томаш появился два месяца спустя. Он стоял возле нашего барака и что-то чинил, поджидая меня. И тут я вспомнила, что знала его в Варшаве.

— Составляют списки на отправку... Меня тоже не сегодня завтра вывезут...

Мне стало ясно, что это конец нашей безумно короткой лагерной дружбы, нас связывала одна только записка, за которую он поплатился чудовищными побоями. Мы стояли в грязи, разделенные дорогой, и в случае опасности должны были сразу разойтись. Он держал руки сзади и вдруг опустил их. Потом вытащил из-под куртки записку размером с сигарету.

— Теперь я написал куда больше. Если придется расплачиваться, как в тот раз, так хоть будет за что. Если

я уеду... Знаешь, мне бы хотелось, чтобы ты думала обо мне. Не забывай.

Он исчез.

Поздним вечером, притаившись на верхних нарах, я читала и перечитывала написанное на нескольких страницах письмо, пока не погасили свет. А потом лежала, уставившись в потолок, и не могла уснуть, думала о нем и мысленно сочиняла ответ. А наутро молоденький паренек, голландец, я столкнулась с ним возле барака, сказал, что ночью Томаша отправили. Это был конец.

И вот несколько дней назад я узнала, что можно попробовать отыскать кого-то, кто был лишь сном. Того мужчины нет. Он жил в той замкнутой жестокой действительности, его изможденное лицо растаяло в тумане, и глупо ждать, что когда-нибудь я встречу его на улице среди прохожих. Безумие требовать этого от жизни.

В черном крыле рояля отражаются клавиши и головокружительный танец рук. Соланж играет, упиваясь свободой, возможностью играть или прервать игру в любой момент. В комнате уютно. За окном выросли сугробы, в лунном свете четко видны их контуры, и кажется, что даже акустика стала лучше,— снежный мир похож на огромную концертную рампу. Мелодия летит легко и изящно и затихает в еле слышных аккордах, как паренье снежинок.

Еще с минуту я смотрю на черную блестящую крышку рояля, вспоминая набережную Костюшко под проливным дождем — размазанные пятна фонарей, танец теней и света, пение гуляющей молодежи.

— Я сыграла большущий фрагмент,— говорит Соланж вошедшему репортеру.

Тот радостно улыбается и показывает на кабину — там, склонившись над аппаратурой, сидит звукооператор, все еще во власти музыки. Бесшумно пройдя по толстому ковру, он садится возле Соланж, после нескольких дежурных вопросов просит рассказать о «незабываемом концерте»...

— Вы сами упомянули о нем, и наши радиослушатели в Австрии будут счастливы... Ваш доверительный рассказ придаст программе особую, непередаваемую окраску.

Соланж кривит губы, качает головой, потом показывает на большие настенные часы: поздно. На сегодня все.

Но репортер жестами умоляет ее; вытащив из кармана листки, показывает заголовок: «Польский день в Нюрнберге».

Соланж, взяв себя в руки, говорит просто и свободно:

— Мой незабываемый концерт? Во время войны... Не у всех была возможность выступать в таких условиях, как здесь. Я, например, в сорок четвертом была узницей Освенцима. Тогда рояль, на котором я должна была играть, поставили между бараками... Так вот, знаете... кругом была грязь... Мне бы не хотелось говорить больше на эту тему... Но показания польских свидетелей, приехавших на Нюрнбергский процесс, помогут вам представить и понять, почему тот концерт для меня незабываем.

Она дала знак рукой смотрящему в окно оператору, что больше говорить не будет.

Оператор кивнул, красный огонек погас.

Репортер резко потянулся к Соланж, схватил ее за руки, видимо таким образом выражая свой восторг.

— Концерт в Аушвице? Mein Gott![1] — воскликнул он сдавленным голосом.— Это фантастически подходит к моей передаче. Польский день в Нюрнберге! Mein Gott! Вот это сенсация! Я немедленно сообщу в Вену, что приготовил для них сюрприз... Шеф будет в восторге. Если он мне не заплатит тройной гонорар, я передам материал конкурирующей фирме!

Он потер руки и громко рассмеялся:

— Это же чудо! Польский день в Нюрнберге! Сейчас я отвезу вас в «Гранд-отель», а потом помчусь на переговорный пункт, ошарашу шефа. А, придется ждать, пока соединят с Веной, но это чепуха. Такая тема! Американские журналисты умудряются тут сколачивать состояние за один день. Вот у кого надо поучиться. Мне нравится их оперативность.

От возбуждения он разболтался, не обращая внимания на то, как устала Соланж, как безучастно кивает головой, сдерживая зевоту. Он говорил без умолку, шел, спотыкался, путая коридоры, и нам приходилось возвращаться. Наконец мы в автомобиле, к счастью, в нем темно. Соланж, подняв воротник, полностью отключилась.

— Куда? — спросил шофер по-немецки.

— В «Гранд-отель»,— распорядилась я кратко.

И не сразу поняла, что наш собеседник сменил тему. В этот момент он, обращаясь ко «всем» — неизвестно, кого он конкретно имел в виду,— призывал «всех» расстаться с проблемами нацизма, открыть новый счет.

Я сосредоточилась.

---

[1] Боже мой! *(нем.)*

— Берусь доказать, что трагедия второй мировой войны была трагедией также и для многих немцев.

Мы молчали. Трагедия молодчиков, служивших в карательных батальонах... Я слышала, что в вермахте бывали случаи самоубийства — наша подпольная служба информации старалась сообщать о каждом таком происшествии. Но я ничего не сказала, и Ганс Липман продолжал воодушевленно рассуждать вслух.

В ярко освещенном холле я попрощалась с репортером, оборвав его на полуслове. Вместе с молчавшей Соланж мы шли к лестнице, а сзади все еще слышался возбужденный голос.

— О, тут, как прежде, комфортабельно. Столько света, столько народа. Не правда ли? — Он никак не мог остановиться.

— Jawohl! — сразу откликнулся обрадованный портье.— У нас новые люстры, новые дорожки, новые гости со всего света. Мы быстро приходим в норму. Все сверкает. Многолюдно. Каждый день новый оркестр. Как в старые добрые времена.

Мне показалось, что кто-то глухо вздохнул; может, это только доска застонала под ногой — в этом месте кончилась красная дорожка, и мы шли через разбомбленное крыло гостиницы, полное камней, кирпичей, цемента.

Я еще раз оглянулась на ярко освещенный холл: портье и его собеседник мирно беседовали, оживленно жестикулируя. Вся гостиница была погружена в ночную тишину, громкие голоса мужчин, усиливаемые резонансом, гудели по лестницам и коридорам.

— А Герман Геринг во время торжественных партийных съездов всегда останавливался в «Гранд-отеле». И всегда в одних и тех же его любимых апартаментах. Номер двадцать три.

— Двадцать три! — задыхался от восторга репортер, вытаскивая блокнот.

— Какие времена были! — вздыхал, качая головой, портье.— А сейчас в этом номере Роберт Кемпнер, свежеиспеченный американец. Он эмигрировал из Германии во время войны, боясь попасть в гетто и газовую камеру. А теперь? Один из обвинителей на процессе! Член американской делегации. Да...

— Да...

Глухо постанывали доски, свистел ветер в строительных лесах.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Соланж прислонилась к стене, прикрыв глаза. Она нажала кнопку и вслушивалась в нарастающий шум лифта.

— До чего же я устала. В ванну — и спать. Хочется прямо не раздеваясь броситься в постель. Я просто умираю от жажды.

— Давай закажем в номер ананасовый сок,— предлагаю я.

В это же мгновение за моими плечами раздается смех. Знакомый голос и уже знакомая мне манера неожиданно оказываться рядом.

— Добрый вечер! Кого я вижу?! Я сочту за честь угостить вас самым восхитительным напитком. И кроме того,— тут он обратился непосредственно ко мне,— у меня есть новости. Представьте себе, у немца, которого рядовой Нерыхло встретил на вокзале, действительно что-то не в порядке с пальцами.

Соланж протянула руку к кнопке, хотя дверцы лифта еще были открыты. Себастьян подкрутил усы, точно солист из оперы Монюшко «Слово чести», где актеры на протяжении всего представления только этим и занимаются, и прошептал:

— Прошу вас. Задержитесь на пять минут. Время совсем детское. Стоило пережить эту войну, чтобы собственными глазами полюбоваться на веселящийся Нюрнберг.

— О чем вы? — слегка улыбнувшись, спрашивает заинтригованная Соланж.

Я вижу, что галантные манеры Себастьяна забавляют ее и, может быть, даже доставляют ей удовольствие. Она ждала его объяснений.

— Мадам! Я восхищен вашей игрой. Мои ладони распухли от аплодисментов. Идемте. Вы не пожалеете. Уверяю вас — стоит посмотреть. Убежден, что вы не пожалеете.

В дверях кафе он снова галантно согнулся, пропустил нас вперед и последовал за нами.

— Ну вот! Теперь мы сможем понаблюдать, как просыпается «Гранд-отель», отдохнувший после ночного бала. Время действительно еще совсем детское. Расположимся поудобней и посмотрим.

Народу было немного. Десятка полтора возбужденных пар сидели за столиками возле освещенного круга на паркете. Бледноликий молодой человек позевывал за роя-

лем. Он медленно расправил плечи, поднял голову, тщательно вытер пальцы мятым платком. Обнявшиеся пары вышли на середину круга в ожидании первых аккордов.

Пианист вскинул руки, вдохновенно замер, наконец ударил по клавишам. Он играл прелюдию Шопена. Танцоры мечтательно-сонно задвигались в такт музыке, а может, вовсе не слушая ее. Себастьян с презрением смотрел на это. Мне казалось, что он вот-вот зарычит, оскалив в злой усмешке сверкающие зубы.

— Вот вам! Я же говорил, что сюда стоит заглянуть.

Соланж сжала виски руками.

— Это не сон? Я, наверное, выпила лишнего после концерта?

Себастьян наклонился к ней, ласково прикоснулся к руке.

— Нам всем снится сон. Мы надеялись, что после войны начнется жизнь, а вместо этого начался странный сон. Эти призраки на паркете понятия не имеют, что такое Шопен, что такое война. Они бы танцевали и под «Реквием» Моцарта. Уверяю вас!

Передо мной, возникая из тени, выплывая из другого зала, ритмично покачиваясь, проплывали убаюканные музыкой пары.

— Они танцуют под музыку Шопена? — с недоверием переспрашивала Соланж, вслушиваясь в шум скользящих ног, заглушающих мелодию.

— Эту прелюдию играют на похоронах,— сказала я.

На освещенное место выскочил вдруг парень в американской военной форме. Длинный, худой, с непомерно тяжелой челюстью, чем-то похожий на рогатого тура, которого на рождество ряженые носят на палке, подняв высоко над головой. Хлопнув дважды в ладони, он заскользил в угол зала, где за столиком сидели три не занятых в танце девушки. И, не доходя до них, сунув палец в рот, пронзительно свистнул. Девицы, не скрывая своего восхищения, вопросительно смотрели на него. Парень ткнул пальцем в свою избранницу и жестом показал: пусть поторопится, если хочет с ним потанцевать. Маленькая брюнетка радостно выпорхнула из угла и со всех ног полетела к солдату, бросилась в его объятия. Под «Траурный марш» Шопена они, покачиваясь, двигались к заколдованному освещенному пятачку, где буйствовали пляшущие пары.

— Стоило пережить войну, чтобы поглядеть на это,— повторил Себастьян.— Этот доблестный американский

вояка — поляк. Джо Войтасик.

— Американский парень на отдыхе в Европе,— сказала Соланж.— А может быть, он герой, которому мы обязаны жизнью.

— По-польски он не может правильно произнести и пяти слов. Я проверял,— добавил Себастьян.— Зато его танец — воплощение патриотизма. Смотрите, он танцует «куявяк» под полонез Шопена. А почему бы и нет? Теперь на свете все можно.

Пианист печально опустил голову, оборвав игру на половине музыкальной фразы; публика зааплодировала, раздались возгласы, кто-то свистнул. Виртуоз покорно положил руки на клавиши, и снова зазвучал, спотыкаясь, путаясь, замирая, напряженный полонез Шопена.

Посмотрев на часы, я убежденно сказала:

— «Гранд-отель» наконец оправился после вчерашнего бала. Мне говорили, что это был исключительный день, гуляли до рассвета служащие Трибунала.

Себастьян Вежбица рассмеялся, откинув голову назад. Но потом на его лице появилась саркастическая улыбка.

— Да, в этом смысле вы можете быть абсолютно спокойны, только вчера и только в порядке исключения здесь происходил этот гон и токованье. А в будни все думают лишь о сожженной Варшаве, о годах гитлеровской оккупации, о детях, погибших в газовых камерах, о преступных медицинских экспериментах, которые немецкие врачи проделывали на живых, здоровых, молодых людях. Веселятся работники Трибунала только по выходным!

Меня больно резанула горечь, звучащая в его словах. Он медленно потягивал коктейль, не переставая усмехаться, а потом, перекрывая шум, громко произнес:

— Именно так должна быть организована работа каждого трибунала, который судит военных преступников. Нюрнберг станет неподражаемым примером для будущего. Изучению документов о геноциде должен сопутствовать и дополнять его именно такой рациональный отдых.

Я снова промолчала. Соланж была напряжена, словно чего-то ждала. Себастьян отодвинулся от столика вместе со стулом, пригладил ладонью усы. На этот раз он обратился ко мне:

— Вот так! Учись, детка! А завтра встань отважно на трибуну для свидетелей и говори! Забудь о дансинге «Гранд-отеля», разбуди гаснущее внимание судей, обвинителей, защитников и подсудимых тоже! Убеди журналистов всего мира, что тут рассматриваются дела, которые

будут важны и для их внуков! Тебя позвали, чтобы ты рассказала правду, одну только правду и ничего, кроме правды; а это так просто — ты видела, так расскажи же. Расскажи так, чтобы твои слова дошли и до сонного после танцев Джо Войтасика, который с трудом понимает по-польски, и до всех остальных, здоровых и сильных, которые прожили войну далеко отсюда и теперь изумляются, не верят нам, не смогут поверить и тебе, что, впрочем, естественно, ты сама понимаешь, как трудно во все это поверить. Нормальный человек имеет полное право сомневаться в том, что так было. Схвати воздух руками, сожми ладони, скажи им, что там воздух всегда пах паленым.

Он на мгновение остановился, стукнул кулаком по столу.

— Ты должна убедить собравшихся в зале нюрнбергского суда, должна рассказать им, что твоя память зафиксировала подлинный кусок жизни, не бойся, им еще этот процесс надоел не так сильно, как можно ожидать. Учись, детка. Жизнь заслуживает того, чтобы ты смотрела на нее с интересом. Нюрнберг еще один Parteitag — партийный съезд Адольфа Гитлера. Будем надеяться, что на этот раз последний.

Говоря это, Себастьян Вежбица поднял голову и смотрел куда-то поверх меня. Кто-то подошел к нашему столику и встал за моей спиной. Соланж вздохнула:

— Боже мой! Снова? Ему для нас не жалко времени!

Едва заметно подвинувшись к Вежбице, она с улыбкой что-то зашептала ему. Капитан лукаво подмигнул. Было ясно, что такой нежной парочке не в состоянии помешать никакой репортер. Они отключились, их попросту не было.

Прямо над собой я услышала вопрос:

— Darf ich?[1]

Тут же я ощутила сильный запах лавандовой эссенции — натуральная лаванда никогда не источает такого интенсивного запаха, лиловые кустики на солнце пахнут очень нежно.

Ганс Липман ждал, а я в это время уловила еще и запах коньяка — видно, оставшись один, он основательно подкрепился в буфете.

— Darf ich? — повторил он, придвигая стул и садясь возле меня.

Вместо того чтобы удобно откинуться на спинку, он

[1] Разрешите? *(нем.)*

наклонился вперед, словно вьюнок вытянув шею в мою сторону. Выпитый коньяк определенно возбудил его, он жаждал поделиться своими мыслями. Музыка мешала — ему хотелось, чтобы я слышала каждое слово. Поэтому он говорил четко, скандируя и повторяя слова. Но музыка все заглушала, до меня доносились лишь обрывки повторяющихся как лейтмотив фраз:

— Чего, собственно, хотят эти юристы со всего мира? Международный трибунал?! Schrecklich![1] Война ведь кончилась. Немцы потерпели поражение, какого не знала история. Что конкретного можно предложить в этой ситуации? Чего, например, хотите добиться вы, поляки?

Уставившись на меня, он ждал ответа. У него были красные просвечивающие уши, ровно, как по линеечке, подстриженные бакенбарды. Ответа он ждал напрасно.

— Zum Beispiel! Zum Beispiel![2] — упрямо настаивал он.— Что бы вы, например, хотели сделать с немцами после этой войны? Вы имеете право, не спорю. Итак?

Тот же самый акцент. Та же самая назойливость. Итак?! Будешь говорить, или мы тебя заставим? От мора, глада, огня, войны, от кошмара времен оккупации упаси нас, господи. Я закрываю глаза, мне не хочется видеть этих розовых ушей, красных губ, которые так четко, с венским акцентом произносят каждое слово.

— Вы, может, хотите организовать концентрационные лагеря для всех немцев? Сколько, интересно, понадобилось бы лагерей?

Спрашивая, он вытянул вперед раскрытую ладонь, готовую ловить каждый ответ, каждый довод, но я не собираюсь отвечать, и он снова говорит сам:

— Из-за чего весь этот шум? Вы что, хотите усовершенствовать план Гитлера? Не забывайте, что der kleine Parteigenosse[3] не несет ответственности за то, что произошло. Простой честный немец понятия не имел о том, что происходило за проволокой концлагерей. Он не знал правды. Народ держали в неведении. Нельзя теперь наказывать толпу порядочных, далеких от политики людей. Тем более что война была для немцев не менее жестокой, чем для всех остальных. Сколько солдат утонуло в сорок пятом, когда они тысячами бежали по замерзшей

[1] Ужасно! *(нем.)*
[2] Например! Например! *(нем.)*
[3] Рядовой член партии *(нем.)*.

Висле от Красной Армии? Лед треснул, на дно пошли машины, люди.

Капитан Вежбица и Соланж не слушали его. Но я слушала. И задала ему всего один вопрос:

— А что, на Висле немцы участвовали в спортивном кроссе?

Не знаю, дошло ли до него. Лицо его налилось кровью, рука, лежавшая на столе, сжалась в кулак. Я не могла оторвать взгляда от этого кулака.

— Na, und![1] Как вы себе это представляете? Усовершенствовать план Гитлера? Всех немцев за проволоку? В концлагеря? Да? Да? Вот получил бы я материал для своего репортажа!

Я не желаю смотреть в эти глаза. Я избегаю его взгляда, чтобы он не смог угадать мои мысли. Зачем я приехала сюда из Варшавы? Давать свидетельские показания о действиях военных преступников? Или же на допрос в гестапо? Кто такой этот навязчивый репортер, который хочет заставить меня признаться в том, к чему никогда не стремились ни я, ни польские юристы.

Я отодвигаюсь, собираясь встать. Репортер, повысив голос, останавливает меня.

— Самое время перестать вспоминать об этом. Прошло столько месяцев. Война кончилась. Пора забыть. Все это надо выбросить из головы. Nicht wahr?[2]

Какая настойчивость в его глазах. Я не хочу, чтобы он отгадал правду, которую я скрываю. Я боюсь немецкой ночи, ведь тут везде полно развалин бывших лагерей, скелетов сторожевых вышек. Я боюсь немецких планов, планы — это всегда предначертанные пути. Прикрываю глаза и вспоминаю, как они планировали: вагоны, прямо въезжающие в огромные газовые камеры без всякой суеты и нервотрепки на перроне. Вместо перрона — нечто вроде депо или туннеля. С другой стороны туннеля только дым. И пепел.

Вы хотите, чтобы я поскорее забыла об этом, герр Липман? Война кончилась, прошло столько времени. Свидетеля, прибывшего из Польши, лучше всего сразу сбить вопросами, потребовать точных формулировок, определения вины, наказания, способов мести.

— Простите мне мою назойливость,— говорит он примирительно.— Но я многое бы отдал за то, чтобы

[1] Итак! *(нем.)*
[2] Не правда ли? *(нем.)*

узнать, как вы, именно вы, представляете себе решение немецкого вопроса. Наши читатели очень интересуются этими проблемами.

Я молчу и злюсь на Соланж и Себастьяна, которые развлекаются, рассказывая друг другу анекдоты. Им и дела нет до этого наглеца с авторучкой в верхнем кармане.

— У вас наверняка было больше возможностей, чем у меня, ознакомиться с различными вариантами преобразований в этой стране после войны.

Он опешил и заморгал.

— Почему? То есть как? Я же не австриец. Я просто представитель Венского радио. А родился в Швеции, наполовину швед, и у меня вовсе не было случая ознакомиться с планами...

Меня рассмешило его замешательство.

— Журналисты много знали. Когда, например, появился американский план преобразования Германии, подписанный Рузвельтом и Черчиллем в 1944 году, у меня не было никаких, ну абсолютно никаких шансов узнать, какие проекты, касающиеся Берлина, утвердили эти государственные деятели. Ваши шансы были, несомненно, больше моих.

Мой собеседник таращит глаза и никак не может прийти в себя.

— Почему? Что вы имеете в виду? — с глупым видом повторяет он.

— Так или иначе вы слышали о существовании нескольких вариантов демилитаризации Германии после войны, правда? И вы наверняка изучили их внимательнее и раньше меня. Вы все еще не понимаете почему? Откуда я могу знать, почему немцы запретили узникам концлагерей получать газеты, книги, информацию о столь важных решениях?

Он расслабился и громко расхохотался.

— Ach, so! Ach, so![1] Я не понял, что именно вы имеете в виду. Пресса. Радио.

— Именно это. Я рыла канавы, в то время как мир искал способы раз и навсегда обуздать безумие фюрера.

— Я думал, вы принимаете меня за немца или австрийца. Впрочем, мое шведское происхождение тоже вряд ли уполномочивает меня задавать полякам вопросы, касающиеся будущего Европы.— И он задумчиво продолжал: — Вы наверняка не забыли, что это мы, шведы, сров-

[1] Вот как! Вот как! *(нем.)*

няли когда-то с землей многие замки в вашей стране — чудеса архитектуры. Конечно, мы не были столь жестоки, как немцы. Прошли столетия. Вы знаете, что в Швеции до сих пор хранятся бесценные сокровища польской культуры? Недавно мне посчастливилось многие из них увидеть в Упсале. И, признаюсь, я подумал, может, оно и к лучшему, что мы отняли это у вас. По крайней мере все сохранилось, а в Польше могло стать добычей гитлеровцев.

— Это замечательная теория,— говорю я и вопреки собственному желанию добавляю: — Оно и впрямь к лучшему, что гитлеровцы вырывали золотые зубы доставленным в лагерь узникам прямо на перроне. А то ведь, получив от эсэсовца в морду, те могли выплюнуть выбитые золотые протезы. Какая была бы потеря для казны третьего рейха!

Ганс Липман не отреагировал на мои слова. Он продолжал развивать свою мысль.

— Правда, шведские нашествия — далекое прошлое.

— И надо сказать, вырванное с корнем. И здесь нужно ликвидировать раковую опухоль, уничтожающую народ. Мир должен помочь немцам выздороветь.

Репортер услышал меня наконец. Сжал губы. Еще больше вытянул шею. Казалось, он волнуется все сильнее.

— Поляки ведь католики, верно? Неужели вы забыли, что, согласно католической религии, самому большому грешнику, даже убийце, дано богом святое и незыблемое право? Право на покаяние, чтобы успеть очистить душу, искупить свою вину.

Губы репортера все время шевелятся, он не перестает говорить даже тогда, когда я встаю и с улыбкой спрашиваю Соланж:

— Идем?

— Я удивлена, как ты все это вынесла,— сочувственно отзывается Соланж.

Вежбица отодвинул наши стулья.

— Черт побери! — фыркнул он.— Ну и корреспондента пригласили в Нюрнберг. По сравнению с Делмером, Полевым, лордом Расселом из Ливерпуля и даже по сравнению с нашими обозревателями этот тип просто шут. А возможно, разыгрывает из себя шута.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Ключ от комнаты. Лестницы. Коридоры. Сначала идешь, мягко ступая по ковровой дорожке, потом под

ногами начинают похрустывать мелкие камушки. Они становятся все крупнее и больше, и вот уже надо идти осторожно — того и гляди, подвернешь ногу. Наконец дорожка обрывается, нет и потолка над головой, зияет черное небо — сюда упала бомба. Дальше надо пробираться по деревянным лесам, заляпанным известкой и покрытым тоненькой корочкой льда.

Значит, именно здесь просвистела авиабомба, разворотив «Гранд-отель», точно муравейник, полный спящих в уютных нишах, лабиринтах, убежищах, в комнатах, в теплых кроватях немцев.

Холодный ветер пронизывает до костей — ночи по-зимнему морозны, хотя днем уже чувствовалось дыхание весны.

Небо усеяно звездами — ночь до того прекрасна, что хочется опять спуститься вниз и идти, куда глаза глядят, ведь мир здесь, должно быть, так же хорош, как и в любом другом месте. Издалека в ночную тишину врывается сильное мужское пение — это солдаты второй мировой войны пытаются убедить себя и других в истинности слов фронтовой песни. Говорят, так они провожают каждый уходящий день. Баритоны, басы, тенора выводят простой мотив, повторяя на сон грядущий:

Old soldiers never die,
old soldiers never die,
old soldiers never die,
soldiers fade away...

Это что-то вроде гимна, исполненного суровой жизненной философии, оберегающей от несчастных случаев,— старые солдаты не умирают, старые солдаты не умирают — старые солдаты просто исчезают...

Сильным аккордом заканчивается песня.

Соланж остановилась и, опершись на перила, слушает. Рядом с ней огромная заплата из красного кирпича — заделана самая большая пробоина, но и оттуда сквозь леса видны раскачивающиеся от ветра уличные фонари у вокзала и слышен шум автобусов.

Как хорошо, что и поездка, и весь этот день в Нюрнберге, и даже концерт — уже позади; если б не отъезд Соланж и не мои показания, мы могли бы завтра отправиться на большую прогулку, вздохнуть свободно, осмотреть этот знаменитый город.

Старые солдаты не умирают... Не умирают, а исчезают. Ну ладно, а молодые? Что происходит с молодыми?

Когда война выбрасывает человека на берег со столькими шрамами и застрявшими в душе осколками, нужно много времени и покоя, чтобы все зажило. Нужно одиночество, тишина, твердость духа.

Нюрнбергский «Гранд-отель» лучше любого дома в разрушенной Варшаве предоставляет условия для отдыха. Персонал здесь вымуштрован, его как бы и нет — люди работают тихо и незаметно. До чего же странным кажется это первое послевоенное воплощение немцев, первые, самые поверхностные его проявления. Невооруженным глазом видно, что они выбрали метод обхаживания всех оккупантов, стараются выглядеть вежливыми и приятными. Как, например, профессор Ульсен. Он, правда, эмигрировал, много лет скитался за границей...

Строительные леса выводят в коридор уцелевшего крыла здания — там тоже под ногами красная дорожка, вся покрытая кирпичной крошкой и белыми пятнами известки.

Соланж открывает дверь своего номера и зажигает все лампы.

— Знаешь, яркий свет лучше всего защищает от меланхолии. Я люблю, чтобы в комнате было светло,— в ярком свете можно определить главное отличие хорошей гостиницы: не видно ни в одной мелочи следов тех, кто жил здесь до тебя.

Обе двери Соланж оставила приоткрытыми, бросила пальто, перчатки, сумочку, платок в кресло и теперь, стоя на коленях на ковре, заглядывает под диван, под кровать.

— Гитлер спрятался не здесь, и не здесь, и не здесь,— напевает она себе под нос. Проверила шкаф, заглянула в ванную, швырнула туфли в темный угол. И, довольная осмотром, сказала: — О'кэй. Адольф Гитлер испарился. Ты тоже проверь у себя, загляни во все уголки, прежде чем ляжешь спать.

Я наверняка это сделаю, но сейчас шучу:

— У нас говорят: «Меня на испуг не возьмешь».

Соланж все еще стоит перед открытым шкафом.

— Брось! Хвастовство хорошо в другие времена. Будь начеку. Не забывай: это Нюрнберг. Не забывай, где ты. Ядовитая гадюка с радостью убаюкала бы сейчас на своем сердце большинство приехавших на процесс. Держи глаза открытыми.

— И даже во сне?

— Не стоит шутить. Ты должна пообещать мне, что будешь осторожна. Проверяй комнату, когда входишь

в нее, особенно перед сном — это твоя первейшая обязанность. Вспомни, что ты видела там, совсем еще недавно.

— Девочка! Я это понимаю. И проверяю. Но как ты с такими мыслями можешь давать здесь, у немцев, концерты?!

Соланж выпрямилась, подняла руку кверху.

— Слава богу, завтра я лягу спать далеко отсюда. И заботиться обо мне будет итальянская горничная. Там мне не придет в голову заглядывать в шкаф или под кровать. Я верю итальянцам. Я вообще верю людям. Но пойми, тут каждое слово, каждая надпись, каждый окрик открывают завесу памяти, всплывают кошмарные сцены. Мне страшно. Я боюсь их. Ты завтра будешь давать показания на процессе. Ты дашь их от имени всех нас. И от имени тех, кто уже ничего сказать не может. Помни об этом.— Она открыла окно. Выглянула наружу, проверяя, не затаился ли Адольф Гитлер на строительных лесах.— Порядок! — сказала Соланж.— Теперь я могу спать спокойно.

— Проверено. Мин нет,— пошутила я.

— Да. Территория свободна. Мин нет. Но помни, нам выпало жить в проклятое время. И поэтому мы должны всегда убеждаться заранее, что мин действительно нет.

Это было первое, что делала Соланж, возвращаясь по вечерам в гостиничный номер. Делала машинально. С легким юмором. Она казалась смешной самой себе, когда вот так осторожно проверяла, не спрятался ли кто под кроватью. И только после осмотра старательно запирала на ключ первую дверь, а потом и вторую. Мы пожелали друг другу спокойной ночи и попрощались. Через мгновение я была уже в своей комнате.

Блаженное чувство одиночества. Я бросилась в постель не раздеваясь. Десять минут передышки перед тем, как умыться, и, главное, перед тем, как проверить, не прячется ли тут какой-нибудь Адольф Гитлер. Полное расслабление. Центнерами спадает усталость с моих плеч, спины, ног, восстанавливается спокойное дыхание. Я размышляю о моей талантливой подруге.

Соланж еще очень молода. Молодость стерла с ее внешности все следы пережитого. Лишь на дне сознания остался осадок, который она боится трогать, чтобы не смешать его с содержанием дней великого выздоровления.

Удобная и большая гостиничная комната кажется теперь даже уютной. Тепло. За окнами осталась метель, немецкая ночь, так непохожая на польскую, бельгийскую

да и любую другую. Эта страна по-своему шумит, будоражит, тревожит. Говорят, тут все изменилось. Но, поди знай, до какой степени?

Наполняется горячей водой ванна. Мерный, убаюкивающий шум. Я обвязываю полотенцем голову и, чтобы посмотреть на себя, протираю ладонью запотевшее зеркало.

С удивлением узнаю свое лицо, вытянутый овал на сверкающей поверхности стекла, бледные щеки и взгляд, словно бы извиняющийся за то, что видели глаза.

Под высокими дугами бровей прячутся ошеломление и ужас. Нельзя смотреть на мир такими глазами. Вокруг все твердят, что надо поскорее забыть, не возвращаться больше к пережитому. Но это очень трудно. Я закрываю и снова открываю глаза. Прядки слишком медленно отрастающих волос образуют надо лбом взъерошенную челку. В зеркале — чужое лицо. Животный страх в глазах не исчезает, даже когда на губах появляется слабая, вымученная улыбка. Глаза надо держать закрытыми. Никто не должен видеть необоснованный, сегодня уже иррациональный, но все еще сильный страх. Особенно здесь, перед дачей свидетельских показаний.

Теперь, когда войны нет, немецкие привидения не имеют права являться ко мне. После страшных, жестоких лет мудрый и справедливый Трибунал, назвавший их убийцами, определит и меру наказания, лишит возможности впредь творить преступления. Никто никогда больше не поднимет оружие против соседнего народа. И все же как бы мне хотелось поскорее отсюда уехать — я не отношусь к людям, которых может успокоить скрип виселиц под тяжестью эсэсовцев.

Как раз наоборот. В саду у Фабера я ощутила сегодня свою беззащитность: даже скрип ворот или крестьянской телеги тотчас напоминает мне годы оккупации, террор, концентрационный лагерь. Я сбегу отсюда, как только представится возможность, я вернусь в Польшу, хотя и там ждет меня одиночество. Я попытаюсь искать Томаша перед отъездом, хотя не знаю, реально ли это, жив ли он. С ним бы я ничего не боялась. Мы могли бы пройти вдвоем по Унтер-ден-Линден до самых Бранденбургских ворот, там, где шли на отекших, кровоточащих ногах солдаты, родившиеся на берегах Байкала, молоденькие парнишки из Келецкой земли, женщины и дети, которые после смерти мужчин брались за оружие.

Пройти по этой дороге вдвоем, укрепить в себе слабую уверенность в том, что германскому божку оторвали все

его когтистые лапы, что никогда больше не раздастся воинственный клич вождей этого послушного народа.

С Томашем. Опереться на его плечо. Жить полной жизнью. Но возможно ли это? Все говорит о том, что его нет в живых.

А теперь мне надо уснуть. Я выключаю по очереди все лампы и ложусь в старомодную, украшенную четырьмя металлическими шарами кровать.

Сразу темнота. И приятное облегчение. Под опущенными веками нет ничего. Блаженная пустота. Потом начинают мелькать снятые на пленку события, предметы, люди, проблемы. Надвигаются, обступают со всех сторон. Звучат в памяти обрывки разговоров, сильнее колотится сердце, все сильнее, оно бьется в горле, в висках. Вместо сонного дурмана ясная мрачность, сквозь треснутые стены «Гранд-отеля» бочком протискиваются сплюснутые, деформированные привидения.

Что говорил тот тип, внизу? Кто здесь спал? Геринг? Это наверняка правда, он ведь должен был где-то спать, когда приезжал в Нюрнберг в эпоху знаменитых «партайтагов». А теперь Геринг в тюремной камере за решеткой, в крепких американских руках, и, может быть, завтра я увижу его на скамье подсудимых.

Город шумит. Мне слышен стук буферов и вагонных колес, лязг стрелок.

Год назад колонны узников еще двигались по немецким дорогам, в вагонах для скота везли со всех сторон сюда, поближе к алчному сердцу Германии, истощенных женщин в полосатой одежде, мужчин, которые весили не намного больше, чем человеческий скелет, детей, которым предстояло быть убитыми или онемеченными.

Шумит город, зажатый клещами улиц вокруг Международного трибунала и «Гранд-отеля». Постанывает «Гранд-отель», глухо вздыхает лифт между стенами, хлопают двери на разных этажах, снег ударяет в окно, слышен шепот, тихие шаги. Свист и стон, а потом снова шепот, и это утомительнее всего.

Но еще больше утомляют мысли. С поразительной ясностью предстают передо мной факты, и невольно возникает вопрос: что делать завтра? Как воскресить черты, особенности, таланты людей, которых всего в нескольких десятках метров от моего барака гнали вдоль колючей проволоки под током в газовые камеры?

И я начинаю понимать всю бесплодность моих намерений, никто не в состоянии передать атмосферу, создан-

ную немцами, отчаяние человека, стоящего перед постоянно разверстой могилой. Быть может, на поле боя, именуемом театром военных действий, где безумцы отдают преступные приказы молодым и сильным, самым здоровым, самым лучшим, умным и честным,— быть может, там бывает по-другому? И надо уйти как можно дальше от поля боя, никогда больше не оглядываясь назад. Может быть, прав Себастьян Вежбица, так настойчиво советуя уехать из Европы, чтобы никакие законы физики не смогли донести туда немецкий снаряд, немецкий мировой порядок, немецкую атмосферу.

Нет больше доверия. Оно умерло на городских улицах, его расстреляли у стен, его задушили в нас и в наших детях. Мы знаем сегодня, что никто из нас не живет так, как бы он хотел и мог. Мы знаем, что человечество все быстрее мчится в противоположном направлении, мчится огромной массой, запыхавшись, непоследовательное в своих мыслях, если вообще оно мыслит.

Мы делимся каждой бациллой эпохи, радиоактивным пеплом и своим сомнением в смысле жизни.

Почему мы не стоим сегодня на бывших полях брани, вскинув кверху руки, протестуя против деспотизма безумцев? Почему мы не делаем ничего, абсолютно ничего, против буйно помешанных?

Процесс. Через несколько часов начнется завтрашний день.

Завтрашний день принесет мне ответ.

А «Гранд-отель» все еще бодрствует и развлекается. Одни танцуют, другие поднимают тосты в честь своего геройства, постанывающий скрежет лифта переплетается с обрывками шотландской песни:

Старые солдаты не умирают,
не умирают, не умирают —
старые солдаты просто исчезают...

Эта песня и шаги в коридоре убеждают меня, что жизнь в «Гранд-отеле» бьет ключом. Можно поднять телефонную трубку и распорядиться:

— Будьте добры, проверьте, нет ли в кафе кого-нибудь из польской делегации, я подожду у телефона.

Мне помогли найти Буковяка. Он был у себя в номере и, разумеется, не спал.

Я без труда договариваюсь с Буковяком и бегу в номер к Соланж, подняв два пальца — это "V" означает "Victoria".

Как странно! Соланж приветствует меня тем же

жестом, и мы произносим одновременно почти те же слова:

— Я заказала для тебя место! На завтра!

Мы обе замолчали. Сначала дар речи вернулся к Соланж:

— Ты едешь со мной в Италию. Это шанс. Пойми, это шанс.

Итак, у меня есть даже выбор. Италия. Калифорния. Себастьян Вежбица говорил так убедительно: достаточно занять место в самолете.

— Послушай, Соланж. Я тоже получила для тебя место на завтра. Ты сможешь войти в зал заседаний Трибунала, увидеть подсудимых, послушать, как идет судебный процесс.

Моя подруга вдруг сгорбилась и прямо на моих глазах превратилась в истощенную, озябшую доходягу, суженные глаза, сжатые губы — такой я знала Соланж прежде. "So lange bleibst du im Konzentrationslager?"[1]

Она открыла пачку сигарет, вытащила одну губами, дрожащие пальцы нашаривают спички на тумбочке возле кровати.

— И не подумаю, ясно тебе?! — Ее резкий истерический голос поражает меня.

Она закашлялась, жадно вдыхая дым. Я никогда не видела, чтобы Соланж курила. Исчезла светская молодая дама, знаменитая пианистка. Передо мной сидит тень человека с пепельного цвета лицом, с растрепанными волосами, с темными кругами под глазами, с искаженным гримасой ртом. Что я наделала?

Соланж не смотрит на меня. В голосе ее звучит горечь, слова прерываются болезненным смешком:

— Я решила убежать, понимаешь? Вычеркнуть Освенцим и оккупацию из моих снов, уничтожить все их следы в памяти. Я достаточно наблюдательна и заметила: после того как я чудом спаслась и благополучно вернулась, все видят во мне призрак. Я не желаю быть призраком. Я не хочу напоминать всем, что Durchfall[2] — это я, что Sortierung[3] — это я, что Entlausung[4] — это я, что вонючие эшелоны с людьми — это тоже я.

Она сжалась, наклонила голову, рука с сигаретой то

---

[1] Ты уже так долго в концлагере? *(нем.)*
[2] Понос *(нем.)*.
[3] Селекция *(нем.)*.
[4] Дезинфекция *(нем.)*.

и дело тянется к пепельнице. Вдруг она рассмеялась, глядя на кончик сигареты.

— В Брюсселе я встретила мужчину, который нравился мне до моего ареста. Музыкант. Личность. Сколько было у нас общих тем! Он приходил ко мне все чаще, и мы разговаривали часами. Я любила слушать, как он говорил, мы любили вместе играть. Я разыскала его в первый же день по возвращении из Освенцима. Он пришел ко мне и воскликнул: «Боже! Что они с тобой там сделали?!» Но, даже если бы он ничего не сказал, я бы увидела сострадание и ужас на его лице. Этого нельзя скрыть. Он помог мне. Я ему многим обязана. Хорошее начало для старта. Но я больше не решилась встретиться с ним. Мне двадцать семь лет, и я не могла вынести чувства сострадания и жалости, которое вызываю у всех. Меня жалели все, кто меня знал. Какая бледная! Какая истощенная! Мои прежние преподавательницы. Мои прежние подруги. Я уехала из Брюсселя, я пошла в самый лучший косметический салон. Я решила, что никогда больше не буду бледной и изможденной. В Антверпене я познакомилась с интересными людьми, моими ровесниками. Ко мне вернулось хорошее настроение, мы даже ходили на танцы.

Она снова горько рассмеялась. Пепел упал на ковер.

— Но во сне все это возвращалось, независимо от того, как я проводила день, как веселилась вечером. Во мне просыпался прежний ужас, ледяной страх душил меня по ночам. Но я убегу, я должна избавиться от этого кошмара. Даже если бы на скамье подсудимых сидел доктор Менгеле, который, ты знаешь, убил обеих моих сестер, я и то не вошла бы в зал Трибунала. Я не буду оглядываться назад, нужно быть кретином, чтобы к этому возвращаться. Нужно лишиться инстинкта самосохранения.

Она потушила окурок.

— Поедем со мной в Милан. Вдвоем будет легче убежать от кошмара.

Теперь уже я вертела в пальцах сигарету, хотя и не собиралась курить.

— Ты ошибаешься,— сказала я.— Мы стали бы друг для друга источниками бесконечных воспоминаний. Без единого слова, только взглядом напоминали бы друг другу о том, что было.

Соланж внимательно слушала меня.

— Пожалуй, ты права. Как-то во время танцев мне кто-то поклонился. Я ответила. Партнер спросил меня, откуда я знаю этого человека, одиноко сидящего за сто-

ликом. Я не помннла. «Может быть, из Освенцима?» Он был в шоке. «Что? Из Освенцима? Вы былн там?!» Он буквально одеревенел н танцевал со мной, словно с покойннцей; я шутила, напевала, но это не помогло.— Соланж вздохнула.— Мне постоянно приходится убегать. Из Антверпена я уехала. Сюда, в Нюрнберг, я согласнлась приехать после долгих колебанний. И еслн бы не встреча с тобой, у меня было бы чувство, что я окунулась в грязь Бнркенау.

Она встала. Поправила перед зеркалом короткне волосы, провела ладонью по серым щекам.

— Теперь я убегаю в Италию. Нужно выкарабкаться нз прошлого, нужно искать новые звезды над головой, новые впечатления, новые деревья вдоль дорог, новых людей. Чтобы не вндеть сны, после которых просыпаешься мертвой. Тебе это знакомо?

— Говорят, есть люди, которым никогда не снятся лагерь, война.

— Счастливчнки.

Все так же сутулясь, она натянула на себя свнтер.

— Какое счастье, что завтра я не буду слышать немецкую речь. Концерты и без того выматывают меня предельно. Ты не представляешь, сколько сил поглощает каждая репетиция. После концерта разговоры с незнакомыми людьмн, обязательная улыбка, часами длящиеся ужнны, тогда как больше всего на свете мне хочется захлопнуть за собой дверь номера и лечь спать. Как хорошо, что сегодня здесь ты. Смотрн, как уже поздно. Летом в это время начнналo бы светать. Запели бы птицы.

Она надолго умолкла. Настенные часы тихо отмеряли секунды, н каждые четверть часа раздавался мелодичный звон.

— Скажи, ты поверила им? — спросила Соланж.— Ты верншь в то, что они никогда не попробуют повторнть?

Мы смотрели друг на друга в полумраке ночн.

— Знаешь, мне бы хотелось поверить в это здесь, в Нюрнберге.

— Так как есть Трнбунал?

— Угу.

Она выпрямнлась.

— Если ты не хочешь ехать со мной, поезжай одна. Все время вперед. Беги! Беги! До тех пор, пока не найдешь места, где сможешь спать без сновидений.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Давно уже я так крепко не спала. Где я? У меня каникулы? Первый день в деревне после трудных экзаменов? Я пытаюсь найти в памяти какую-то ниточку, связывающую меня со вчерашним днем, и вдруг меня пронзает холод: ведь это Нюрнберг. Нюрнберг, выносящий приговор высшим главарям этого непонятного мне народа. И я здесь не зритель. У меня тяжелая, превышающая мои силы обязанность.

Меня пробирает дрожь: а вдруг это случится уже сегодня? Через несколько часов?

Волнуясь, я нахожу часы и иду к окошку, раздвигаю шторы и впускаю в комнату немного света. Яркое солнце слепит глаза: за окном ясный, погожий день. Неужели я проспала?

К гостинице подъезжает автобус. Тихо и равномерно работает мотор, из выхлопной трубы вырывается голубой газ и дрожит в прозрачном воздухе. Я ужасно нервничаю. Все время в ожидании. Дрожащими руками, не отрывая глаз от окна, натягиваю на себя платье.

Держа в одной руке портфель, в другой — черную шляпу, мчится в развевающемся пальто Грабовецкий. Когда его лысина с торчащим хохолком исчезает под шляпой, морщинистое лицо становится маленьким и гладким, он чем-то напоминает бледного и болезненного провинциального семинариста.

Мне удалось выскочить из гостиницы раньше, чем Грабовецкий успел разнервничаться.

— Едем, едем,— торопит он нас.— Нам надо приехать пораньше, а то американцы могут не выдать пропуска свидетелям. Вы не представляете, какие они формалисты! Где же остальные? Господи, неужели мои хлопоты с этой группой никогда не кончатся! Куда их снова понесло?!

Встревоженный собственным вопросом, он спрыгнул со ступеньки автобуса, толкнув Илжецкого, который как раз в этот момент входил. Всегда добродушный Илжецкий раздраженно заворчал:

— Вы что, решили остаться? Нам бы хотелось приехать вовремя. Ведь придется еще постоять в очереди за комиксами. Без комиксов я и полдня там не протяну.

Грабовецкий посмотрел на гостиницу, потом извлек из кармана жилета пузатые часы на длинной цепочке, в нерешительности поглядел на них.

— Что же делать? — спросил он.

— А кого вы, собственно, ищете? Буковяк уехал минут двадцать назад,— сказал Илжецкий.— Доктор Оравия и пан Райсман поехали вместе с ним.

— Да вы что? Я же всех предупредил, чтобы сидели в холле и ни на шаг без моего разрешения.

— Вот так так! Вам пришлось бы долго ждать! — развеселился Илжецкий.— Поехали. За комиксами уже наверняка большая очередь. Если мне не достанется, придется одалживать. А я хочу иметь свой экземпляр, люблю полистать перед сном.

Автобус вздрогнул и тронулся. На его место тут же подъехал другой, за ним третий. Тоже пустой. Прокурор подмигнул мне, по-детски улыбаясь:

— Нравится? Гениально, да? У немцев появилась очередная возможность проявить свой организационный талант. Они вмиг исполняют каждый приказ американцев. А те умеют приказывать: они полностью вошли в роль победителей.

У меня не было желания поддерживать разговор. Все это напоминало старый фильм, который я смотрела поневоле. Фильмом были мои чувства и наблюдения, фильмом было солнце, отражавшееся в сугробах и сосульках, фильмом казались крепостные стены и рвы, вдоль которых катился наш автобус. Это декорации или взаправдашние развалины замка? Нюрнберг? Немые останки Нюрнберга? Город средневековья, убитый руками моих современников?

Илжецкий удовлетворенно сцепил на животе свои пухлые розовые руки.

— Узнаете? Мы проезжали тут вчера вечером. Но сегодня — какой день!

Сквозь автобусное стекло проникает солнечное тепло. Снег подтаивает, мир выглядит ярким и радостным, в движениях людей ощущается смена погоды: зима отступила, можно вот так, долго-долго ехать в туристском автобусе, знакомиться с благополучными немецкими городами и деревнями, забыть о развалинах, о лежащих под тонким слоем почвы человеческих останках, не думать о массивном здании, перед которым несут вахту солдаты союзнических армий. Но шофер знает, куда везти съехавшихся со всего мира корреспондентов и юристов, и останавливается возле других автобусов и легковых машин.

В лучах солнца сверкают яркими красками флаги четырех держав, ветер полощет их, надувает, прочесывает, показывает со всех сторон. Я задумчиво наблюдаю. Побе-

да. Что принесет победа, скрепленная сотрудничеством Соединенных Штатов, Советского Союза, Англии и Франции? Еще не прошло и года с момента безоговорочной капитуляции Германии. С того незабываемого дня, когда, одеревеневший от унижения и гнева, от оскорбленного немецкого чванства, Кейтель сидел за столом и ставил свою подпись под документом о капитуляции, которой закончилась убийственная «молниеносная война». С каким трудом приходит в себя Европа, какой слой пепла лежит на всем.

На горизонте показался самолет. Он летел наискосок вверх, на глазах уменьшаясь, становясь прозрачным и нереальным.

— Где находится Фюрт, пан прокурор?

— Аэродром? В той стороне. «Джип» вчера привез вас оттуда,— показывает мне Илжецкий, продолжая сиять, как счастливое дитя.

Грабовецкий поднял руку, махнул, точно давая бегунам команду «старт».

— Идемте, прошу вас. Мы должны приехать раньше других. Вперед!

Я бросаю последний взгляд на залитый солнцем город. Самолета уже не видно. Сверкнув напоследок металлом или стеклом, он словно растворился в воздухе. Соланж, наверное, уже улетела в Италию. А мне надо давать показания, мне надо рассказать Международному трибуналу о преступлениях немецких главарей, не признающих своей вины, поскольку все д е л а л о с ь чужими руками.

Это фильм с неизвестными действующими лицами, незнакомыми местами и событиями. И никак нельзя повлиять на ход сюжета, даже если проблематика фильма тебя очень волнует, даже если в коротеньком эпизоде ты увидишь саму себя, свою улицу, дом. Нельзя закричать: «Я протестую! Дайте другой сценарий!»

Я медленно поднимаюсь по лестнице, то и дело растерянно оглядываясь назад, слышу шум тормозящих автомашин, шаги бегущих за нами людей.

Вместе с Илжецким я подхожу к гардеробу, где лежат стопки журналов.

— Быстро за пропусками! — командует возбужденный Грабовецкий. Он все время оглядывается и нервно пересчитывает наше маленькое стадо.

Вдруг оказывается, что мир организован замечательно: кто-то все предусмотрел. За стеклянной перегородкой бюро пропусков сидят вежливые подтянутые американские

парни в ладно скроенных мундирах — точно таких же видела я утром перед гостиницей. Их форма не перестает вызывать мое восхищение: столько вложено в нее стараний и изобретательности. Культура уважения к форме? Забота об армии? А может быть, только видимость заботы?

— Интересно, в разрешении политических проблем они так же усердны, как в своем пристрастии к отглаженным мундирам и бритью? — задаю я вопрос, сознавая, насколько моя война отличалась от войны моих ровесников из Штатов. Это своего рода свидетельство силы этой армии, с гордостью демонстрируемое их дивизиями, прибывшими спасать Европу.

Илжецкий взглянул на часы, а потом через головы каких-то людей посмотрел в комнатку, отгороженную стеклом, и сложил губы дудочкой.

— Прошу не волноваться. Американцы работают не спеша, но методично. Мы успеем.

Кто-то отошел, разглядывая полученный бланк.

Наконец подошла наша очередь.

— Вы только посмотрите,— торжествует Илжецкий,— до чего толково они работают. Сейчас вы получите пропуска. Сегодня мы вряд ли успеем, но завтра обязательно надо посмотреть, как подсудимых вводят в зал.

Грабовецкий все еще суетится в очереди у окошечка и наконец получает датированные сегодняшним числом пропуска; хотя они заполнялись по нашим паспортам, в них полно ошибок. Фамилии безжалостно исковерканы, причем по очень простому принципу: американская транскрипция с добавлением русских окончаний. Грабовецкий огромным, размером с полотенце, носовым платком вытирает лоб.

— Ну и ну! Я весь взмок. Польские фамилии — это не самая сильная их сторона. Вы только посмотрите, что они тут понаписали.

Илжецкий взмахнул толстыми ручками.

— Забавно! Завтра дежурный будет иметь полное право не впустить нас в здание Трибунала. Может потребоваться вмешательство председателя. Что они сделали с нашими фамилиями?!

Мы направились к широкой лестнице. Буковяк тяжело дышал. Он приостановился, опираясь рукой на перила.

Грабовецкий нервозно озирался.

— Куда подевался Райсман? Сколько хлопот у меня с этими свидетелями!

— Может быть, Трибунал учтет, что вы прилетели с опозданием,— говорит, то и дело останавливаясь, Буковяк.— Лучше всего было бы, чтобы вы дали показания прямо сегодня.

Доктор Оравия тяжело вздохнул.

— Боюсь, что из этого ничего не выйдет. И меня это очень, очень печалит. Мне кажется, что мы вообще здесь никому не нужны.

— Не одной печалью жив человек,— бормочет Илжецкий.— И не одним процессом. Есть еще и чтение. Я вот каждый день с утра покупаю себе специальную американскую газету, и мне хватает ее до конца заседания. Очень рекомендую. Янки в этом отношении на первом месте в мире. Они умеют развлекать.

Я молчу. Не могу отделаться от впечатления, будто этот маленький человечек сегодня тоже одет в пижамку, делающую его похожим на дошкольника, что на нем теплый халатик с бантиком на боку. Стараясь быть как можно вежливей, я говорю безразличным тоном:

— Как вам кажется, пан прокурор, сколько пройдет лет, прежде чем у кого-то возникнет идея издавать комиксы на тему гитлеровской оккупации?

— О, вы знаете, у них развито чувство юмора, на них вполне можно положиться. Всем нужна разрядка, что-нибудь вроде ванны для нервов. Комиксы позволяют мне сохранять душевное равновесие. Да и не мне одному. Я вам очень рекомендую. Давайте займем очередь, не то американцы все раскупят. Гляньте, что делается!

В самом деле, фильм продолжает крутиться. Очередь к прилавку с журналами изогнулась в форме вопросительного знака, взрыв смеха в зале заседаний между первым и вторым предложением при чтении документа. Разглядывание этих картинок помогает сохранять душевное равновесие. Я стою рядом с прокурором, ведь должна же я где-то стоять в этом чужом, незнакомом мне здании, куда впервые пришла. Я жду. Меня не настолько измучили пока проблемы Трибунала, чтобы я нуждалась в веселых картинках перед тем, как давать показания. Моя психика имеет запас прочности.

На лице Илжецкого обезоруживающая, милая улыбка диснеевского медвежонка.

— Я уверен, что ни сегодня, ни завтра у председателя не найдется времени для польских свидетелей.

Зачем же мы втроем приехали сюда? Зачем прокурор Буковяк возложил на нас обязанность поделиться своими

страшными, обширными, глубокими знаниями, касающимися концентрационных лагерей?

Поглощенный своими обязанностями Грабовецкий поочередно информирует доктора Оравию, Райсмана и меня:

— Вы будете ждать в комнате для свидетелей. Идемте! Поторопитесь! Заседание начнется с минуты на минуту.

Илжецкий совершенно спокоен.

— Ну, коллега! У нас еще минимум полчаса до входа в зал.

Он лезет в карман за мелочью, покупает шуршащую тонкую газету. На щеках седовласого дитяти появляются ямочки: довольная улыбка полностью стирает следы напряжения с его лица.

— Уверяю вас, еще несколько дней, и вы тоже научитесь черпать оптимизм из ежедневной порции прессы.

Через несколько дней? Неужели я отупею так быстро?

Внезапно Илжецкий прекратил листать газету, проверил часы, поднял кверху палец.

— Как раз сейчас подсудимые по специальному коридору идут в зал заседаний. Они входят туда первыми. Им некуда торопиться, они могут нас всех подождать.

Он замолчал и снова погрузился в чтение. Автобусы, гудя и фыркая, подъезжают к зданию один за другим. Из них выскакивают группы людей и отдельные фигурки. Все суетятся, бегают перед зданием, в бюро пропусков, по коридорам, широким лестницам. Я вижу изящных, одетых в идеально сшитую форму англичанок, корреспондентов, юристов, секретарей, переводчиков. Время от времени Илжецкий кланяется, приветствуя кого-то бегущего по лестнице, потом снова углубляется в газету.

Итак, я свидетель. Я сознаю, что только слова, столь неконкретное средство, будут орудием, с помощью которого мы должны воссоздать перед Трибуналом характер и масштабы преступлений, которые совершались в концлагерях.

— Но ведь это невыполнимо,— сказала я вслух самой себе.

Мне казалось, что увлеченный чтением Илжецкий не замечает, что делается вокруг, но вот он берет мой пропуск, подносит к глазам. Читает.

— Ваша новая фамилия звучит совсем неплохо... Давайте-ка я покажу вам зал заседаний, пока туда не ввели подсудимых.

Из его кармана торчат газеты, сложенные кое-как.

Он идет по лестницам и коридорам, сворачивает в темные закоулки, не оглядываясь, так как слышит за собой неритмичный перестук наших шагов.

Он остановился возле невзрачного человечка в служебной форме, что-то спросил его по-английски, изредка вставляя немецкие слова.

Служащий Трибунала, немец, оробел. Давно прошли времена, когда он мог здесь что-то разрешать, объяснять или запрещать. Он топтался на месте, стараясь встать по стойке «смирно», и наконец отрапортовал, уставившись в жилет Илжецкого:

— Jawohl! Подсудимых еще не ввели, поэтому, если у вас есть желание взглянуть на зал заседаний и у вас имеются пропуска...

Илжецкий ткнул пропуска ему под нос, словно колоду карт.

— Этого вам достаточно? — спросил он резким тоном.

— Natürlich[1],— поклонился немец.— Прошу вас поторопиться, конвоиры вот-вот введут арестантов.

Он беззвучно повернул ручку, осторожно толкнул дверь, посторонился.

— Мы входим со стороны трибуны для свидетелей,— свободно объяснял Илжецкий.— Отсюда вы будете давать показания. Осмотритесь, освойтесь немного. Слева, с этой стороны, сидят судьи, обвинители, справа — подсудимые. Зал небольшой. Уверяю вас, что вы справитесь со своей задачей.

— Опять деревянные рельефы,— тихо удивляется доктор Оравия.— Мне всегда казалось, что люди, любящие скульптуру, должны быть добродушными и мягкими.

Райсман с горечью усмехается, качает головой.

Я взошла на трибуну для свидетелей в пустом зале, подняла голову.

— Это все же выше человеческих возможностей,— глухо произнесла я.— Воображение бессильно... Вдыхать легкими смрад от сгорающих трупов... и продолжать жить, ходить, думать, спать, есть. Англосаксы не в состоянии этого понять. Оно и неудивительно. Люди, не пережившие гитлеризма, не поймут этого никогда.

Илжецкий кивнул головой направо.

— Их вот-вот введут в эту дверь, там, под большой деревянной скульптурой. Нам пора уходить.

---

[1] Разумеется *(нем.)*.

Грабовецкий, увидев нас, безумно обрадовался и возбужденно закричал:

— Американцы любят пунктуальность. Идемте, друзья мои, свидетели до момента дачи показаний находятся под стражей.— Он стоял у лестницы, дожидаясь, когда мы пойдем вперед, в указанном им направлении.

В старинном здании гулко звучат торопливые шаги. Двери почти во всех комнатах открыты. Всюду полно документов, на окнах, на столах, на полу лежат кипы бумаг, папки, скоросшиватели, толстые конверты, рассыпанные фотокопии, снимки. Буковяк останавливается на пороге небольшой комнатки, по-хозяйски гордо окидывает нас взглядом.

— Комната польской делегации. Здесь мы чувствуем себя как дома. Это наша главная база.

По коридору бежит девушка в белой блузке. Она кланяется и, задыхаясь, говорит: Guten Tag[1].

— Вот и наша секретарша,— поясняет Буковяк, он сегодня куда более благодушен, чем накануне.

Я озираюсь кругом. Аккуратно сложенные горы бумаг со штампом Комиссии по расследованию гитлеровских преступлений, они занимают тут все свободное пространство. А если чуть наклонить голову, можно прочесть документ, лежащий наверху. Можно выбрать подходящий момент, когда в комнате никого нет — а такое случается у польских юристов,— и протянуть руку из коридора, тогда из аккуратно сложенной горы макулатуры о минувшей войне исчезнет несколько листков.

У меня не хватает отваги поделиться своими опасениями: как-никак это Международный трибунал, и, наверное, здесь все предусмотрено. Я гоню от себя эти мысли, они связаны с теми годами, когда все самое худшее было возможным. Те годы прошли.

Буковяк прислонился спиной к окну, поднял голову.

— Здесь, в этих бумагах,— вернулся он к своей вчерашней теме,— содержится лишь малая толика из обвинительного заключения. Пройдут годы, семь, восемь лет, может, чуть меньше или чуть больше, прежде чем удастся установить подлинные масштабы гитлеровских преступлений.

Илжецкий шелестел страницами иллюстрированного журнала.

Буковяк продолжал:

---

[1] Добрый день *(нем.)*.

— Европа была покрыта густой сетью лагерей уничтожения, повсюду братские могилы. В Польше, Франции, Италии и Югославии. Если в будущем кто-нибудь создаст эту трагическую карту, контуры которой пока лишь слегка намечены, это будет обвинительный акт всего человечества. Не только против Германии Адольфа Гитлера. Это будет обвинение всей нашей цивилизации. И нас в том числе. За то, что мы не умеем жить.

Все молчали. Буковяк щурил глаза и по памяти называл лагеря уничтожения, словно перед ним висела огромная карта Европы с нанесенными на нее местами гитлеровских преступлений, позора, геноцида. Он помнил невероятное количество поселков и городов, концентрационных лагерей, деревень, сожженных дотла вместе с их жителями.

Я была поражена: я знала Освенцим-Биркенау — гигантский лагерь массового уничтожения голодом, дистрофией, автоматными очередями, вшами, газом циклоном, карцером, морозом, который умертвлял обнаженных людей быстро и без участия эсэсовских рук. Чистые гитлеровские руки были возведены в принцип, только дебилы да кровожадные психопаты участвовали в расправах, не имея на то четкого приказа.

Буковяк, стоящий перед воображаемой картой Европы, показался мне страшным призраком, рассуждения которого окончательно подрывали мою веру в человеческий разум. Его тонкий палец легонько дрожал.

— Тут, в Хелмне над Нером, комендант Освенцима Гесс учился, изобретал способы массового уничтожения народов. Он посетил и Треблинку, неутомимый в своем стремлении к цели, к выполнению приказов фюрера. Уничтожать! Быстрее, быстрее уничтожать!

Доктор Оравия дополнил Буковяка, он назвал еще лагеря, где гитлеровцы занимались массовым уничтожением населения.

— И при этом,— обратился ко мне судья Яхолд,— вы услышите речи их защитников. Они будут пытаться внушить нам и всему свету, что решения Трибунала не имеют обратной силы, поскольку в момент совершения преступлений они не были запрещены законом.

Я была бесконечно удручена. Яд такой силы не мог автоматически исчезнуть, испариться, впитаться в землю.

Стоя за спинами Буковяка и Оравии, я видела, как после каждого их слова разрастается эта абстрактная чудовищная карта, карта геноцида.

Они говорили о Равенсбрюке, называли Заксенхаузен, Ораниенбург, Нойштадт-Глеве, Нойенгаммен, гитлеровские лагеря и их филиалы, Маутхаузен, Гузен, Бухенвальд, Флоссенбург, Дахау, Гросс-Розен. Множились названия. Ужасающие скопища людского горя, самоубийственного немецкого пренебрежения к цене человеческой жизни лишили меня веры в смысл выступления перед Международным трибуналом.

Судья Яхолд добавил:

— Они совершали преступления беспрецедентные, не имеющие названия, но это не значит, что их действия не были преступными.

Илжецкий старательно сложил и засунул в карман свои газеты. Потом взглянул на часы. Мне хотелось крикнуть ему, что я не буду давать показания. Уеду. И быть может, где-то там, на краю света, смогу найти укромный лесной уголок, в котором никогда не услышу ни слова о гитлеровских ядах, об уничтожении, о геноциде, об умственных усилиях, направленных на совершенствование методов убийства.

— Друзья, пора идти в зал. Вас мы проводим в комнату для свидетелей.

— Но я...

— Слушаю вас?..

— А комната польской делегации так и останется открытой?

— Разумеется.

— Но здесь лежат документы без присмотра. Не стоит ли принять какие-нибудь меры на всякий случай?

Илжецкий развел руками.

— Что поделаешь. Тут все комнаты стоят открытыми, так что и наша тоже. В конце концов, это суд, а не зал ожидания. Международный военный трибунал.

Секундная заминка. Мне надо сказать им то, что я думаю. Вы не знаете немцев. Люди! Вы еще слишком плохо знаете немцев. Они вовсе не капитулировали, несмотря на то что в мае сорок пятого года подписали акт о капитуляции. Они воспользуются любым оружием.

Но я ничего не говорю. Я иду по широким коридорам здания, смотрю на лица проходящих мимо людей, слышу шаги на лестницах — и думаю о своих друзьях военных лет, о людях, которым капитуляция не успела спасти жизнь.

Смогу ли я, словно мать всех их, пасть перед Трибуналом и выть от боли?

— Пожалуйста. Вот комнаты для свидетелей. Отдельные. До скорой встречи! — подбадривает меня Грабовецкий.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Я мечтаю побыть одна. Меня раздражает каждое слово, каждая доброжелательно наклонившаяся ко мне лысина, чужое дыхание, пропитанное никотином и закусками из здешнего бара. Напряжена память, напряжены нервы, я целый день нахожусь в состоянии готовности сию же минуту давать показания. Мысленно выстраиваю по порядку проблемы, каждая из которых остается самой главной. Столько часов в комнате для свидетелей!

Наконец, лязг замка, точно в тюремной камере,— и дверь открывается. На пороге стоит Грабовецкий, еще более бледный, чем обычно.

— Этого и следовало ожидать. На сегодня у них уже был составлен регламент. Но завтра ситуация наверняка прояснится.

Я быстро спускалась за ним по лестнице, мечтая поскорее вдохнуть морозный воздух, освободиться от уныния, навеянного пребыванием взаперти в четырех стенах.

Уже внизу до меня донесся знакомый голос Буковяка.

— Хуже всего,— шептал он,— хуже всего обстоит дело с доктором Оравией. Не знаю, получится ли вообще. Трибунал дал согласие на приезд из Польши свидетелей — бывших узников гитлеровских концлагерей, но доктор Оравия в лагере не был.

— Он же дает показания не как узник! — воскликнул Грабовецкий.— Проблемы оккупации Оравия знает лучше любого из нас.

Илжецкий догнал нас уже в холле. В его позе и голосе сквозила надменность.

— Друзья мои, Трибунал допросит только тех, кого сочтет нужным. В лучшем случае двоих из концлагерей. А остальным полякам, пусть даже самым компетентным, он может просто не дать слова. Это же ясно.

В ожидании своего пальто я стояла у окна.

— Сюда надо пригласить тех узников, которых удалось спасти от смерти,— сказала я,— из Майданека, Штутгофа и других лагерей. Сюда должны приехать профессора Краковского университета, те немногие, кто выжил в Заксенхаузене. И дети. Маленькие дети с лагерными номерами, вытатуированными на бедрах.

Илжецкий взглянул на меня поверх очков.

— Как вы предлагаете это сделать? Средства сообщения в Европе в руинах. Телефоны не действуют. Отсюда проще дозвониться до господа бога, чем до Польши. Ничего себе идея! Доставить сюда еще кого-то? Об этом не может быть и речи. Для этого пришлось бы снова отправить курьера, чтобы он их разыскал и доставил сюда. Не сегодня завтра Трибунал прекратит опрос свидетелей, перейдут к допросу подсудимых. Все свои возможности на этом процессе мы уже исчерпали.

На это я уже не ответила, схватив пальто, выскочила из теплого помещения на улицу.

Я должна побыть одна. Пойду куда глаза глядят, окунусь в темень, только бы подальше от улиц, где снуют взад и вперед по трассе Трибунал — «Гранд-отель» автобусы и легковые автомобили, «джипы» и фронтовые грузовики. Яркий мигающий свет их фар не даст мне заблудиться, хотя кто знает, не лучше ли было бы завязнуть в снегу, сползти на дно рва, опоясывающего разбомбленный замок, и заснуть там, чтобы не надо было завтра возвращаться в комнату для свидетелей.

Почему? Уныние белых стен, американский часовой, который развлекает меня рассказами о поведении подсудимых, кулуарные легенды о неожиданно проснувшейся набожности Франка, который штудирует Библию и совершает какие-то ему одному понятные обряды покаяния, своим поведением подтверждая выдвигаемые здесь идеи о необходимости предоставить преступникам время для осознания своих грехов.

Я быстро шагаю вперед, отдаляясь почти под прямым углом от автобусной трассы. Снег под ногами хрустит — днем, наверное, он подтаял, а теперь верхний слой снова прихватило ледком. Я громко ступаю, иногда глубоко проваливаясь — тут уж приходится вытягивать ногу из ловушки, чтобы не сбавить темп. Как можно дальше от освещенного прожекторами здания международного правосудия, от собственных путающихся мыслей, от бессмысленно проведенного дня.

Заседания идут спокойно, в соответствии с принятым распорядком, с утра до обеденного перерыва, ни минутой дольше, после обеденного перерыва до вечера, причем даже самая напряженная проблема все равно переносится на завтра, потому что пришла пора бриться и ужинать.

В этом нет ничего удивительного. Действительно, нет ничего удивительного. Надо соблюдать «психическую ги-

гиену», иначе юристы быстро свихнутся здесь. И все же почему-то меня это злит.

Пустота. Вокруг меня безлюдные руины. Я достигла цели, ушла очень далеко, и теперь напрасно озираюсь кругом — нет и следа автобусов, курсирующих между Трибуналом и «Гранд-отелем». Теперь я иду осторожней. Вдруг в темноте притаился какой-нибудь человек, он не должен слышать мои шаги. Свежий снег приглушает звуки, я двигаюсь почти бесшумно.

Теперь мне легче: я одна. С удовольствием вдыхаю острый морозный воздух. Вечер и мир уснули, во всяком случае, спит улочка, по которой я сейчас бреду. Уже долгие часы сыплется снег. Ни одной живой души среди этой беззвучной снежной круговерти. Дети, видно, забыли, какое это удовольствие — бегать, валяться, лепить снежки и бросать их друг в друга. Еще не так поздно, но все разошлись по домам.

Наверное, я забрела в совсем нежилой район, но я не думаю об этом, не разрешаю себе испугаться. Недалеко отсюда ждет меня надежное пристанище: сверкающий огнями «Гранд-отель», теплый «Гранд-отель», чистый, гостеприимный, безопасный, гораздо более уютный, чем в далекой Польше разрушенные дома. Скоро я доберусь до гостиницы, позвоню горничной, попрошу дать еще один плед, она вызовет посыльного, велит ему принести хороший ужин и немного горячего чая, а то я ужасно замерзла. Одолженное в Варшаве демисезонное пальто оказалось чересчур деми... Ветер давно уже пробрался ко мне под одежду, и леденящий холод напоминает, что сейчас февраль. Все еще февраль.

На снегу виднеется луч света. Это единственное светлое пятно в окружающей меня тьме. Я иду туда, хотя и не знаю, приближаюсь ли я к теплу или, напротив, спеша вперед, отдаляюсь от своей цели.

Мне страшно, что светлое пятно исчезнет и оставит меня одну в этой пустынной темноте. Оно таки исчезло. Считаю шаги, десять, одиннадцать. Появилось снова. Что-то темное заслонило свет, вижу какое-то движение, черт знает что там происходит. Я осторожно продвигаюсь вперед, хочу первой распознать предмет, который движется в полоске света. Ветер стукнул оторванной доской или свисающим с крыши толем. Обойду-ка я это место, попробую найти дорогу к «Гранд-отелю», который сейчас кажется мне родным домом.

Делаю еще несколько шагов — и снова ничего не вижу,

свет погас, а возможно, я очутилась за стеной.

Пытаюсь не сбиться с направления, шагаю вперед все в том же темпе. Мне начинает казаться, что я вот-вот выйду на автобусную трассу.

Но вместо шума автобусов мне слышится голос, отчетливый шепот. Неужели галлюцинация? Может быть, просто мои башмаки скрипят на снегу? Я останавливаюсь, чтобы оглядеться, но в снежной вьюге никого не видно.

Опять слышу шепот, теперь он громче и намного ближе. Значит, кто-то тут есть. Мне страшно, я уверена, окружающая тьма имеет глаза и наблюдает за мной. Страх ускоряет сердцебиение: скорей беги! Они все еще за моей спиной, они кругом, они во мне, они по трое в ряд чеканят шаг в моем мозгу с песней: «Хей-ли, хей-лу, хей-ла!!!» Я упорно иду вперед, едва узнавая контуры засыпанных снегом предметов. И вдруг инстинктивно отшатываюсь: на снегу поперек дороги лежит, раскинув руки, неподвижное тело. О ужас, я не могу здесь пройти, он упал, как только автоматная очередь прошлась по его спине. В голове у меня пустота, я забыла, что это Нюрнберг, а не Польша времен оккупации. Я забыла, что прошли месяцы после окончания войны. Лишь несколько секунд спустя до меня доходит, что это лежит на земле высыпанный кем-то пепел или угольная крошка, а контур убитого человека возник случайно, возможно, его создало мое воображение, память, наполненная впечатлениями тех лет.

Дыхание постепенно выравнивается, ко мне возвращается спокойствие. Самое страшное, что может случиться с человеческим существом на земле,— это смерть. Превращение в ничто живой ткани, откуда била энергия, мысли, эмоции и свободная воля; сильной воли немцам хватало, но большинству из них (не считаю эмигрантов и тех, кто протестовал, невзирая на последствия!) чуждо было понятие свободной воли.

Я оглядываюсь по сторонам. В этом мертвом, безлюдном районе не у кого спросить дорогу к «Гранд-отелю». Странно, вместо того чтобы бояться, я иду, отдыхая, по заснеженной площади. Можно забыть обо всем и погрузиться в собственные мысли — это проверенный способ, мой верный союзник тех лет.

И вдруг горло точно перехватило судорогой — я увидела мужскую фигуру, обращенную лицом к витрине. Я смотрела на него сквозь вьюгу, метель усилилась, густое облако качается прямо перед моими глазами, хлопья

склеивают веки, закрывая от меня все.

Не бойся, уговариваю я себя, не бойся, наверное, это манекен, который вынесли из швейной мастерской на улицу во время бомбежки и он так и остался стоять среди развалин. Моя тревога развеется, как только я подойду поближе и смогу убедиться в этом.

Но именно в этот момент темная фигура шевельнулась, и я услышала шепот. Он поднял голову и что-то говорит. Значит, это человек! Из всех возможных опасностей самой страшной продолжает мне казаться человек — это я усвоила во время войны, это вошло в меня навсегда.

Неужели шепот может быть таким отчетливым? Мне кажется, что это мороз создает такой удивительный акустический эффект. До меня снова доносятся те же самые слова. Наверное, это все же сон. Сейчас я проснусь в своей удобной гостиничной постели, потому что кто, кто, черт возьми, может среди развалин Нюрнберга произносить такие слова? К кому они обращены? И вдобавок по-польски!

А он снова тихо повторил:

— Пан прокурор! Уважаемый Трибунал!

Спокойно. Только без паники. Этот человек, помешанный или пьяный, не может быть опасен. Я успею сбежать отсюда неслышно, хотя все же хотелось бы узнать, что это за тип.

— Пан прокурор! Уважаемый Трибунал! Я настаиваю на том, чтобы пан прокурор... чтобы уважаемый Трибунал...

Бывший узник, конечно же, такой, как и я: он тоже смотрел в огонь открытыми глазами. Кто ты, брат, в заснеженном Нюрнберге взывающий о помощи?

— Я заявляю, пан прокурор... я хотел бы заявить... Высокий суд...

Ну ладно, а где же здесь этот его прокурор?

Вместо того чтобы сбежать, я потихоньку, шаг за шагом, приближаюсь. Снег глушит мои шаги и даже дыхание. Теперь фигура с сутулыми худыми плечами уже в нескольких метрах от меня. Его руки на железном поручне, который идет вдоль витрины, непрерывно двигаются, елозят, может быть, от холода. Мне показалось, что мужчина старается выломать кусок прута. Он похож на африканскую птицу марабу. А из людей — на Юлиана Тувима. Я делаю еще несколько шагов. Человек, стоящий передо мной, явно отмечен печатью трагизма. Его профиль почти прозрачен при свете, падающем изнутри этого скла-

да старья или антикварной лавки.

Мужчина почти касается стекла губами и все время говорит шепотом. Спокойно, тихо, даже робко. Произнес несколько слов, которых я не расслышала. Шепот вдруг набирает силу, становится громким. Человек обращается к фарфоровым куколкам, клоунам, обезьянкам и возвышающемуся среди них деду-морозу.

— Уважаемый Трибунал! Пан прокурор!

Даже если все это сон, я все равно уверена, что давным-давно прошло рождество. И Новый год прошел. И крещение. Хозяин антикварной лавки, видно, болен, раз забыл о выставленном в витрине старике, который каждые несколько минут качает головой.

— Безусловно, пан прокурор, я знаком с предметом. Я в состоянии ответить на все ваши вопросы.

Рождественский дед замер, бессмысленно уставился на съежившегося у витрины человека. Видно, у механизма кончился новогодний завод. Но нет, голова снова с достоинством качнулась, белая борода от движения сползла на грудь. Мужчина оживился, снова заговорил.

— Я присвоил себе эти знания, вероятно, уже навсегда. Хотя, по-видимому, никому из нас не под силу охватить целиком всю проблему. Если вы, пан прокурор, не возражаете, я скажу, разумеется очень кратко...

Где-то далеко проехал трамвай. Человек замер, хотел оглянуться, но тут его птичье лицо окрасила улыбка, выражение смягчилось. Он продолжал:

— Неужели вы считаете, пан прокурор, что мы, свидетели, сможем передать это словами, одними только словами? Дать показания? Доказать? Ни один нормальный человек все равно не сможет в это поверить.

Я узнала Оравию. Он ждал, пока антикварная кукла одобрительно кивнет — вероятно, ему нужно было это, чтобы продолжать. Я закашлялась. Доктор тут же обернулся, его гибкие пальцы беспокойно задвигались.

— Что за встреча в этой пустыне! А я вот брожу по улицам и размышляю.— Он протянул мне навстречу руки.

Странный человек, этот доктор Оравия: всегда экзальтированный, сегодня он был особенно возбужден.

— Я репетирую перед дачей показаний,— с улыбкой сказал он непринужденно.— Посмотрите, какая у меня аудитория! Мне поддакивает этот старый добродушный рождественский дед с электрическим механизмом внутри. Ведь каждый оратор нуждается в одобрении, не правда ли?

Я промолчала.

— Вы подумайте, ведь именно сейчас необходимо заставить немцев восстановить развалины Парижа, Варшавы, Роттердама, осушить затопленные земли Голландии, надо бить по их карману, чтобы каждый из недавних партайгеноссе усвоил и внушил своим детям, внукам, правнукам, что война не приносит благополучия. Я уверен, так оно и будет. Они разработали свои планы еще во время оккупации. Планы перевоспитания всего народа.

Наступила тишина. Оравия покачал головой. На фоне витрины, где рождественский дед медленно и с достоинством делал аналогичные движения, это выглядело удивительно забавно, словно они заранее сговорились.

— Я хотел бы ошибиться. Но думаю, что есть такие бациллы, которые исчезают на много лет, даже надолго, но не гибнут. Я имею в виду бациллы войны. В отдельных точках Европы они размножаются с особым упорством.

Борода рождественского деда, выражая полнейшую солидарность, подскочила кверху и снова опустилась.

— Я доктор философии.— Оравия говорил быстро, словно обращаясь к самому себе.— Когда-то обожал хорошую музыку, Баха, Моцарта, особенно Моцарта.— Он замолчал, развел руками.— Потом в течение всей войны меня считали загнанным зверем, которого каждый может убить, пнуть, отправить в концлагерь. Неужели здесь, в Нюрнберге, я буду рассказывать о том, как постепенно терял зрение, прячась на протяжении трех лет в темном подвале, а потом на чердаке? Я не буду говорить об этом. У меня к этому научный подход, мне хочется обсудить целый ряд обдуманных мною проблем. С научной точки зрения война — это своего рода людоедство.

Он нервно поправил очки, потом снял их, принялся энергично протирать. Было тихо, рождественский дед дружески кивал головой.

— Неужели я должен рассказывать о том, как утратил веру в общественный порядок, в человека, во всех немцев?

Рождественский дед утвердительно кивнул.

— Мне хочется понять психологию эсэсовцев и эсэсовок. Их матери, отцы, их народ одобрял их деятельность? Как одобрял — пассивно или активно? Что это было: эйфория ложно понятого патриотизма, слишком далеко простиравшаяся вера во все, что делает фюрер? Но эти проблемы не раскрыть за те несколько минут, которые отводятся для дачи показаний.

— Если судить по реакции рождественского деда,— шутливо, чтобы разрядить атмосферу, сказала я,— вы должны все это высказать Трибуналу.

Доктор махнул рукой.

— Хозяин этой антикварной лавки просто транжир. Может, сумасшедший. Хотя, возможно, он умер, не успев отключить механизм, и потому этот дед, наверное, уже более шести недель без толку кивает головой.

Я вглядываюсь внутрь витрины, чего там только нет: лампы всевозможных форм, медные тазы, гравюры, ковши, национальные костюмы с богатой вышивкой...

— Пойдемте? — спросил вдруг доктор Оравия.— Я ужасно промерз и с удовольствием окунусь в тепло нашей гостиницы. А вы? Вы видели эту лавку раньше? Нет? Я тут был уже в день нашего приезда.

— То есть вчера?

— Да, вчера. Хотя мне казалось, что мы здесь уже давно. Вчера, в воскресенье, лавка была наглухо закрыта. Это понятно. Но сегодня? Я пытался поймать антиквара во время обеденного перерыва. Тут должно быть написано, в котором часу он ее открывает. А что вас интересует из этого старья?

— Я с удовольствием полистала бы репродукции Дюрера. Они наверняка здесь есть.

Доктор Оравия вскинул тощие руки. Он размахивал ими так, словно хотел разогнать крутящийся снег.

— Репродукции?! Дитя! Наивное дитя! Тут могут быть оригиналы. Да-да! Оригиналы! Такие антиквары скупают все за гроши. Мы можем найти тут шедевры! Чудеса! И, возможно, даже недорого.— Он пошел вперед, приостановился, еще раз обернулся.— Загляну сюда завтра, после дачи показаний. Может, мне удастся поймать хозяина.

«Гранд-отель» встречает нас теплом и ароматами. И своим обычным настроением. Особая тональность голосов волнует, будоражит, вызывает печаль и надежду. В ней слышится шум бала, когда вот-вот вырвутся на волю звуки оркестра, радость охочих до танца людей. Меня это убивает. Я не могу ничего понять. Пытаюсь разобраться в этом огромном солдатском бивуаке, который гудит, живет, растет, шумит и ликует.

Когда я подходила к своему номеру, меня остановил звук гонга. Поддаваясь непонятному велению, я оставила пальто в комнате и спустилась вниз, где что-то должно было происходить.

Доктор Оравия стоял в коридоре и моргал.

— Что они поют? Вы узнаете мелодию? Нет? Минуточку, ну да, точно, опять тот же припев: "Beethoven's land, such a beautiful land!"[1] Я уже слышал это вчера.

Он поднял руку и, размахивая ею, продолжал говорить в одном ритме с певицей:

— Сентиментальные слова! С удовольствием бы послушал, но тороплюсь к себе. Должен записать все, пока не забыл. Хотя бы набросаю план. После этой прогулки я чувствую себя бодрее и свои показания полностью продумал. Но слова могут затеряться, и я не смогу вспомнить те формулировки, которые у меня сложились в голове.

— Тогда до встречи.

— До встречи. Примерно через час я спущусь. Это не займет много времени.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Я сидела внизу, в холле, с болью в сердце наблюдая, как приходит в себя после многочасовых напряженных заседаний Международный трибунал.

Меня позвали. Я постепенно отдалялась от шума, от бури, от музыкального шторма. Все тише отбивал ритм ударник, тут было спокойно, и меня кто-то ждал. Вежливый гостиничный посыльный шел впереди меня, отворял двери, сторонясь, уступал дорогу. Мы шли по лабиринту первого этажа, в темноте, где только изредка встречались тускло горящие лампочки, мимо больших и малых залов до самого бара, за которым находилась маленькая комнатка, где обычно подавали завтрак.

За столиком, сгорбившись, сидит мужчина. Он низко наклонился, головы почти не видно, он то и дело судорожно сжимает ее руками.

— Это вы меня звали?

Он встал. Едва я взглянула на его серое, мятое лицо, как что-то шевельнулось в памяти. Где я видела этого человека? Только когда он заговорил хриплым низким голосом, я сразу вспомнила.

— Вы меня не узнаете?

— Отчего же? Пан Влодек. Из Освенцима.

Он улыбнулся и вздохнул. На лице его скорбное отчаяние.

---

[1] «Страна Бетховена, прекрасная страна!» *(англ.)*

— Иногда я приезжал в ваш лагерь за обувью.

— Да, я хорошо помню тот день, когда вы вошли к нам в барак. Это был декабрь сорок второго, да?

Он еще ниже наклонил голову, сжал ладони. Надо спросить его о Томаше, он должен знать его, может быть, они ехали в одном эшелоне, отправляемом неизвестно куда.

— Пан Влодек...

Он вздрогнул, его черные глаза смотрели с дикой злобой, а быть может, отчаянием. И тут я наконец-то узнала его. Мы сели друг против друга.

— Мы виделись вчера в пресс-центре, но в форме лесничего я вас не узнала, только сейчас вспомнила, кто вы.

Он не слышал моих слов.

— А я помню тот день, с него начались все мои несчастья,— глухо заговорил он.

Я не решилась задавать ему вопросы. Вчера он долго исповедовался перед своим школьным товарищем и сегодня вряд ли захочет все пересказывать мне.

— Я разыскиваю, езжу, расспрашиваю людей. Почти месяц, да, ровно месяц тому назад выехал из Дембков. Я мало сплю, и мне кажется, что постепенно теряю рассудок.

Он провел рукой по лбу, сильно сгорбился, будто какая-то неодолимая болезнь надломила силы этого крепкого, крупного мужчины. Он надолго замолчал, хотя, наверное, пришел сюда с желанием сказать мне что-то важное.

— Вы, конечно же, знаете, что я женился на Зуле Бартодзей.

— Поздравляю! Я даже не знала, что она жива.

— Вы курите? Разрешите я закурю? Я не знаю, жива ли она еще. И вот я остался совершенно один, как перст, у меня никого нет. Тетка погибла в Варшаве, а дядя в конце войны умер от столбняка. Они мне заменяли родителей.

Он опустил руку с сигаретой и, казалось, забыл обо всем, уставившись на тлеющий огонек.

— Я вернулся из лагеря в мае сорок пятого. Соседи, не дав мне войти в дом, с порога порадовали, сказали, что жена моя жила с немцем. С эсэсовцем... Я первый раз женился в тридцать девятом, перед войной. Как мы тогда были молоды!..

Я старалась не дышать, чтобы не напоминать о своем присутствии.

Помолчав, он снова заговорил:

— Правда, они могли и оклеветать ее. Люди ведь разные бывают. Но все жильцы подтвердили, что это правда. Значит, когда я сидел в Освенциме, то моей жене якобы пришлось пустить жильца — немца. И она спала с этим гестаповцем. Простить такое я не мог.

Он опять замолчал. Где-то в глубине зала показался официант, но к нам не подошел, видимо заметил, что мой собеседник крайне взволнован.

— Я начал искать Зулю, потому что понял, что должен найти кого-нибудь, кто был со мной там, кто прошел через все это и знал, как там было страшно. Подлость моей жены стал уже рассматривать как счастливое стечение обстоятельств. Видимо, это так. Хотя... А быть может, мне просто очень хотелось с ней развестись? Я нашел семью Зули. Ее мать встретила меня недоверчиво, испуганно. Кто вы такой? Зуля еще не вернулась... Моя дочь тут не живет. Трудно было с ходу разобраться, что все это значит. Старая карга, оказывается, врала! Вечером я встретил Зулю. В первый момент она тоже перепугалась, совесть ее мучила, но потом обрадовалась, ужасно обрадовалась, всей душой, как только она и умеет.

Он снова замолчал.

— Нет, в самом деле, не она причина разрыва с женой. Я Зулю еще не любил тогда. Знал о ней только то, что сам придумал. Много ли это? Не знаю. Я хорошо помню день, когда эсэсовец Кель вызвал меня починить поврежденный кабель. Я пришел и остановился у ворот. Он велел мне ждать снаружи, вдруг я услышал пение и в приоткрытую дверь увидел Зулю.

Дым от сигареты почти совсем заслонил его лицо. Он сидел с закрытыми глазами. Мы оба молчали. Я прекрасно помнила тот момент: Зуля поет по приказу гитлеровца, а тот, в полном восхищении, позабыв все лагерные порядки и запреты, требует, чтобы она пела все, что знает: польские патриотические песни, партизанские, народные, «Марсельезу» — все подряд.

Влодек продолжал свой рассказ горячим шепотом, словно доверял мне смертельную тайну и боялся, что его слова не так поймут.

— Я увидел посередине барака стол, а на нем худенькую стройную девушку в лагерной робе; она напоминала задорного паренька на баррикаде, руку вскинула вверх, откинула голову. Красной от холода ладошкой отбивала

такт. Напряженно взмахивая рукой, она могла идти во главе многотысячной толпы взбунтовавшихся узников.

Я слушала молча. Его рассказ как бы раскручивал ленту памяти, это был документальный, верный до малейших деталей фильм.

— Вот какая была Зуля,— заговорил он снова.— Она прямо-таки лучилась радостью и темпераментом; и вот тогда я с особой силой ощутил, как сильно хочу выйти из лагеря и готов еще страдать, голодать и мерзнуть, но все равно найду силы выжить. Благодаря ей я понял, что буду свободен. Когда я услышал слова: «Мундиры их яркие туго застегнуты...»

— Значит, она пела «Самосьерру», любимую песню Келя?

— Именно ее. Когда она дошла до триумфальных слов «Да здравствует император, идущие на смерть приветствуют тебя», мне показалось, что со всех концов Европы нам на помощь идут отряды. Я прямо ожил!

Он снова тяжело вздохнул.

С усмешкой, на которую мой собеседник не обратил внимания, я сказала:

— Эсэсовец Кель тоже оживал в такие минуты. Он очень любил ее пение, но думаю, что мысли его были совсем о другом. После этого ходил подавленный, мрачный, пил.

Влодек прикрыл глаза руками, он все еще был там, в том далеком дне, когда впервые увидел Зулю. Бледную, коротко остриженную, но дерзкую и свободную.

— Еще она пела тогда «Гренаду». Это было невероятно. А сегодня мне это кажется еще более невероятным. И в ушах звучит ее голос: «Гренада, та-та-та, та-та-та...»

— Кель требовал, чтобы она пела все, что знает, все равно на каком языке и о чем,— объяснила я.

Влодек с отсутствующим видом, улыбаясь, напевал «Гренаду», пальцами отбивая ритм.

— Но после войны, сколько я ни просил ее спеть, не смог уговорить. Зуля отказывалась. Она никогда, никогда больше не пела. Словно в ней умер тот дух, который вернул меня к жизни. А может, между нею и эсэсовцем была какая-то мрачная тайна?

К нам подошел официант. Я заказала ананасовый сок. После лагерных лет фруктовые соки казались мне нектаром греческих богов. Влодек лишь иронично поднял брови.

— Я бы хлопнул стаканчик самогону, надо забыться,

да разве его здесь подадут? Какое странное это заведение: меня не впускали сюда без пропуска. Не хочу пить ананасовую бурду. Осточертели мне все эти американские сладости из брюквы.

— Можно попросить коктейль.

Он заказал без особого желания. На меня снова смотрели пустые, невидящие глаза.

— Значит, вы нашли Зулю?

— Да. И я в тот же день сделал предложение. Ее мать и слышать не хотела: разведенный, грешник, многоженец. Зуля согласилась сразу, даже не поинтересовалась, развелся ли я. Конечно, я ей сам все рассказал. Мы поселились у моря в зеленом глухом бору, я ведь по специальности лесничий, инженер-лесовод, работу свою люблю по-настоящему.

Он замолчал, потом что-то прошептал, я с трудом разобрала его слова. Мы сидели вдвоем, в гостинице, полной народа, лишь иногда до нас долетали звуки музыки.

Мне пока нельзя спрашивать про Томаша. Этот человек к чему-то клонит, ему что-то нужно, ведь не для того, чтобы повторить вчерашнюю исповедь, он пришел сюда, усталый, небритый, с красными веками. Официант принес и осторожно поставил узкий изящный графин и плоский бокал.

Ананасовый сок был желтого цвета, от него исходил сильный аромат. Я вертела в руках запотевший холодный бокал, вслушиваясь, как звенит лед, ударяясь о стекло. Влодек залпом выпил коктейль.

— Однажды, вернувшись домой, я не застал Зулю. Она очень любила целыми днями просиживать у моря. Я не сердился, что она не занимается хозяйством, а просто ждет меня. Утром я уходил в лес, а леса там густые, идешь, идешь, просвета не видно, иногда выходил к берегу, послушать, как шумит море; вечерами, возвращаясь в сумерки, я обычно заставал Зулю на том же самом камне или на досках разбитого мола, куда она забиралась утром. Она любила лежать на солнышке, длинный летний июльский день всегда казался ей коротким. Когда солнце садилось, она со вздохом поднималась, недовольная тем, что пора возвращаться. Так проходило время. Полгода счастья.

Как много, подумалось мне. Полгода счастья — это же океан. Он забыл, что большинство из нас мечтало тогда о нескольких днях, но у многих и эти мечты не сбылись.

Я не смею думать о том, чтобы прожить с Томашем хотя бы тридцать минут. Он давно превратился в тень, в абстракцию, в призрак человека, встреченного на перекрестке. Я напрасно пытаюсь представить себе его черты, вообразить его в реальном, конкретном, а не метафизическом Нюрнберге, на фоне фешенебельной немецкой гостиницы, в которой темные деревянные панели не имеют ничего общего с колючей проволокой. Представить, что он сидит вот здесь за столиком так же, как Влодек, и сжимает кулаки, полный решимости поверить мне свои мысли. Боль — удел живых людей. Я предпочла бы, чтобы Томаш страдал, но жил, чтобы я смогла увидеть его по эту сторону, где жизнь, и тогда мое пребывание в немецкой гостинице в Нюрнберге приобрело бы смысл, возможно, даже радость. Рассказ лесничего терзает меня, появляется чувство горечи, и я осознаю, что человеческие конфликты не касаются меня.

— В Зуле я нашел друга. Я очень любил разговаривать с ней, любил, вернувшись с работы, рассказывать обо всем, что случилось за день. Она, свернувшись клубочком, лежала, молча слушала и внимательно смотрела — ну совсем как хороший охотничий пес в человеческом облике. Как она меня понимала! Как теперь поверить, как прокрутить назад все это время и вложить в него другой смысл, у меня не помещается в голове, что Зуля во время оккупации, до Освенцима...

Он ударил кулаком по столу. Пепельница, звякнув, подскочила и заплясала на гладкой поверхности стола.

Я с изумлением смотрела на него. Мне казалось, что этот мужчина вот-вот расплачется. Он взял себя в руки, сжал губы, я понимала, чего это ему стоило.

— Так вот. Однажды, вернувшись домой с работы, я не застал ее. Уехала? Убежала? Бросила меня, не сказав ни слова? Перед нашим домиком на сырой от дождя земле я заметил следы автомобильных шин. И это было все. Во всей округе — ни одного соседа, только дикие звери. Ближайшие хозяйства в километре от нас. Но в деревне никто ничего не видел и не слышал. Я побежал на пляж, к молу. След обрывался на траве возле самого дома. И конец. Дальше мох, пушистый, как коврик. От волнения я чуть не спятил, до утра бегал по лесным тропкам, звал, возвращался к дому, надеясь застать ее там, раз сто выбегал к морю, к ее любимой сосне. Это был кошмарный, бесконечный сон. И вот с той ночи я не сплю,

не ем, я ищу правду. Я изъездил Польшу вдоль и поперек, но все напрасно.

Я обратила внимание, какие глубокие морщины пролегли у него возле губ. Он сидел, сжимая и разжимая кулаки.

— Разумеется, я сразу поехал в Познань. Теща поначалу крутила, не говорила, старая карга, где дочь, водила меня за нос, сколько могла. Зулю я сам нашел, узнал, что она в тюрьме, за решеткой. Тогда теща подсуетилась, позаботилась, чтобы мне не разрешили свидания, потому что якобы Зуля, моя Зуля, боится смотреть мне в глаза.

Он выпил еще один коктейль и, отодвинув рюмку на край стола, сделал официанту знак, попросил еще налить.

— Ей предъявили обвинение. Она тут же во всем созналась, даже не пробовала ничего скрывать. И все время повторяла: «Я была глупая. Я сделала то, что мне велел Альберт».

Он тяжело, точно от удара палкой, вздохнул и снова невнятно зашептал:

— Во время оккупации Зуля обручилась. Это был ее товарищ, они вроде вместе сдавали экзамены на аттестат зрелости. Гартман. Альберт Гартман. Она никогда не рассказывала мне о своем бывшем женихе. А вскоре после войны его арестовали по обвинению в сотрудничестве с гестапо. Было установлено, что он работал на гитлеровцев с сентября тридцать девятого. И, кажется, вовлек Зулю в свои грязные делишки. Она тоже была осведомительницей. Ее школьные друзья не ожидали, что Зуля может пойти на такое. Господи! «Гренада»! «Самосьерра»! Неужели я должен поверить, что эта девушка действительно хорошо себя чувствовала в концлагере?

Странно звучат тяжелые мужские вздохи в этом уютном уголке, где так вкусно пахнет свежесваренным кофе.

— Почему же я ничего не знал о ее столь страшном прошлом? Она все скрыла от меня. Говорят, любовь открывает все тайны в человеке, в настоящей любви не может быть обмана, хитрости. Ничего подобного! Этот юный тореадор, эта ядовитая змея никогда не была со мной откровенна.— Влодек сжал кулаки, голос его дрожал от гнева.— Тореадор эсэсовца Келя! Патриотка! Придворная шансоньетка!

Он бил кулаком в ладонь, не обращая внимания на официанта, и говорил сдавленным шепотом.

— Только на суде я услышал всю правду о ней, а ведь ее партизанские песни так трогали Келя, вас, всех подруг по бараку. Она выдала гестапо ребят из подполья. Своих

школьных товарищей. Правда, потом вроде бы успела всех предупредить, но одного немцы выследили. И парень погиб. Так что на ее совести одна человеческая жизнь.

Он замолчал. Я тоже молчала, боясь сказать слово.

— И вот теперь, чтобы хоть как-то поправить дело, надо достать хорошие отзывы о ней от бывших узников. Поэтому я добрался до самого Нюрнберга. В Польше кое-кто из Зулиных подруг написали хорошие слова о ней. Вот видите? Прочтите.

Избегая моего взгляда и тяжко вздыхая, он полез в карман. Наверное, кто-то уже сказал ему то, что сразу пришло мне в голову: перед таким обвинением хороший отзыв от узниц Освенцима мало что значит.

Разве я была с нею в Познани? — размышляла я, глядя на этого убитого горем мужчину. Он пережил Освенцим и прекрасно понимает, что отзывы и свидетельства — весьма сомнительные документы. Да и что может значить какая-то бумажка, если известно, что она доносила в познаньское гестапо, какое значение имеет теперь то, что она была обаятельной и мужественной в концлагере?

— Я понимаю,— вдруг резко воскликнул он,— не в этом вся суть. Мне необходимо узнать, какая она была на самом деле. Этот... эсэсовец Кель... Это благодаря ему у Зули были такие привилегии? Выступления... пение...

Я надолго задумалась. Только в этот момент мне впервые пришло в голову, что жизнь Зули в лагере, быть может, в самом деле была довольно веселой. Но сегодня мне трудно восстановить это. Непонятно почему, я начала его утешать:

— Вы знаете, в лагере ей, наверное, стало легче... все осталось позади: гестапо, тюрьма, страх и что от нее уже не могут требовать новых доносов, не устроят очные ставки.— Я говорила, чувствуя, как у меня пересыхает горло.

— Да, да. Понимаю. Она ведь хорошая, только доверчивая. Поверила своему жениху, фольксдойчу. Люди мне рассказывали, те, что были свидетелями на процессе, что она бросилась на колени перед прокурором и кричала: «Молю вас, приговорите к смертной казни! Я не хочу жить!» А ведь ей всего двадцать пять лет.

Он умолк, закрыв лицо руками. Через некоторое время убитым голосом заговорил снова:

— А тогда, в сорок первом, ей было двадцать. Молодость? Да, конечно. Моему брату в оккупацию не было еще и четырнадцати, а он знал, что надо делать. Его расстреляли сразу после моего ареста как опасного врага

третьего рейха. Так кто же заслуживает сострадания? Зуля? Мой брат? Моя молодая жена, которую я бросил, не проверив соседские сплетни? Теперь уж не вернуть того времени, и ничего я не узнаю. Жизнь ушла вперед.

Он обхватил голову большими ладонями, сгорбился и надолго замер, напоминая застывшую глыбу.

Молчала и я.

Когда он поднялся и, подведя часы, с совершенно отсутствующим взглядом повернулся, собираясь уйти, я решилась задать вопрос:

— В Биркенау вы, кажется, дольше всех были в четвертом секторе?

— Да, в четвертом.

Уставившись на свою потрепанную шляпу, он нервно зашептал:

— Завтра вечером я уеду. У меня поезд в полночь. Я должен собрать справки. Мне надо больше хороших отзывов. Я хочу спасти ее.— И добавил уже одними губами: — Она для меня единственный близкий человек на земле. Вы в состоянии это понять? Кругом пустыня. А я понял, что жить в пустыне один не смогу.

С минуту он соскребал ногтем какое-то невидимое пятнышко на шляпе, словно забыв, что собирался попрощаться.

— Да, я ее потерял. Это мне ясно. Даже если бы Зулю сегодня освободили, между нами встали бы вопросы, на которые нет ответа. Кем был для нее этот колаборант Гартман? Кем был для нее эсэсовец? Война погубила мою жизнь. Пустыня. Кругом пустыня.

Я должна объяснить ему четко, без всякой жалости, что понятия не имею о том, что делала Зуля во время оккупации, почему она согласилась сотрудничать с гестапо. Что добрые отзывы о ней никак не перечеркнут того, что она совершила во время войны. Но мне не хватало смелости. Может быть, я не имею права так говорить. К тому же он и сам все понимает.

Продолжая скрести шляпу ногтем, он опять заговорил:

— Зуле было стыдно смотреть мне в глаза. Когда мне дали свидание с ней, она опустила взгляд, прижала губы к самой решетке и до меня долетал ее прерывистый шепот: ...этот мерзкий прихвостень... Значит, он втянул ее, а в гестапо обрадовались, что такая красивая девушка будет работать на них. Она оказалась в безвыходном положении и решила морочить им голову, пообещала, что, если ее выпустят домой, она будет передавать им сведения

по телефону.— Он пожал плечами, покачал головой.— Ее выпустили, как только она подписала. Ну и она начала «морочить». Наивная, глупая Зуля! Глупый цыпленок! Кто подписал такое обязательство, конченый человек. Или доносить, или погибнуть.— Он еще ниже опустил голову, его пальцы замерли на шляпе.— Ей вроде бы удалось предупредить... своих школьных товарищей... что она их заложила. Успели отменить собрание, разъехались. Глупая, глупая! Гестапо ворвалось в пустое помещение. Ее арестовали. Если колаборант попадал под подозрение, у него была дорога только на тот свет. Или в концлагерь. Патриотка! И она еще пела «Марсельезу», «Самосьерру»...

Он говорил все тише, порой я переставала его слышать.

— Один из ее товарищей пришел переночевать домой, год отсутствовал. Его тут же схватили. Неужели за домом следили столько времени? И насмерть замучили в гестапо. Он никого не выдал. А она так мило смеялась, когда в лагере я потихоньку просил ее спеть для меня «Самосьерру». Только для меня. Не для эсэсовца!!!

Наконец он поднял голову. Приблизив ко мне лицо, он смотрел на меня пустыми глазами.

— Сразу после войны, не успела она вернуться из лагеря, тот негодяй разыскал ее. Может быть, он уже скрывался тогда, но в Познань все же приехал. Напомнил, что был ее женихом, что они обручены. Настаивал сыграть свадьбу. Она наверняка запела бы на своей свадьбе, если б он попросил...

Я видела, как вздулись вены на шее этого несчастного человека.

— Но Зуля оставила своего жениха с носом, уехала со мной в лесничество, к морю. Он узнал, что она вышла замуж. А его тут как раз и арестовали. Колаборант. Сотрудничал с гестапо. Он тут же сообщил имя и фамилию Зули. Влюбленный Вертер! Во время войны он принудил ее к сотрудничеству с гитлеровцами, а теперь потащил с собой за решетку.

Мы оба молчали. Да и что тут было говорить? Друг, ты хотел заполучить в руки неуловимое — мечту! Хотел добиться счастья на земле! Хотел не только жить, но и радоваться! Наивный человек, что за несбыточные фантазии?!

Он снова тяжело вздохнул.

— Ну, я пошел. Справки. Отзывы. Как можно больше хороших отзывов. Так посоветовал адвокат. Я знаю, что мне не удастся закрыть правду бумажками. Но вот езжу.

Взял отпуск. Приехал даже сюда. Хотел бы отыскать Зофью Коссак-Шуцкую, знаменитую писательницу, ее слова много значат. Зуля ведь принесла ей теплую одежду, сразу принесла, как только в Освенциме стало известно, что привезли писательницу. Может, и вы черкнете несколько слов о Зуле? Что она была хорошим товарищем. Что давала вам хлеб и лекарства. Если это, конечно, правда.

Он не смотрел мне в глаза. Он выплевывал из себя слова, точно больные зубы.

— Так как? Поможете мне? — спрашивал он униженно.

— Вы хотите, чтобы я написала прямо сейчас? — услышала я свой и вместе с тем словно бы чужой смущенный голос.

Он замахал рукой.

— Нет, не сейчас! Спокойно подумайте. Может, будут какие сомнения. А я забегу сюда завтра перед отходом поезда. Хорошо?

Он глубоко поклонился, так ни разу и не взглянув на меня,— мужчина, который никак не хочет оказать на меня давления: ни просьбой, ни улыбкой, ни лагерной солидарностью.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Я вернулась за свой столик, где сидела наша делегация, мой стул был свободен. Профессор Эстрайхер встретил меня сдержанной улыбкой. Я махнула ему в ответ рукой, в этом ужасном шуме никто из нас и не пытался разговаривать.

Лесничий ушел, его сутулая фигура исчезла из поля моего зрения, но я все равно не смогла бы вернуться мыслями на прогретый солнцем берег Вислы, над которым возвышается Сандомир, где спасал сокровища польской культуры — алтарь Вита Ствоша — профессор Эстрайхер, представить себе, как под обстрелом гитлеровской авиации кто-то тащил на себе спасенные шедевры. Я совершенно расслабилась, все мысли вытеснил ритм, ритм, ритм, только теперь звучит во мне другая мелодия, не та, которую играют сегодня немцы, переодетые цыганами, в смешных широких блузках со сборками, цветастых юбках, увешанные брелочками и побрякушками, счастливые в этой атмосфере веселья. Нет, сквозь грохот ударных инструментов, сквозь звон тарелок и слезливое соло саксофона мне

слышатся песни, которые исполняла Зуля под аккомпанемент своего молодого сердца, под аккомпанемент сдерживаемого от страха дыхания и ветра, который грустно завывал сквозь дырявые доски барака.

Возвращаясь сюда, я хотела спросить кого-нибудь из своих коллег — юристов, экспертов по проблемам последней войны,— как мне быть? Написать свое мнение о ней? Но это оказалось малореально: и не только из-за шума разгоряченного зала, где надо было вопить, чтобы тебя расслышал ближайший сосед. Никто, кроме разве что Райсмана, не смог бы понять атмосферу тех дней, надо было видеть ее, отважную, вдохновенную, гордую, поющую песни, которые должны были вернуть нам — и, быть может, действительно на несколько секунд возвращали — веру, силы, вырабатывали психологический иммунитет.

Она пела во весь голос, и песня заставляла верить, несла надежды, заглушала зловещее завывание ветра, приказывала жить, освежала в памяти пожухлые, забытые, но в тот момент ожившие страницы истории. Под нашими ногами грохотали камни Самосьерры. «Это воины Самосьерры! Это воины Самосьерры!» — разве можно было более ясно высказать свой патриотизм? Уже сам выбор песни говорил об огромном риске. Ведь она могла бы ничуть не хуже развлекать эсэсовца легкомысленными, лишенными смысла веселыми мелодиями, могла бы спеть марш гномов из «Белоснежки» или «Травка зеленеет, раз, два, три».

Она выбрала «Самосьерру» и «Гренаду». Самое трудное, самое бунтарское. Узенькая тропка над пропастью. Я закрыла глаза. Слова лесничего расплывались, словно во сне. Зуля работала на гестапо? Зуля доносчица? Этого быть не может! У Влодека определенно не все дома. Но как мне это до завтра проверить? Он ведь придет за справкой. Хотя если он чокнутый, то до завтра все забудет, и нет проблем.

Задумавшись, я не заметила, как кто-то придвинулся ко мне вместе со стулом, но сразу же почувствовала крепкий запах лаванды — отличной лаванды, надоевшей мне уже вчера, когда я вынуждена была вдыхать ее в автомобиле и в студии. Я решила не открывать глаза, но веки у меня непроизвольно дрогнули. Запах лаванды душил меня, как раз в этот момент притихла музыка, и я услышала липкий от вежливости голос репортера.

— Значит, вы будете давать показания? Уже завтра? На утреннем заседании?

Я посмотрела иа него без улыбки. Вот-вот опять грянут ударники, зазвенят тарелки, плаксиво запоет саксофон. Какой смысл переливать из пустого в порожнее, можио просто промолчать. А репортаж «Польский день в Нюрнберге» он уже, наверное, продал за хорошую цену. Будет бестактно, если я спрошу его об этом.

— Завтра ваше выступление для вас уйдет в прошлое, вы перестанете думать о своих показаниях. В том случае, разумеется, если опрос свидетелей начнется с утра.— Ои замолчал и снова иабрал воздуха.— Вы видели кого-нибудь из них? Ведь они там бывали. Гиммлер приезжал иа смотры, не так ли? Может быть, вы помните его по Освенциму? Нет? Гм! Жаль. Впрочем, что ж, Гиммлер сам отправил себя иа тот свет. А вот других? Например, Геринга или Франка? Тоже нет? Ведь Франк в Польше наделал много дел. Зиачит, завтра вы не сможете опознать никого из них. Тогда на чем же будут основываться ваши показания?

Он на мгновение замолчал, огорченно и сочувственно покачал головой.

— Вчера из разговора с доктором Оравией я узнал, что он эксперт по истории оккупации,— продолжал ои печальным голосом.— У него серьезно разработаны все проблемы, связанные с войной. Правда, теоретически. Жаль, что он ушел, а то я бы спросил его, достаточно ли этого. Ну а вы? Разумеется, можно доказать логически, пусть даже с некоторой натяжкой, что на подсудимых, главных преступниках, лежит ответственность за уничтожение в Освенциме людей. Это понятно. Но никого из них непосредственно вы ведь не видели? И не видели, как кто-нибудь из них убивал? Или приказывал убивать? Жаль! Очень жаль! Вот это была бы сенсация, не правда ли, герр профессор?

От неожиданного вопроса Эстрайхер замигал, с помощью пальцев он что-то объясняет, подносит руки к ушам, разводит их, мол, не слышу, с ироничной улыбкой кивает на оркестр.

На эстраду выбегают мужчины в белых атласных костюмах с голубыми лацканами, в белых цилиндрах. Веселые, бодрые, оживленные, улыбчивые. Вот какими умеют быть немцы: радостные, несмотря ни на что, всегда превыше всего. При их появлении цыганский аисамбль заиграл еще громче. Моментами голос репортера исчезает совершенно, я вижу лишь шевелящиеся губы и взмахи рук иад нашими головами.

Судя по тому, что до меня доносится, он кричи изо всех сил:

— Они, бесспорно, были убийцами, убивали за письменным столом. И конечно, это весьма существенно, что Польша прислала свидетелей обвинения, бывших узников гитлеровских лагерей, но представьте себе эффект и одновременно правовую действенность своих показаний, если бы вы могли перед лицом Трибунала заявить: я видела, как обвиняемый Герман Геринг собственноручно застрелил человека. Я стояла в нескольких шагах от него, когда он вынул пистолет и выстрелил.

Голос пропал. Я кивнула головой, не имея желания перекрикивать оркестр.

Одетые в белые костюмы мужчины образуют на танцевальной площадке круг. Радостным жестом сдергивают цилиндры, держат их в вытянутых руках, улыбаются. Веселье охватило «Гранд-отель», все чаще раздаются одобрительный свист и крики «браво».

А ведь это только начало выступления румяных, полных оптимизма танцоров. Вдохновленные аплодисментами, они теперь уже тройками перебегают на новое место. Энтузиазм американцев не знает границ: ради такого стоило переплыть океан, принять участие в войне, сражаться, нести потери, даже поскорбеть над погибшими друзьями, чтобы потом наконец оказаться здесь, среди победителей.

— Значит, на вопрос судьи вам придется завтра ответить: нет! Никого из подсудимых я не знаю. Вижу их в первый раз.

Атласные мужчины, отбивая ритм, маршируют по залу, оркестр играет тирольскую польку, ударники отчаянно колотят по барабану.

«Мундиры их яркие туго застегнуты»,— в моих ушах упорно звучит Зулина песня.

— Запомни, детка,— каким-то изменившимся, хрипловатым голосом шепчет Себастьян Вежбица.— Это новое воплощение сверхчеловеков.

Я не заметила, как он подошел. Губы его кривятся в горькой усмешке.

Опять аплодисменты, зал бушует, заглушает оркестр, подхватывает ритм польки, которую здесь исполняют, точно боевой марш, и вместе с оркестром отбивает такт.

Я сижу вполоборота к эстраде, потягиваю холодную кока-колу и время от времени поглядываю через плечо, пытаюсь на фоне развлекающегося зала разглядеть измученные лица моих земляков.

— Сколько это будет длиться? — спрашиваю я у кого-то из соседей.

Себастьян коротко прыскает:

— Американцы очень любят немецкий цирк. Прямо обожают. Им надо каждый вечер показывать новую программу. Только вот директор цирка, Адольф Гитлер, поторопился уйти. Остались дрессированные единомышленники.

Отпив немного из высокого бокала, я верчу его в руках, наблюдая, как отблески света отражаются в темной жидкости.

— Я вообще не люблю цирк, особенно немецкий, да еще здесь, при таких обстоятельствах... Просто глазам не верю.

— Вот те раз! — Себастьян крепко ударил себя кулаком по колену.— Черт бы их побрал! Эти фрицы, оказывается, еще и велосипедисты. Дрессированные обезьяны в белых костюмах!

Действительно, из-за занавеса выкатились велосипеды. Выступление повторялось с самого начала, только теперь мужчины в белом, крепко держась за руки, крутили педали.

Профессор Эстрайхер закрыл глаза и зевнул.

Я наклонилась к его столику, чтобы он услышал мои слова.

— Честолюбивый народ и упорный. Диву даешься, как они выносливы.

Вежбица опустил горячую ладонь на мою руку.

— Дорогуша! Они завоевывают симпатию. Показывают нам, что они милые и нисколько не опасные. Это очень важно. Поэтому немцы стараются, как могут. А сегодняшние зрители, сотрудники Трибунала, завтра с утра будут корпеть над документами и будут вспоминать этих улыбающихся, старательных, заботящихся о наших развлечениях добрых немцах. Запомните: добрых немцах. Попробуйте доказать, что среди этих улыбающихся добряков были и есть убийцы.

— Слава богу — конец! — вздохнула я с облегчением, когда белые цилиндры, не переставая кланяться во все стороны, исчезли за занавесом.

Прелестная девушка, поднеся ко рту микрофон, объявила следующий номер. Ее никто не слушал. Усиливался гул голосов, выпитое вино делало свое дело.

Разговоры продолжаются, между столиками снуют официанты, на подносах позванивают бокалы. Разговоры становятся все громче, американский офицер пытается петь под аккордеон, но поет совсем не то, его друзья, забавляясь, тут же подхватывают песню.

Мелодия «Легкой кавалерии» борется с аккордеоном, нарастает общий хаос.

И вот над нашими головами поплыла чистая, уверенная в себе, победная и вместе с тем лирическая мелодия.

— Красиво,— улыбается в полумраке Себастьян.— Я бы узнал их на краю света по этой манере аранжировки. Сентиментально. Слезливо. Приторно. Сладко. Это называется: "Let's begin the beguine[1]".

— Американцы в восторге от этой программы,— откликается Грабовецкий.

— Я узнаю их всегда,— повторяет Себастьян.— Либо военный марш, либо сантименты.

Энтузиазм зала, действительно, проявляется с поразительным темпераментом. Все еще не утоленный, может быть, даже растущий голод развлечений заставляет мужчин аплодировать и шуметь.

— Чему тут удивляться,— говорит Себастьян.— Они вошли во вкус своих военных побед. Парни сытые, здоровые. Приехали из Канады, из Соединенных Штатов, Англии на французский берег. Английский главнокомандующий Монтгомери весьма хитроумно дал команду возводить бункера на южном побережье Англии и надул немцев. Союзники тем временем ударили по гитлеровцам совсем в другом месте, атаковали их с воздуха, с моря и с суши, пустив в ход бомбардировщики, истребители, парашюты, амфибии, лодки.

Мы внимательно слушали рассказ Вежбицы о высадке десанта. Его мощный голос перекрывал оркестр, играющий теперь совершенно тихо, мягко, почти шепотом; ритм отбивали танцующие пары, они со всех сторон вывалились на паркет и мерно покачивались в такт мелодии.

Из сверкающей трубы вырвался мотив, который предпочитали здесь всем прочим, который звучал, словно фанфары, призывающие живых:

Amour! Amour! Amour!

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

И все-таки репортер зародил во мне сомнения. Уже третий день я просиживаю в комнате для свидетелей, и у меня много, слишком много времени для размышлений. Пустые белые стены, и лишь американский солдат, часовой,

[1] Давайте начнем сначала *(англ.)*.

помогает мне коротать время, рассказывая о делах Трибунала. Часовые меняются каждый день, а обстановка все та же. Любой звук шагов в коридоре заставляет быстрее биться сердце, перехватывает дыхание. Когда же я наконец услышу скрежет ключа в замочной скважине? От мора, глада, огня и воды, а также от военных ассоциаций убереги нас, господи.

Ассоциации возникают непрерывно. Запах суда. Спертый, сырой и тошнотворный запах камеры. Щемящее беспокойство в животе, в мыслях. Идут! Снова приближаются шаги. Все громче и громче. Я поднимаю голову, шаги прямо у двери. Американский солдат жует жвачку так невозмутимо, словно находится на расстоянии миллионов световых лет от меня, он и не думает обращать внимание на звуки шагов, он просто не имеет представления о том, что со мной происходит.

Шаги удаляются. Значит, еще не сейчас. Облегчение и вместе с тем нетерпение. Сколько мне придется еще сидеть тут? Вот снова идут. Те же самые возвращаются. Может быть, на этот раз откроют дверь, чтобы вызвать меня в зал?

Сегодня туман. Наверное, все так же, как и я, зябнут и ежатся.

Мне надо восстановить прошлое. Но как? Одним только голосом, словами я должна объяснить, что такое Освенцим, Международному военному трибуналу.

Я опускаю голову и закрываю глаза.

И все-таки репортер Ганс Липман зародил во мне сомнения. Я долго обдумывала его доводы, и, хотя они не могли ни убедить меня, ни заставить пересмотреть мои представления, я все же должна помнить о том, что здесь суд и скамья подсудимых. Мостик между подсудимыми и Биркенау кажется очень длинным. Я одиноко стою на самом его краю и моментами начинаю бояться, что никто меня не услышит.

Мне надо хоть на время перестать думать об этом, отделаться от непрерывно возникающих ассоциаций. Я беру книгу в руки и затыкаю пальцами уши, чтобы не слышать даже звуков шагов в коридоре.

Читаю, но мысли не дают покоя. Может быть, репортер в чем-то прав. Я никогда не видела Ганса Франка, я никогда не видела Геринга, я никогда не видела Йодля. То, что я могу рассказать о преступлениях в лагере, можно определить как следствие их приказов. Обвиняемые, которые в самом начале процесса заявили, что считают себя неви-

новными, nicht schuldig, вряд ли признаются в том, что одобряли действия, которые в Нюрнберге назвали геноцидом.

Что он говорил мне, перекрывая шум оркестра?

— Прежде чем вы выйдете на трибуну и начнете давать показания, вас ждут долгие часы в комнате для свидетелей. Сколько? Кто знает, два, три, а может, и больше часов, с утра и до вечера. Только от вашей собственной психической стойкости будет зависеть ваше интеллектуальное и моральное состояние после такой боевой подготовки.

— А как же другие свидетели? Те, что выступали передо мной? — спросила я его тогда.

— И они тоже. Каждый ждал в отдельной комнате. Таков порядок.

Какую роль играет тут этот энергичный репортер Ганс Липман? Что такое психическая стойкость? Как сохранить ее во время этих томительных часов ожидания? У каждого из нас своя собственная, лишь ему данная стойкость. Психическая стойкость. Неизмеримая ценность, от которой зависит все: недолгое человеческое бытие на земле и понимание того, как ты сумеешь выдержать огромную тяжесть судебной процедуры, сможешь ли собраться с мыслями перед атакой специалистов, экспертов, советчиков, болтунов, опекунов, юристов, журналистов, вояк, одетых в американские, с иголочки мундиры. Игра в подобную войну. А может, Трибунал тоже игра?

Все мое внимание направлено на ожидание вызова, стараюсь держать в памяти самые важные истины, которые надо сказать непременно, но я отдаю отчет в том, что излагать их буду в телеграфном стиле и не смогу передать ни трупной вони бараков, где, лежа в грязи, девушки умирали даже от гнойной чесотки, постепенно распространявшейся по всему телу. Как рассказать о том, что там можно было умереть от чесотки?

Кто-то идет по коридору. Шаги все ближе.

— Наверное, это за вами.

В открытых дверях появляется Грабовецкий.

— Обеденный перерыв. И ничего хорошего. С опросом польских свидетелей дела обстоят пока невесело. Мы опоздали на целую неделю, и черт знает какое решение примет председатель Трибунала. До обеда удалось сделать лишь одну треть того, что намечено на сегодня.

— А что будет после обеда?

Грабовецкий махнул рукой.

— Продолжение. После обеда долго не работают. Я не

знаю, найдется ли время для польских свидетелей. Ваши показания перенесут на завтра или на какой другой день. Сегодня в повестке еще и процедурные вопросы.

— Значит, мне не надо все время торчать в этой комнате?

— Надо, надо. Вдруг вас вызовут неожиданно? Ведь у них в последний момент может образоваться какое-нибудь окно. Полчаса. А у вас вообще есть манера нарушать порядок. Я ведь просил в Варшаве, чтобы все сидели в коридоре Министерства юстиции. Тесно, ну так что поделать, конечно, тесно, в здании полно народу, но все же стульев там для всех хватало, да?

В его голосе слышалось еле сдерживаемое, вероятно, за несколько дней скопившееся раздражение. Он взял себя в руки, но ненадолго.

— Просил я вас сидеть в Министерстве юстиции и не вставать с места, пока не вернусь из паспортного стола? А вы исчезли, испарились, как призрак. Да, да, я помню, у вас был паспорт. Виктор Грош просил подготовить его срочно, в течение двух часов. И вы с удовлетворением извлекли его из своей сумочки. Но вы все равно обязаны были сидеть на месте. Прислушаться к моим распоряжениям, ни на шаг не удаляться из коридора Министерства юстиции.

Он поднял обе руки и замер в позе африканского божка.

— Места у вас тут предостаточно, и я рекомендую вам ждать до победного конца. Сейчас вы пойдете со мной обедать, а потом я снова провожу вас в комнату для свидетелей и оставлю под присмотром часового.

— Отвратительный харч,— сказал Грабовецкий, кривя лицо над тарелкой с томатным супом.— Обеденный перерыв слишком короток, обедать в «Гранд-отеле» мы не успеваем. Сегодня особенно нельзя опаздывать. Прокурор Буковяк, быть может, в любую минуту сумеет протолкнуть польских свидетелей. И что тогда? Кто, по-вашему, был бы во всем виноват? Разумеется, Грабовецкий.

Послеобеденные часы проходят. Сижу, словно зажатая в узкое ущелье коридора старого здания, в котором временно разместилось Министерство юстиции.

До меня доносится стрекот пишущих машинок. Возвращаясь с обеда, я заглянула в комнату прессы. Там тесно, словно в школьном классе, когда присутствуют все ученики. Корреспонденты со всего мира, склонившись над бумагами,

поспешио пишут. Дальмер поднимает голову, дочитывает последние фразы.

Снова камера для свидетелей. Часовой, очень благодушный поляк из Каиады, иачииает рассказывать какую-то длииииющую повесть. Я пытаюсь поспеть за его рассказом о вторжении союзииков во Францию, уважеиие к его иароду, иа который иемцы ие иападали, растет в моих глазах. Какой же это героизм — прийти иа помощь Европе, преодолеть океаи, потом Ла-Маиш, прыгать с понтонов в бушующие волны, брести по шею в воде под обстрелом немецких пушек — быстрей, быстрей, обходя минные заграждения, к берегу!

Во мне просыпается чувство благодариости ие столько за возвращеииую жизнь, сколько за возвращение веры в справедливость. Войиа закончена, теперь творится суд. Хочется верить, что это никогда ие повторится.

— Объедииеииые армии стольких страи,— говорит канадский солдат,— разгромили Гитлера. Пришел коиец концентрациоииым лагерям. Люди должиы обрести себя.

Я верю ему. Хотя еле держусь на иогах от усталости, хотя меия не отпускает жуткий страх, мие стаиовится спокойией, когда я слушаю рассказ простого солдата, который из-за океаиа приплыл спасать иас. Нас, узников Освеицима. И оиемечеииых детей. И приговореииых к умираиию. И подопытиых кроликов в Равеисбрюке. И женщин, участниц Варшавского восстания.

Солдат рассказывает о том, как его отряд спешил на помощь колоииам узииков, которых гнали подальше от линии фронта, убивали, уничтожали. Его рассказ тяиется бескоиечно, так же как тянется послеобедеииое заседаиие Трибуиала. Но зато я успокоилась. Показаиия надо давать. Обязательио иадо. Если мы хотим с кориями вырвать ядовитый кустариик, который распространился по Европе, мы должиы сделать все, что в иаших силах. В коридорах слышны шаги, Трибуиал все никак ие коичит свою работу. Я зиаю, что сегодня уже не понадоблюсь, мои мышцы болят от иапряжения, мие хочется кричать и повторять слова протеста, рассказ канадского солдата утомил меня, я, может быть, впервые после окоичаиия войны поняла, что мой прежний оптимизм исчерпался, что теперь мне трудно будет выиести пребываиие в комнате, которая, по сути, является камерой, чистой, аккуратной, белой, лишенной неиужиых предметов, камерой немецкого суда.

Эти дни навсегда останутся в истории народов. Слова «никогда больше» будут выбиты крупными буквами на

улицах Нюрнберга, на камнях, в мыслях молодых немцев, которые взбунтуются против истории, против политики германских воинов, против убийц-эсэсовцев, призраков, отравляющих собственную жизнь и жизнь всей Европы.

Я отвечу на все вопросы, как бы страшно это ни было. Мне и теперь уже кажется невозможным передать всю правду посредством слов, произносимых в зале суда, чем-то напоминающем вокзал или церковь, приемный покой, а может быть, склад восковых фигур.

Мне придется войти туда и отвечать на вопросы. Рассказать все своими словами. Я встану перед ними и расскажу, как через проволоку смотрела на кошмарные колонны грузовиков, нагруженных голыми женщинами, набросанными вкось и поперек, как дрова, в спешке, чтобы поскорее убрать штабеля покойников, освободить место. По дороге к крематорию двигались и двигались грузовики, прыгая на ухабах, и я видела, как резко подскакивали уже остывшие и одеревеневшие женские руки, как мерно покачивались обритые наголо женские головы. Нормальным людям все это может показаться невероятным, мерзким, и я тоже долго не верила, даже находясь в лагере, не верила, пока не обомлела при виде умирающих скелетов, обтянутых кожей.

Человек верит тому, что видел своими глазами. Попытки передать свои впечатления другому, как правило, бесплодны. Что, если я скажу, если промямлю, если прокричу, если поклянусь, что видела толпы людей из разных городов и деревень, которых день за днем, месяц за месяцем, год за годом гнали в газовые камеры? Что с того? И все же я должна дать показания и своими показаниями подтвердить, сказать более четко, чем свидетельствуют занесенные в протоколы числа, как это происходило, почему на сырой земле Силезии, между Вислой и Солой, успели уничтожить миллионы жизней.

Но что это значит — миллионы уничтоженных людей? Миллионы, превращенные в пепел, рассыпанный на полях, сброшенный в реки? Я бессильна. Миллионы людей — это абстракция. Звездная пыль. Песок. Их никто больше не увидит, не услышит их голосов, не войдет в их дома. Даже их фотографии, которые хранились вместе с паспортами, начали сжигать перед эвакуацией лагеря в январе 1945 года. Эсэсовец Першель лично наблюдал за тем, как свозили в огромную кучу гигантские картотеки, несколько дней внимательно следил за нами, пока мы не закончили эту работу, а потом сам поджег и позаботился о том, чтобы

сгорело все до единой бумажки. Теперь у нас февраль 1946-го. Документы, имена и фамилии, даты рождений, собственноручные подписи, фотографии, хранившие выражения лиц, адреса с разных сторон Европы — все это погибло в огне. Последний приказ гитлеровских властей, который на совесть выполняли эсэсовцы из Освенцима. Сначала уничтожили владельцев документов, отправили в газовые камеры эшелоны обнаженных людей, а потом уничтожили следы преступления. Завтра я должна буду оживить погибших, чтобы они встали рядом со мной, чтобы их молчание было протестом Европы, протестом французов, поляков, русских, голландцев, югославов, венгров, и протестом немцев.

Где-то далеко хрипло пробили часы. Я подсчитываю двойные удары курантов. Три-три. Четыре-четыре. Пять-пять. Американец сверяет свои часы и кивает головой. Да, пять часов. Сегодня меня уже не вызовут. Можно спокойно вернуться в гостиницу. Напряжение отпускает меня, черная волна ассоциаций отступает. Остаются пустота и подавленность.

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Я лежу с сильной головной болью. Все как всегда. У гостиницы шумят автобусы, каждую минуту кто-то отъезжает. Наверное, уже поздно. Надо собраться с мыслями. Нюрнберг? Процесс?

Огромная старинная кровать. Мягкая подушка. Множество мелочей, призванных самим своим существованием делать мою жизнь безопасной и удобной, перечеркивать правду о вонючих койках, о крысах, которые нападали на мертвых и на живых.

Может быть, сегодня я наконец буду давать показания. Как надо говорить? Как передать запах смерти, вонь нужды, омерзительность Durchfall'а? Как рассказать, какими способами уничтожили такое невероятное число убитых в одном лагере? Что это значит — штабеля узников? Это нереально. Как передать тошнотворную слабость, испытываемую при виде убивания человека, который мог жить еще долгие годы? Нарушены законы существования — мы стоим на морозе, среди метели, мысли становятся все короче, воображение ржавеет, мы на краю пропасти, через мгновение каждая из нас может оказаться втоптанной в грязь, превращенной в туман. Девятнадцатилетние немецкие девушки, одетые в мундиры СС, умеют

одним окриком, одним ударом хлыста рассечь туман, который нам казался жизнью, ароматом яблок, цветами подсолнухов.

Рассказать об этом Трибуналу. Сделать это так, чтобы остановить лавину. Это невыполнимо: то, что было сутью концлагеря, невозможно выразить словами.

В помещении для свидетелей тишина. Мои собственные вздохи удручают меня. Время остановилось на первой минуте: полное ощущение, что сломались часы. Среди этих белых стен в моих висках бьется боль, появляется уверенность в собственном бессилии.

В середине дня заглядывает часовой, солдат из Канады, тот самый, что дежурил вчера. Он обращается ко мне непринужденно, словно мы старые школьные друзья.

— Да что вы! — машет он рукой.— Наверняка еще ни сегодня, ни завтра польских свидетелей допрашивать не будут. Может, через недельку, а может, и никогда! Что вы! У них там дела поважнее. Тут в Трибунале такое делается, что в голове не помещается.

Он протянул мне руку с блестящей пачкой сигарет. Коричневый верблюд на ней такого теплого цвета, что я бы не удивилась, увидев, что он жует жвачку.

— «Кэмел», они совсем легкие,— говорит он.

— Я не курю.

— Вы знаете, нужно все попробовать,— настаивает он добродушно.— В этом и состоит жизнь.

Я взяла сигарету, понюхала ее, развлекаясь, повертела в пальцах.

Сладковатый аромат табака нравился мне гораздо больше, чем запах гари.

— Когда вы дадите показания, вам наверняка, как свидетелю, разрешат находиться в зале заседаний. С пропуском, разумеется. Пропуск этот вам все время придется держать в руках, ведь для того, чтобы войти в зал, его надо предъявлять черт знает сколько раз. У каждой двери, на каждой лестнице — янки проверяют, кто идет.

Я снова понюхала сигарету. Улыбнулась. Поляк из Канады, который, скорей всего, был моим ровесником, казался мне наивным ребенком. Большой упитанный ребенок стоял возле меня сосредоточенный и серьезный.

— Я уверена, что, доведись вам пережить эту войну в Европе, вы поставили бы еще один контрольный пост у входа в зал заседаний. Пусть янки проверяют.

Он прицелился в меня пальцем.

— Святые слова! Ни убавить, ни прибавить. Но тут

и пятьдесят контрольных постов не помогут. У них тут способы, которые нам и не снились.

Его васильковые глаза блестели.

Очевидно, ему хотелось произвести на меня впечатление своей осведомленностью.

Я сидела на низеньком стульчике и снизу смотрела на толстощекого, возбужденного разговором солдата из-за океана.

— Проверять-то они проверяют,— сказал он.— Ни я и никто из нас не сможет войти в зал без пропуска. Я вам точно говорю.

— Ну да,— согласилась я,— везде стоит охрана. И днем, и ночью.

— А жена генерала Йодля все-таки туда пролезла,— сообщил он с радостью хорошо осведомленного человека.

— Вы шутите! Ей удалось проникнуть сюда? В здание Международного военного трибунала?

— Если бы только проникнуть! Фрау Йодль работала здесь, да будет вам известно. Работала и получала зарплату за свою энергичную помощь.

— Невозможно!

— Это факт! Она была секретаршей одного из адвокатов, защитника ее мужа.

Я вытерла лоб.

— Бросьте! Это же сказки.

— Да я вам говорю: адвокат Экснер, защитник генерала Йодля, сам выбрал себе секретаршу. Ясное дело, кто-то должен был отбирать для него документы из всей кипы бумажек. А вы небось догадываетесь, до чего интересные бумажки тут встречаются? Например, знаменитый приказ об убийстве советских военнопленных, подлинник с собственноручной подписью генерала Йодля.

Для чего ты говоришь мне это? — думала я, глядя на розовощекого солдата с васильковыми глазами. Если через все сита проверок сюда пролезла фрау Йодль и в качестве сотрудника Трибунала рылась в этих горах фотокопий, записок, рапортов, скоросшивателей, то кому нужны наши показания?

Парень в американском мундире следил за впечатлением, которое произвели его слова.

— Я вам говорю,— продолжал он.— Я вам говорю! Куда легче подписать акт о капитуляции, чем на самом деле капитулировать. Они отнюдь не капитулировали. Отнюдь!

Мне стало зябко. Слишком долго я жду в комнате

для свидетелей, слишком быстро растут во мне сомнения.

— И кто в конце концов опознал фрау Йодль? — спрашиваю я, стараясь заглушить усиливающуюся тревогу.

Гордостью светятся глаза часового, и это помогает мне успокоиться. Именно так смотрят победители.

— Справились. Приехал сюда из США новый комендант Нюрнберга, сторонник политической линии Рузвельта, и с ходу ввел свои порядки. Первым делом генерал Уотсон велел отобрать у фрау Йодль удостоверение сотрудника Трибунала. Но это еще не все.

Глаза часового блестят, будто он рассказывает ковбойский фильм. А я, вместо того чтобы окончательно успокоиться, чувствую, как меня начинает бить дрожь.

Напряжение отпускает лишь на минуту, когда куранты начинают мелодично выбивать: два-два... три-три... четыре-четыре... пять-пять... шесть-шесть... и так до одиннадцати.

Солдат продолжает свой рассказ:

— Уволили еще двух других немцев — сотрудников Трибунала, поскольку они были членами гитлеровской партии. Эрна Меркель исполняла тут обязанности секретаря у адвоката Бабеля, который защищает организацию СС. А секретарем защитника Риббентропа был доктор Шулеман, он оказался не только членом гитлеровской партии, но и шарфюрером гитлерюгенда.

Он прислонился к колонне. Я молчала, внимательно глядя на него.

— Ну и что? — выдавила я наконец из себя.— Теперь мы можем спать спокойно? Мы — вся Европа? Весь мир?

На минуту наступила тишина — словно мы вовсе перестали дышать. Потом солдат оглянулся и зашептал, понизив голос:

— Но генерал Уотсон успел еще кое-что сделать. Он снял начальника тюрьмы, той самой, где содержатся подсудимые. За железными стенками, в одиночных камерах, день и ночь под наблюдением,— казалось, их хорошо стерегут. И знаете что?

Он щелкнул пальцами и рассмеялся, как мальчишка.

— Начальник нюрнбергской тюрьмы, почтенный господин, работал на этой должности тридцать лет. И, разумеется, состоял в гитлеровской партии. Представьте только, он знал все установленные тут сигнальные системы, секретные механизмы, которые, если нажать на определенную кнопку, раздвигают одни решетки и перекрывают другие. Это могло быть большим сюрпризом для людей,

находящихся во вверенном начальнику здании. Он знал потайные ходы, запасные коридоры. Эта гитлеровская тюрьма просто игрушка! Но генерал Уотсон, как только приехал, вырвал игрушку из рук эсэсовца. Хотя это кое-кому не понравилось.

Зачем ты мне это говоришь? — снова подумала я. Зачем ты будишь во мне страх, от которого я почти отделалась?

— Этот гитлеровец, начальник тюрьмы, мог в один прекрасный день,— говорит, изумленно вскидывая брови, часовой,— решить, что Герингу, Гессу, Риббентропу, Гансу Франку и прочим убийцам пора с почестями выйти на свободу. Правда?

Я сжала зубы.

— На пустые скамьи он посадил бы совсем других. Но, знаете, генерал Уотсон мигом убрал его.

Мысленно повторяю: зачем ты мне это говоришь?

— К сожалению, генерала Уотсона вскоре отозвали в Соединенные Штаты. Он только успел перед отъездом ввести новые правила и точные предписания, касающиеся содержания заключенных. И добился тщательной проверки тех, кто получает пропуск в зал. Или возьмем, например, корреспондентов. Ничего не скажу, работают день и ночь. Но разве нужен им этот процесс? Они и без него знают, что написать. Вот вчера вечером я видел у одного на столе уже отпечатанный на машинке материал. Да и название интересное: «Польский день в Нюрнберге».

Я громко рассмеялась. В комнате для свидетелей смех мой отскочил от стен странным эхом. Раздался какой-то ненужный шум.

— Это журналист из Вены? — спросила я, почти не сомневаясь.— Тот, от которого за версту несет лавандой?

— Точно! Именно он. Понятно, хочет всех обогнать. Сразу после ваших показаний добавит парочку фраз или, наоборот, что-нибудь выкинет и тут же передаст свой репортаж в газеты.

Зачем ты говоришь это мне? — думаю я. Ты лишаешь меня остатков веры в то, что мои показания имеют хоть какой-то смысл.

— Они тут устроили для себя конкурс. Скачки к телефону.

Я не могу с ним спорить. Мне нужно удерживать в памяти события и наблюдения, о которых я расскажу как свидетель. И вдруг я нарушаю свой собственный запрет

— В Нюрнберге впервые употребили юридический

термин «геноцид». Вы еще убедитесь: ни один король, ни один маршал, премьер, президент не станет рисковать своей шкурой. Кому охота сесть на скамью подсудимых по обвинению в геноциде? — объявляю я.

Молодой канадец покачал головой.

— Если бы вы оказались правы. Мне бы так не хотелось получить еще раз повестку.

## ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Наконец-то! Сейчас я буду давать показания перед Международным военным трибуналом в Нюрнберге.

Мне страшно. Нет, подсудимых я не боюсь, но не могу собраться с мыслями, все помню, конкретные события, происшествия, но где найти слова, определения, которыми удалось бы убедить Трибунал, этих чистых, отдохнувших, тщательно выбритых мужчин, главная черта которых — уравновешенность и спокойствие. Уравновешенные судьи и обвинители согласились (по предложению наших и советских юристов) опросить двоих свидетелей из Польши. Райсмана и меня. В сущности, обвинительный акт уже готов и приговор можно вынести без наших показаний, но судьи приняли во внимание доводы польской стороны и согласились с ее предложением.

Таким образом, на нас лежит какая-то ответственность. Или не лежит? Скоро это выяснится. Через несколько минут.

Мы предстанем перед лицом правосудия, бессильные изменить те навсегда врезавшиеся в нашу память события, такие же беспомощные, как были тогда, перед насилием. Бессильные защитить нерушимые формы бытия на плохо устроенной планете, заселенной существами, не приемлющими сценария, по которому им придется действовать, бессильные перед Освенцимом, бессильные перед Хиросимой, перед любыми формами террора. Бессильные перед дождем. Бессильные перед громом. Бессильные перед тайфуном. И перед собой.

Кругом гомон обеденного перерыва, постепенно все возвращаются. Наспех пообедали в столовой Трибунала — трапеза армейская и одновременно типично американская: по мере продвижения подносов вдоль стойки бара на них с размаху шлепаются соус терракотового цвета, коричневое жареное мясо, морковка, в углубление попадает салат,

в угол — десерт, все это раздают повара в ослепительно белых колпаках, к ним тянут подносы, кто с удовольствием, кто с гримасой отвращения вдыхая крепкий запах жареного сала, помидоров и приправ.

Я отодвинула свой поднос, ни к чему не притронувшись. Внутреннее напряжение совершенно лишило меня аппетита. Вдруг подумалось, что год назад такая порция была бы бесценным сокровищем для нескольких изголодавшихся узников лагеря. Я улыбнулась повару и быстро вышла из столовой.

С закрытыми глазами слушаю, как колотится сердце. События, о которых мне предстоит сейчас говорить, кажутся мне далекими, как чужая галактика.

Я слышу шаги, все больше шагов в коридорах, со всех сторон. Конец перерыва. Двери бесшумно распахнулись передо мной, и я увидела небольшой зал с панелями и резьбой из темного дерева. Здесь пока пусто. Только журналисты заняли свои места.

Мне страшно. Дар небес, смелость, на этот раз абсолютно изменяет мне. Мне хотелось бы держать сейчас в ладонях горсточку собранной там земли, чтобы черпать из нее сверхчеловеческую силу, которая, быть может, помогла бы мне отвечать на вопросы суда. Я сознаю всю трудность своей задачи. Показания дают только двое из четверых приглашенных из Польши свидетелей. Сначала отпал Юзеф Циранкевич, отозванный по телефону из Праги, где у нас была вынужденная задержка после вынужденной посадки. Какая жалость! Именно он, бывший узник Освенцима, мог бы пополнить силы нашей группы. Я возмущена. Неужели государственные дела не могли подождать несколько дней? Циранкевичу сказали перед отлетом, что его отпускают всего на несколько часов, необходимых для того, чтобы дать показания, после чего ему следует срочно возвращаться. Но кто мог предвидеть сложности с метелью, которая превратила самолет в болтающийся на ветру над пропастью вагончик фуникулера? Неужели там, в Варшаве, не могли никем заменить его?

А второй свидетель? Крупный эксперт, директор исторического института, человек, разбирающийся в проблематике гитлеровских лагерей. Мне знакома лишь действительность Освенцима, он же собрал обширнейший материал, выслушал рассказы множества свидетелей, занимался проблемой влияния концентрационного лагеря на человеческую психику. Сам он не был узником лагеря, и по этой причине Международный военный трибунал отвел его

кандидатуру как свидетеля. Ничего нельзя теперь изменить, два места из четырех мы потеряли.

Ни Райсман, ни я ни в коей мере не можем заменить тех двоих, чье отсутствие я воспринимаю как жестокую обиду.

Несколько дней меня продержали в комнате для свидетелей, вдали от судей, подсудимых, защитников, чтобы у меня не было возможности вступить в контакт с кем-либо, в особенности с Райсманом, чтобы мы с ним не смогли согласовать, какого цвета была грязь в Освенциме и в Треблинке, какой удельный вес имел дым из крематориев, оседающий на лагерную рощу, и какой — дым, расползающийся по крышам бараков и по земле. И в этом весь смысл изоляции свидетелей перед дачей показаний.

И вот теперь я стою у распахнутых дверей зала заседаний и знаю, что с минуты на минуту меня вызовут.

Расстояние между мной и пока еще пустыми скамьями подсудимых всего несколько метров, но дистанция эта кажется громадной, непреодолимой для тех, кто в годы оккупации задумался о возможности дожить до конца войны. Огромное колесо прокатилось по земле, одних придавило, других лишило привычных представлений о жизни.

Что мне мешает? В памяти звучат услышанные вчера вечером горькие, ироничные, тревожные слова капитана Вежбицы, солдата, удостоенного самых высоких наград за храбрость, сметливость и героизм в борьбе с оккупантами. Почему же теперь он не верит в смысл Нюрнбергского процесса? Со странной улыбкой он повторял:

— Да-а-а! Учись, детка! А завтра смело взойди на трибуну для свидетелей и говори! Забудь о танцах в «Гранд-отеле», забудь о веселом, бурлящем вокруг нас братании, взбудоражь судей, обвинителей, защитников и подсудимых, докажи журналистам всего мира, что здесь решаются проблемы, определяющие будущее каждой страны, тебя вызвали, чтобы ты рассказала правду, и только правду; это так просто — ты видела, вот и расскажи. Найди слова, которые дойдут и до всех остальных, здоровых и отдохнувших, которые прожили свои военные годы далеко отсюда и совсем иначе, а теперь изумляются, не верят нам, не смогут поверить тебе, что, впрочем, естественно, ты понимаешь это лучше всех: в это трудно поверить, нормальный человек имеет право сомневаться в том, что такое могло быть. Поймай пальцами воздух, сожми его в ладонях и расскажи, что там он пах паленым.

Призови в свидетели абстракцию, убеди собравшихся в зале суда, что твоя память зафиксировала подлинный фрагмент жизни, не бойся, им еще не настолько надоел этот процесс, как можно бы было ожидать. Учись, детка! Жизнь стоит того, чтобы ты отнеслась к ней с интересом. Нюрнберг! Еще один «партайтаг». Будем надеяться, что на этот раз последний.

Все вздрагивают. Открываются двери за скамьей подсудимых. Темное пространство еще с минуту остается пустым, слышен нарастающий шум шагов: циркачи Адольфа Гитлера приближаются. При виде их не только Европа, но и далекая Америка уже несколько лет повторяют слово «позор»! Позор им! Позор общественному организму, который не сумел вовремя освободиться от черной оспы, позор всем нам, людям земли, которые не умели жить, позор потенциальным заговорщикам, которым не хватало решимости.

Шаги совсем близко. Я не спускаю глаз с распахнутых дверей за скамьей подсудимых.

Вслед за американскими солдатами входят высшие сановники германского государства или, скорее,— это бросается в глаза сразу — призраки сановников, с трудом волочащие свои увядшие тела. Одни в выцветших мундирах без знаков различия, другие — в гражданских костюмах.

Подсудимые! Главные военные преступники! Символика, принятая в их организациях, используемая как элемент униформы, символика смерти, явственно говорит об их интересах, о том, в чем они любили копаться, что составляло дело их жизни, жизненную программу. Череп, скрещенные кости — этот знак они поместили на своих головах, над глазами, постоянно ищущими все новые жертвы! Внимание! Хищники, опасные для окружающих, угрожают жизни на земле! Их надо остерегаться. Объявить недееспособными, как только появится первое увенчанное таким символом существо. Пещерный мозг получил всестороннее развитие, впитал науку, знание химии, физики, стратегии; страсть к убийству осталась могучей и неизменной, Адольф Гитлер вспаивал и вскармливал ее.

Я все еще стою в глубине коридора и рассматриваю по очереди каждого входящего гитлеровского сановника, а мысли, сменяя друг друга, одолевают меня: неужели до этих мужчин не дошла простейшая истина о том, что все течет, все проходит, исчезли бы и они, Геринг, Гесс, Риббентроп, Кальтенбруннер, Франк, адмирал Дениц, исчезли б люди, которых подсудимые умерщвили своими

безумными приказами, ушли бы естественно, вырастив деревца, прожив долгую или короткую, но всегда слишком быстро исчезающую жизнь, совершив свои малые или великие деяния, научные открытия, сочинив музыкальные произведения.

Подсудимые еле идут. Их утомили тюремные стены, месяцы процесса, который тянется еще с осени, весь октябрь, ноябрь, декабрь и январь. Февраль в Нюрнберге попеременно то морозный, то снежный, то солнечный. Я помню это ощущение остановившегося времени, когда его неподвижность становится такой же опасной, как остановка моторов повисшего высоко над землей самолета. В лагере мы вкусили это ощущение в полной мере.

Когда они наконец заняли свои места, представитель советской делегации, помощник главного обвинителя Смирнов, попросил суд заслушать свидетеля из Польши.

— Мы хотели бы задать только один вопрос,— энергичным голосом продолжал полковник Смирнов,— он касается положения детей в концлагерях.

Мне жаль, что проблема настолько заужена, но не в моих силах это изменить. Было решено, что поскольку Мари Клод Вайян-Кутюрье, бывшая узница Освенцима, несколько месяцев тому назад уже достаточно подробно описала положение женщин в концлагере Аушвиц-I, то суд удовлетворится этим объемом информации. Мне оставлена детская проблема. Я знаю, почему вопрос построен именно таким образом. Защитники гитлеризма выкручиваются с помощью самых удивительных аргументов и, в частности, используют этот: утверждают, что немцы применяли террор только к взрослым, сражающимся, вооруженным людям. Krieg ist Krieg[1].

Современный пещерный человек признает право убивать, стоит только одному из цивилизованных дикарей затрубить в боевой рог, отменяя запрет на охоту за человеком. Да. Но я не признаю этого закона войны, как не признают его миллионы родителей, у которых убили детей. А миллионы физически и психически искалеченных сирот обречены на ущербную, неполноценную жизнь, не на ту, для которой они родились. Мой протест против убийц, мои показания, данные здесь, перед Трибуналом, наверняка поймут и поддержат солидарные со мной люди, большинства из которых я никогда не видала и не увижу. И все же мы составляем силу. Интернационал прогресса,

[1] Война есть война *(нем.)*.

понимаемого иначе, чем прогресс в области все более изощренных и действенных способов убийства. Поэтому я приехала сюда, и поэтому я должна, несмотря на строго ограниченную постановку вопроса, сказать хоть малую часть того, что должен услышать первый в истории человечества Трибунал, разбирающий вину главарей мощного и наглого государства.

Председатель выразил согласие.

Меня вызвали к трибуне для свидетелей. Служащий суда, маленький и усохший, на пороге к проходу остановился, вытягиваясь по стойке «смирно», а когда я проходила мимо, энергично взмахнул рукой, указывая направление. Всей своей напряженной позой, сведенными бровями, сжатыми губами, выражением глаз он словно бы приказывал мне молчать в ответ на вопросы суда, не говорить ни единого слова.

Подсудимые уже сидят на своих местах. Равнодушные, похожие на уставших от долгого лечения в психиатрической клинике для неопасных безумцев, сутулые, дряхлые, с обвисшими щеками, пригибаемые тяжестью собственных плеч, некоторые даже, как, например, Шахт, с полуоткрытым ртом, с опущенными, как в полусне, веками. Оживлен только Геринг — хотя он тоже слегка посерел и напоминает старую шину, из которой выпустили воздух,— он театрально реагирует на все происходящее, играет какую-то свою последнюю роль, то хватаясь за край пюпитра, то резко поворачиваясь всем телом в сторону возвышения для свидетелей, и быстрым взглядом изучает свидетеля обвинения, женщину, которая пережила Освенцим. Пережила Освенцим! Смотрите, смотрите! Брови рейхсмаршала изумленно вздрагивают. В рыбьих глазах гнев. Его мясистые ладони, короткие пальцы стискивают деревянный край скамьи. Скамья подсудимых не внушает мне страха. Обезвреженные. Бессильные. Лишенные кошмарной силы, которая давала им возможность одним росчерком пера обрекать на смерть и простых, и гениальных людей, уничтожать целые семьи, целые деревни, целые города, целые государства Европы.

Теперь известно: они этого больше не смогут повторить. Сообщники Гитлера превратились в ничто, мир узнал им цену еще во время войны. Мир осудил их, а наказание, которому их подвергнут, станет предостережением для королей и правительств, если они вздумают начать агрессию.

Служащий закрыл двери за мной. Он сделал это почти

бесшумно, раздался всего лишь легкий щелчок, словно кто-то переломил прутик или зарядил револьвер. Я резко оглянулась. Нервно вздрогнула. Может быть, мне все же надо быть начеку, следить за подсудимыми, вдруг они выскочат, сожмут когтями мою шею, убедят меня в том, что ничего не кончилось, не кончится никогда.

Старый служитель стоит на пороге, опираясь плечом о косяк. Сколько людей ввел он в этот зал за годы своей работы? За что их судили? Всем своим видом и поведением он проявляет серьезность опытного судебного служаки, который начал работать здесь наверняка еще в довоенные годы. А во время войны? Что делал тогда этот маленький человечек со сжатыми губами?

Я замешкалась на пару секунд, прежде чем подняться на возвышение. Сперва оглядела стоящий слева судейский стол, подальше, прямо напротив,— места для корреспондентов со всего мира, в глубине зала — маленький балкон для публики, он уже полон.

Подойдя к возвышению, я продолжаю наблюдать за скамьей подсудимых, полной неподвижных, осоловевших мужчин, вконец измученных попыткой публично перечислить все совершенные ими за годы войны преступления.

Возвышение для свидетелей стоит на виду, так же как судейский стол и скамья подсудимых, я стою и жду вопросов, продолжая свои наблюдения.

Что я скажу? Как воссоздам то, что невозможно облечь в слова, что не смог выразить крик убитых в газовых камерах и на улицах городов, в лесах, в маленьких укромных уголках и на полях сражений? Я собрала силы, стараюсь собраться с духом, с каждой секундой растет во мне чувство ответственности за слова, которые предстоит сказать, раз уж меня вызвали из Польши свидетелем обвинения.

Слушай, Нюрнберг! Этот суд призван решить вопрос о будущем земли, стать предостережением, преградить дорогу маньякам, которым захотелось бы повторить безумные деяния Гитлера. Я должна объяснить здесь, в этом зале, чистом, хорошо натопленном, где сидят нормальные, умеющие себя вести, сытые люди, чем был Освенцим. Для чего его организовали. Как разрастались побеги психических аномалий, мозговых опухолей немецкого народа, прежде дремлющих наростов, подавляемых влиянием семьи, школы, воспитания, искорененных после Тридцатилетней войны, после первой мировой войны, внешне исчезнувших и все же живых, затаившихся, спрятавшихся в

глубине чьей-то нервной системы, словно семечко ядовитого растения: оно начинало давать всходы, на него падали приказы о пытках, вероломных обманах, истязании голодом, помыкании, заливании гипсом ртов обреченных. Может быть, на протяжении веков ждало это семечко своего часа, и именно Дахау, Освенцим, Ораниенбург дали ему возможность пышно расцвести. Ад. Дело рук человеческих. Объясни это лаконично за несколько минут показаний, ты ведь умна, говорят, ты умна, ты думаешь, ты ясно сознаешь, сколько подобных выступлений пережил уже этот Трибунал, заседающий здесь с осени сорок пятого года.

Скоро наступит весна, идет сорок шестой год. Сейчас дни праздничного карнавала, и сегодня вечером, если тебе захочется, ты сможешь увидеть танцевальное ревю, такое же замечательное, как ежедневно, чтобы отдыхали служащие Трибунала. Еще только несколько часов работы...

В движениях судьи сквозит усталость, рука медленно переворачивает страницы, веки покраснели и отекли: это понятно, тут бы никому не хватило сил. Сколько можно слушать о все более экономных и совершенных методах умерщвления людей газом, об отравлении узников в закрытых помещениях выхлопными газами грузовиков, о бросании детей в огонь крематория, о непонятной немецкой изобретательности, направленной на то, чтобы короткую, бессмысленно короткую, естественную жизнь человека оборвать внезапно, помогая природе, которая сделала бы это и без помощи гитлеровцев.

— Назовите свое имя и фамилию.

Я говорю тихо. Едва слышу собственный голос. У меня абсолютно пересохли губы.

Штабеля безымянных тел. Голых. Они валяются, словно стволы деревьев, срубленных, окоренных и брошенных каким-то дровосеком. Никогда ни один трибунал не сможет представить себе, что это значило в Биркенау — изо дня в день смотреть на растущую груду трупов, порой присыпанных снегом или покрытых серебристым инеем. Безымянные женщины, безымянные дети. Безымянные мужчины, которых сжигали каждый день все больше и больше, по мере совершенствования техники.

— Пожалуйста, повторяйте за мной слова присяги.

Я говорю громко и выразительно, что здесь на суде скажу правду, одну только правду, не скрывая ничего из того, что знаю.

К сожалению, я скрою очень много. Ведь тогда мне



7—1203

придется воссоздать в памяти весь тот кошмар, который здесь не нужен, поскольку меня будут вести за ручку вопросами, относящимися только к детям. Может быть, Трибунал все-таки преждевременно отказывается допросить группу свидетелей, способных сообща восстановить страшное прошлое.

— Вы полька?

— Да.

— Когда вас арестовало гестапо?

— В июле 1942 года.

— Занимали ли вы в Освенциме какую-нибудь должность?

— С самого начала и до конца я была занята физическим трудом.

— Ваша профессия?

— Когда началась война, я была студенткой.

— Как свидетельница может доказать, что она бывший узник Освенцима?

Неуверенным движением я кладу правую ладонь на левый рукав.

— У меня здесь вытатуирован номер,— говорю я, слегка смущенная вопросом.

— Видели ли вы когда-нибудь своими глазами, как люди из организации СС убивали детей?

— Да.

— Расскажите нам, как это происходило.

Я слышу свой незнакомый голос.

Я рассказываю о детях, родившихся в концентрационном лагере. И о тех, которых привозили в еврейских эшелонах. О детях, которых сразу отправляли в газовые камеры. И о их ровесниках в бараках Биркенау.

— Простите, пожалуйста.— Прокурор Смирнов поворачивается в мою сторону.— Разрешите я перебью вас? Значит, вы находились в Биркенау?

— Да. Биркенау являлся частью Освенцима, расположен в трех километрах от основного лагеря. Иначе его называли Освенцим-два.

— Продолжайте, пожалуйста.

Говори. Расскажи им хотя бы тот навязчивый сон, который преследовал тебя во время сыпного тифа; реалии этого сна были бы для судей и корреспондентов (особенно тех, что не видели гитлеризм вблизи) столь же туманными, как пережитые и увиденные в Освенциме события, о которых спрашивает тебя прокурор. Каждую ночь, когда я металась в тифозной горячке, мне снился дом на Парко-

вой улице и возвращение к близким. Тут-то и начинался тифозный бред. Немцы изменили все, об отдыхе не было и речи, никто на свете уже не спал, как прежде, в постели. Существовали исключительно «койки» — длинные, как гробы, узкие и глубокие щели высоко в стенах, похожие на ящики или катакомбы, а больше всего на общие освенцимские лежбища. Я не могла найти свою домашнюю кровать, оставался только один выход: вползти в стену, в странное углубление и спать там без воздуха, в узкой расщелине с ногами или головой, торчащими наружу. Быть колышком, вбитым в стену, забыть о человеческих потребностях и привычках.

Попробуй объяснить суду, корреспондентам, защитникам, что поселило в тебе страх, почему немцы отменили все, даже испокон века свойственную человеку систему ночного отдыха и даже тихий дом на Парковой улице.

Я сжимаю ладонями край пюпитра, собираюсь с силами, меня одолевают призраки освенцимских рассветов. Я подыскиваю слова; но слова онемели, утратили свое значение, в мире нет определений, которыми можно было бы воспользоваться в этой ситуации, представить Трибуналу факты, восстановить атмосферу событий, перечислить, сколько матерей умирало от отчаяния, думая о детях, оставшихся в оккупированной стране. Как я смогу в кратких показаниях передать все то, что я видела каждую освенцимскую ночь и каждый освенцимский день? Сюда должна прийти толпа: из всех тюрем, из всех лагерей, со всех мест казней. Одно лишь перечисление этих мест заняло бы больше времени, чем отведено нам двоим для дачи показаний.

Сжатые на пюпитре пальцы побелели. Обвинитель Смирнов терпеливо ждет, председатель Трибунала пододвинул к себе черную папку, взял в руки карандаш. Неужели он действительно автор шутки, десятки раз повторенной потом в Нюрнберге: когда один из юристов положил на судейский стол новую кипу документов о гитлеровских преступлениях, председатель удивленно поднял брови, а потом обратился к своему соседу и довольно громко, его слова услышали корреспонденты, стенографисты, охрана и, может быть, даже подсудимые: «Гм... Если так пойдет дальше, нас скоро не будет видно за горами бумаг...»

Я предпочла бы не знать об этой шутке перед своим выступлением.

Полковник Смирнов поднимает голову.

Его внимательный, озабоченный взгляд напоминает мне о том, что я должна отвечать. Говорить. Для этого меня вызвали. Если бы я высыпала на судейский стол горсть песка, собранного в любой части Биркенау, Трибунал, может быть, сам смог бы установить, пепел скольких убитых детей, женщин, мужчин смешан с этим песком. Голоса этих людей, цвет глаз, рост, внешность, способности, талант, черты характера, увлечения. Кто сможет это узнать сегодня? Кто вызовет их сюда, на суд? Кто на основании моих слов хоть на долю секунды окажется в лагере, чтобы увидеть, как по ночам людей выгоняли из бараков на перекличку?

Я рассказываю о беременной женщине, которая тащилась вместе с нами десять километров от Биркенау и весь длинный декабрьский день на морозе в метель копала ров. Почему именно ее выбрала я из множества людей? Это был первый человек, носящий в себе новую жизнь, которого я там встретила, глядя вокруг невидящим от слабости после сыпного тифа взглядом. Мне было больно от ударов, которые получала она, от издевательств эсэсовцев. Она работала до самых последних минут. И родила для того, чтобы ее ребенок был сразу же уничтожен.

В начале тысяча девятьсот сорок третьего года начали татуировать новорожденных, как и взрослых узников, но номера им проставляли на бедрах.

— Почему на бедрах?

— Потому что на предплечье новорожденного младенца слишком мало места для того, чтобы вытатуировать пятизначное число. Детей не регистрировали отдельно, им давали порядковые номера, как и взрослым. Такая нумерация, без выделения детских групп, давала возможность полностью скрыть, сколько их было. Сегодня никто не сможет установить, какое количество младенцев и малолетних узников Освенцима было убито.

Корреспонденты зашевелились. Словно узнали поразительную новость, о чем не имели понятия.

Дети, татуированные в гитлеровском концлагере! Дети с номерами на бедрах!

Сенсация, достойная занять место в передовице любой газеты. Разумеется, в мировой прессе об этом упоминалось, наряду с информацией о самых блестящих балах, спортивными новостями, наряду с описаниями дипломатических визитов, государственных переворотов и ограблений крупнейших банков. Современный человек ежедневно поглощает порцию газетных пилюль, и у него не расстра-

ивается желудок. Разве только время от времени снится дурной сон. Порой не может заснуть до утра.

Мне мешает говорить сухость во рту. Сиплым голосом я рассказываю о беременных женщинах, привозимых в Освенцим из разных стран Европы; рассказываю о родах, свидетельницей которых была, лежа в тифозном бараке, где сыпняк убивал младенцев, помогая эсэсовцам в деле уничтожения. Я вижу вытянутую низкую кирпичную печь, построенную посредине барака, вижу немецкую медсестру Клару, я не рассказываю о мелких деталях, о том, что смотрю с верхних нар на роженицу, которая кусает пальцы, чтобы не выть от боли... Я опускаю то, что малосущественно, хотя тогда я впервые в жизни видела, как человек появляется на свет. Клара, стоя на коленях на печи, давит, жмет на живот женщины, вокруг обритые головы больных, вокруг сыпной тиф, флегмоны, воспаления легких, понос, ангина, на нарах по две, а то и по три узницы с высокой температурой. Они не могут оторвать глаз от происходящего. Только покойницы да умирающие уже ничем не интересуются.

Ветер заносит сквозь дыры снег, он падает на одеяла, на лица, на обритую голову роженицы. Ее звериный вой все громче и громче, ее нечленораздельные вопли, ее крик все усиливаются. Под ловкими руками медсестры через минуту зайдется в первом крике человек. Он и его мать в тот же день будут отправлены в газовую камеру, камера рядом, за проволокой, близко, так близко, что не возникает сомнений, что они будут отправлены именно туда. Их задушит газ циклон, используемый великой пещерной личностью для более важных целей, чем уничтожение насекомых. А потом в печи крематория они превратятся в ничто. В пепел.

Я избегаю ненужных подробностей. Экономлю время. Послеобеденные заседания Трибунала длятся недолго, надо говорить лаконично, может быть, вообще лучше ничего не говорить, чем выбирать отдельные факты, от которых остаются лишенные своего фона бессильные слова.

Начали привозить маленьких детей; их отделяли от матерей. За проволокой — смуглые мордашки, раскрытые ротики. Мам-ма! Маман! Мама! Италия. Франция. Венгрия. Оккупированные территории Советского Союза. Ну и, разумеется, Польша. Я вижу впалые щечки, искаженные ужасом, голодом, слезами лица, грязные ручонки, трясущиеся, словно у стариков, тянущиеся к матерям, уходящим за ворота, уезжающим на грузовиках в сторону здания,

над которым дымится четырехугольная труба. Я вижу скорбные морщинки на лицах детей, постигших, что они одиноки. Они замолчали, а под глазами легли темные синие круги.

Я умела внимательно смотреть. Да, наверное, не только я. Поэтому сейчас перед моими глазами проходят лица детей с Замойщины, напуганные тем, что мир так огромен и так страшен. Маму, папу, бабушку, дедушку погнали дальше вместе с Зорькой и с перинами. А дети остались здесь, в грязи Биркенау, их убьет туберкулез, сыпной тиф, авитаминоз — смерть в самых разных обличьях.

На минуту я замолчала. Закрыла глаза. Стараюсь глубже дышать. В этом зале не хватает кислорода. Осенью сорок четвертого года гитлеровцы начали привозить в Биркенау мальчишек — участников Варшавского восстания. Изголодавшиеся, заморенные, часто в состоянии шока, самые юные повстанцы заболевали воспалением легких, лихорадкой, анемией. Их тут же отбирали у родителей и направляли на разборку бараков и крематориев, на погрузку и перевозку строительных материалов, железа, кирпича, досок, станков, целых панелей для пола, они работали от переклички до переклички, от зари до ночи. Послушай, Международный военный трибунал! Самому младшему участнику восстания, привезенному из Варшавы в Биркенау, было шесть лет!

Осенью сорок четвертого года их отправили в смертельный путь — пешком в глубь Германии: в Бухенвальд, в Берген-Белсен.

Я снова замолкаю. Чтобы говорить сдержанным, а скорее деревянно-безразличным голосом, чтобы не прокричать, вскинув руки, всего того, что кровавой волной окатывает мой мозг, мое сердце, мне приходится сжимать руки, до боли впиваться ногтями в кожу.

Слова председателя Трибунала и полковника Смирнова я слышу словно издалека, сквозь компресс из теплой ваты. Но все же до меня доходит вопрос:

— Детей, родившихся в лагере, всегда отправляли в газовые камеры?

Я отрицательно мотаю головой. Горло стискивает петля, которая не дает мне отвечать. Я должна немедленно справиться с этим.

— Осенью сорок четвертого года группы детей высылали за пределы лагеря. Их помещали в специальные бараки, а через несколько недель, иногда месяцев, вывозили.

— Куда?

— Этого не удалось установить. В лагере говорили, что в район Лодзи. Последняя отправка состоялась в начале января сорок пятого года, почти в канун эвакуации лагеря. Это были не только польские дети, известно, что в Биркенау привозили женщин со всей Европы. До сегодняшнего дня не удалось выяснить, пережили эти дети войну или нет.

В зале тишина. Я говорю только о вещах, которые видела, в которых абсолютно уверена, отказываюсь от догадок и гипотез.

В этот момент во мне возникает непреодолимое желание: я должна посмотреть на скамью подсудимых, удостовериться, как выглядит этот спесивый зверинец, эти убийцы. Они совсем рядом. В тишине зала суда пустота их открытых неподвижных глаз угнетает. Один лишь раз я нарушаю свое право или обязанность, я слышу свой спокойный, решительный голос:

— От имени всех женщин, которые стали матерями в концентрационном лагере, я хочу сегодня спросить у немцев: где эти дети?

Геринг резко наклонился вперед из своей «ложи», в которой проводит большую часть дня,— видно, что-то его сегодня нервирует.

Я чувствую, как все во мне восстает. С трудом удерживаюсь, чтобы не произнести: верните праху жизнь, возвратите жизнь расстрелянным, разорванным дрессированными овчарками, верните жизнь тем, которые стояли в шеренгах на перекличках, тем, которые пятерками шли в крематорий, веря, что идут в баню или на фабрику. Сделайте, чтобы не существовало времени кошмарных убийств, если хотите, чтобы ваши уверения, повторяемые здесь с самых первых дней, в невиновности, ваши "Nicht schuldig"[1] были приняты.

Под рыбьими, неподвижными глазами Геринга висят мешки, похожая на желе кожа. Он обеспечил благополучие своей жены бриллиантами оттуда. Но это не имеет значения. Я знаю, что теперь он вернул бы нам всех убитых узников, приказал бы искать, найти, идентифицировать каждого приговоренного к германизации новорожденного младенца, отказался бы от каждого подписанного им приказа, на коленях прополз бы отсюда до ворот концлагеря возле маленького городка Освенцим, если бы имел хоть малейшую надежду, что взамен за свои старания будет

[1] Невиновен *(нем.)*.

жить, получит право на существование. Он согласился бы стать лесорубом. Даже узником. Даже узником немецкого концлагеря, потому что теперь он знает, что на свете нет ничего, кроме существования, кроме жизни среди дубов, в тени яблонь, на берегах рек, среди садов и полей. Но Геринг проиграл свою игру, поэтому обвисли у него щеки, поникли плечи, в полузакрытых глазах притаился страх, который он старается скрыть пустой улыбкой. И все же он готов ползти ползком к берегам Солы и Вислы, биться лбом о землю, смешанную с прахом маленьких детей, молодых девушек и парней, взрослых людей, талантливых, мирных, работящих, гениальных, дающих жить другим.

Теперь Трибунал интересует отправка в газовые камеры.

Я снова вижу платформу — это не только железнодорожная ветка, черной змейкой вьющаяся сквозь лабиринт гитлеровских лагерей, это целое понятие, граница между жизнью и смертью. В обычной жизни эта граница почти никогда не видна, могут быть потрясения, длительная болезнь, естественное биологическое старение, удар молнии, внезапный удар, отчаяние.

Но тут смерти приказали материализоваться, затвердеть, принять конкретные формы: длинный эшелон, эсэсовская фуражка, фигура оккупанта, возникающая, как упырь, в танце смерти, с пистолетом в руке, с бичом.

— Случалось ли свидетельнице когда-либо видеть людей, которых прямо с поезда отправляли в крематорий?

— Очень часто. Иногда по нескольку раз в день или ночью.

— С какого расстояния?

— Вблизи. Я работала в лагере недалеко от железнодорожной ветки, ведущей в крематорий, а чтобы быть еще ближе, часто пряталась за уборной для немок. Оттуда я наблюдала, как прибывают эшелоны. В солнечные дни можно было определить возраст, разглядеть цвет волос построенных пятерками людей. Они двигались очень медленно, порой ждали целыми часами, так как чуть впереди происходила селекция.

— Селекцию производили врачи?

— Не всегда. Часто эсэсовцы.

— Но в присутствии врачей?

— Разумеется. Гитлеровские врачи тоже производили селекцию для отправки в газовые камеры. Стоя перед медленно двигающейся колонной, они делили ее на две группы. Здоровых молодых женщин, их было немного,

направляли за проволоку, в лагерь. Но женщин с детьми на руках, в колясках, а также и тех, с кем были дети постарше, отправляли прямо в газовые камеры.

На минуту я замолчала. В зале тишина. Я слышу собственный вздох.

— Когда эшелонов с людьми приходило особенно много, эсэсовцы получали приказ бросать детей живьем в печи крематория или в общие могилы во рвы.

Я вижу напряженное лицо обвинителя Смирнова, его сжатые губы.

— Как вас понять? Вы говорите, что в огонь бросали живых детей? Их живыми закапывали в землю?

— Да. Живых детей хоронили в общих могилах. И живыми бросали в огонь. Их крики были слышны на всей огромной территории лагеря. Я не берусь сказать, сколько детей было умерщвлено подобным способом.

В голосе полковника Смирнова чувствуется сдерживаемый ужас, тот самый, который охватывал солдат и генералов, вступавших на территорию гитлеровских боен, где штабелями лежали мертвецы, скелеты, обтянутые прозрачной кожей.

— Мне хотелось бы понять, почему они так делали? Газовые камеры были переполнены до предела?

— На этот вопрос мне трудно ответить. Разве я могу дать объяснение этому. Не знаю. Быть может, немцы решили экономить газ, универсальный циклон Б, возможно, не хватало мест во всех тех газовых камерах, которые они выстроили на территории лагеря Аушвиц-Биркенау. К уже сказанному я могу только добавить, что нет никакой возможности установить число детей, которых отправляли прямо с поездов в газовые камеры, их не регистрировали и не накалывали номера. Очень часто целые эшелоны даже не пересчитывали пьяные, живущие на грани паранойи гитлеровцы. Мы, узники, пытались подсчитывать количество людей, которых гнали в газовые камеры, чтобы когда-нибудь засвидетельствовать истину, но число убитых детей установить было труднее всего, только можно было догадываться, исходя из количества детских колясок на складах.

Снова долгая минута тишины, после которой мне задают еще вопросы. Я пытаюсь рассказать о том, что условия жизни способствовали плановому уничтожению. Узнику угрожали не только газ и пистолет эсэсовца.

Юристы, кажется, ждут, что я разовью свою мысль.

— Миллионы людей,— говорит председатель Трибунала

задумчиво, словно пытаясь представить себе эту толпу или спрашивая мое мнение.

Я вдруг почувствовала смрад того еще различимого в тумане места, пропитанного лизолом и отходами, испарениями глины, растоптанной во время перекличек в два часа ночи, в четыре утра, во время работы, днем, когда иллюзия изменения обстановки длилась совсем недолго, до первого истязания, до первой человеческой крови, стекающей в песок, до первого выстрела, замыкающего короткую главу лагерных развлечений, до первой травли истощенного узника овчаркой, до первых носилок, сделанных из лопат, на которые живые укладывали уже бездыханного, но еще теплого товарища, объятые страхом и гадающие: закончатся ли на этом сегодня развлечения эсэсовцев или капо, или это лишь начало, пролог, за которым последует основная часть?

Я слышу свой слишком спокойный голос, в нем нет даже напряжения: тем, кто никогда не входил на территорию лагеря, трудно представить себя в толпе людей, стоящих на перекличке. Беспомощными словами стараюсь рассказать о голодном истощении, хроническом недосыпании (любую армию можно уничтожить недосыпанием), о тифе, бесконечных эпидемиях тифа, о кровавом поносе, сознательно поддерживаемом командой лагеря.

— Как свидетельница понимает слова «сознательно поддерживаемом»? — спрашивает председатель Трибунала.

Я должна справиться с охватившим меня гневом и тоской, повернуть людям, которые обстоятельно расспрашивают. Без содрогания надо рассказать, как пропускали людей через ежедневные селекции: декабрьские переклички, которые часто длились по шесть часов, а то и целую ночь; гитлеровский «спорт» — нагишом во время снежной метели; продолжительные избиения (сто ударов палкой по почкам; чтобы убить крепкого мужчину, хватало значительно меньшего количества, а что говорить об изможденной женщине после болезни); высылка на территорию, где царила смерть, поближе к проводам под током высокого напряжения, и развлекательная стрельба по живым мишеням.

Сидящие на скамье подсудимых смотрят на меня со смирением и безразличием.

Я представляю суду доказательства возмутительной халатности работников лагеря. Эсэсовцы, которые оста-

вили в живых свидетеля, дающего суду показания, заслуживают самой страшной кары. Schrecklich![1] Свидетель, сохранивший физические и умственные способности, обвиняет! Это дерзость! So frech![2] Сюда нельзя пускать людей, которые выжили, помнят, сохранили достаточно здоровья, чтобы предстать перед Международным военным трибуналом и говорить.

— Стоило войти в ворота,— спокойно начинаю я и снова вижу круг огней, окружающий огромную, разгороженную колючей проволокой территорию,— как тебя атаковала смерть. Кровь, зараженная вирусом никогда не проходящей эпидемии сыпняка, реагировала быстро: во всех одеялах, даже в полосатой одежде кишмя кишели вши, гниды, блохи. У вновь прибывших женщин начинался жар, они теряли сознание, умирали во время работы в поле или стоя в шеренге на перекличке. В лагере случались такие рассветы, когда возле каждого барака лежал штабель чуть присыпанных снегом нагих тел.

И я снова вижу скрещенные или раскинутые руки, синие тощие ноги, обритые головы, похожие на окоренные ветви, лишенные жизненных соков.

Я замолчала. Усталые глаза председателя Трибунала встретились с моим взглядом. У меня ощущение, что я пробираюсь сквозь чащу кошмарных подробностей, что хватит. Хватит. Позвольте мне уйти.

Корреспонденты записывали. Полковник Смирнов кивнул головой. Я тяжело вздохнула.

Я должна рассказать об этом. Прибывали эшелоны из Греции, Италии, из отдаленных районов Югославии, из России, их везли в вагонах для скота. Первый раз кормили (тем, кому вообще предстояло жить, предлагали еду, давали немного брюквы или суп из крапивы) часов через пятнадцать, а иногда и через сутки после прибытия. Полуживые от жажды, запертые на ключ в бараке, где не было ничего, кроме бетонного пола, они смотрели в окна на движущиеся человеческие тени, бледнее, чем насыщенный туманом воздух, на то, как убирали трупы. И в этот момент эсэсовка распахивала двери, раздавался крик, из кухни бегом тащили котлы: сейчас вновь прибывшие утолят жажду, получат немного воды или еды. Но тут обнаруживался первый пункт действующей в гитлеровском лагере системы. Ни у кого не было посуды. Ее отобрали

---

[1] Ужасно! *(нем.)*

[2] Какая наглость! *(нем.)*

вместе с одеждой перед стрижкой волос. А котлы уже открыты.

.. Крики эсэсовцев усиливаются, свистят нагайки, но ведь суп не возьмешь в горсть. Поделенная на пятерки толпа стоит в растерянности. Но бешенство эсэсовок творит чудеса. Вот уже дежурные несут пирамиды мисок и кастрюлек, эсэсовка подгоняет истерическим криком, под этот крик миски летят на головы стоящих женщин или в грязь. Истерические вопли оглушают, битье отупляет, но здесь все должно делаться быстро, быстро. Немного жидкости вливают в каждую миску, она едва прикрывает дно. Дрожащими руками узницы подносят посуду ко рту.

Гораздо позже, наблюдая, как принимают очередные эшелоны, они поймут, что посуду для прибывших вырывают из рук покойников, что ее складывают в бараке, где вырыта огромная помойная яма, где по углам лежат трупы с привязанными на жгутах жестяными мисками. Эти миски, обычно грязные, вонючие, облепленные грязью, испражнениями, дежурные быстро ополаскивают или вовсе не ополаскивают и суют женщинам из новых эшелонов. Отталкивающий смрад в той обстановке редко кого настораживает. Глотая, они в первый же день получают бациллы поноса. Они глотают смерть. Потому что быстрая смерть является главной целью гитлеровского лагеря.

Слова постепенно застревают у меня в горле. Рассказывая, я вижу, как на лице председателя Трибунала появляется гримаса уныния и даже брезгливости, впрочем, может быть, так у него проявляется усталость, на его щеках застыли морщины, кадык ходит вверх и вниз. Мне хочется именно сейчас, когда мы смотрим друг на друга усталыми глазами, спросить его, правда ли, что он в минувшую субботу открыл бал в «Гранд-отеле» и неутомимо танцевал до самого утра. Но я молчу. Разве можно спрашивать об этом председателя Трибунала, когда известно, что сейчас дни карнавала и обычай велит развлекаться.

До меня доходит далекий, заглушаемый шумом голос:

— Благодарю вас, вы свободны.

## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

У меня ощущение полного провала. Я должна была предвидеть, что не справлюсь с этой задачей, это не под силу одному человеку, с этим никто не справится в одиночку. Свидетель обвинения на Международном военном трибунале. Обходным путем, коридорами я пробираюсь

к боковой двери того же зала суда, кто-то беззвучно распахивает ее передо мной, я прохожу несколько ступенек и сажусь в удобное кресло, словно зритель в театральной ложе.

Зачем я сюда приехала? Я не могла сама справиться с задачей, которую должны были бы взять на себя узники многих лагерей, профессора Краковского университета, вывезенные в Заксенхаузен, матери подростков, которых ставили к стенке, залив им в рот быстротвердеющий гипс, чтобы в момент расстрела они не могли выкрикнуть: «Гитлер капут. Вы проиграли! Ваши дети осудят вас!» А также легендарный, часто повторяемый в истории угнетенной страны лозунг смертников: «Да здравствует Польша!»

Сюда надо было пригласить женщин, которым делали принудительные операции в Равенсбрюке, живые доказательства позорного одичания немецкой медицины, подопытных кроликов. Не все умерли в лагерной больнице. Пациентки, пережившие длительные серии пыток, располагают кроме слов еще и доказательствами: у них сквозь чулки просвечивают коричневые шрамы, едва зажившие послеоперационные надрезы на покалеченных ногах. Эксперименты, проводимые для всестороннего изучения форм и симптомов газовой гангрены. Молодым женщинам вскрывали кости, вводили в костный мозг инфекцию, и затем проверяли лекарства, нужные для раненых немецких солдат.

Мысли путаются в голове, возросло чувство собственного бессилия, которое я испытывала перед дачей показаний, во мне все восстает против невозможности, абсолютной невозможности выразить полную правду, передать ее другим, особенно уравновешенным и спокойным американцам и англичанам.

Меня окружили со всех сторон, все шумят, я слышу, как кто-то, размахивая листами бумаги, говорит:

— Браво! Вы подарили нам сенсационный заголовок: «Где дети, вывезенные из гитлеровских концентрационных лагерей?» Немедленно этот материал передаем в Штаты!

Грабовецкий снова и снова представляет мне кого-то из толпы корреспондентов, я улыбаюсь, то и дело кто-то крепко, дружески жмет мне руки.

Неожиданно раздается сигнал, оповещающий о продолжении заседания, корреспонденты возвращаются на свои места. Гул голосов постепенно затихает.

Скамьи для публики быстро заполняются, спустя минуту все места заняты.

С облегчением я откидываюсь на спинку кресла. У меня изменился угол зрения, словно бы я перенеслась со сцены на балкон первого яруса. Возвышение для свидетелей теперь находится внизу прямо передо мной, на противоположной стороне зала. Скамья подсудимых совсем близко, совсем как боковая ложа, на которую смотришь с балкона или из амфитеатра. Мешки с костями, в которые превратились гитлеровские главари, торчат неподвижно, все одинаково серые, обвислые, увядшие. Они тупо глядят перед собой или, свесив головы, не глядят вовсе, равнодушные ко всему происходящему. Из них вытекло сало времен победных агрессий, ушла энергия. Только теперь я могу наконец присмотреться к ним, мысленно спрашивая каждого, почему он жил именно так.

Грабовецкий, пользуясь последними минутами перерыва, шепотом объясняет. По привычке он показывает рукой, но делает это совсем незаметно. Практически я все это уже слышала, но смотрю, смотрю с изумлением.

— Обратите внимание, какие позы принимает Геринг,— шепчет мой опекун.— Говорят, в камере он изучает Шиллера и биографию Ганнибала. Умиляется до слез, читая журналы 1932 года, если встречает упоминания о торжествах, посвященных юбилею Гёте в Веймаре; там как раз ставили «Фауста», именно тогда он познакомился с Эммой Зоннеманн, певицей, исполняющей роль Маргариты. Геринг влюбился и женился на ней.

— Она жива? — спрашиваю я из вежливости.

— Ему будто бы обещали, что в случае его смерти, если Трибунал признает его виновным, жене оставят все состояние, движимое и недвижимое имущество, значит, и все то, что он успел награбить в оккупированных странах. Неплохо, да?

— Но кто мог ему дать такие гарантии?

— Говорят, американская разведка.

Я покачала головой. Слова Грабовецкого вызывают у меня сомнения. Наверное, выдумывает старый хитрец, ведь это же невозможно! Но тут же возникает мысль — полчаса назад, когда я давала показания, кто-то мог думать точно так же: нет, это невозможно! Ведь человек верит только в то, что сам видел и сам испытал, а на остальное смотрит скептически. Образуется пропасть между народами, с которыми гитлеризм обошелся так, как с Польшей, и теми, кто лишь вполуха слышал что-то об убийствах,

газовых камерах, геноциде. Они могут с изумлением и даже ужасом вопрошать: «Разве это возможно?!»

— То, что вы рассказали, напоминает отрывок из детективного романа,— сказала я, думая о своем.

Грабовецкий замахал поднятой рукой.

— И это говорите вы? Вы? Главный свидетель?

Я потерла лоб. Это мои слова? Это я не верю в логическое продолжение оккупационной эсэсовской деятельности, продуманной с дьявольской изобретательностью во всех мелочах?! Я тихо говорю:

— Зубы. Золотые зубы, их вырывали в крематориях перед тем, как сжечь тела. Бесспорно, они пригодятся фрау Геринг в ее артистической карьере. Да и не только зубы. Зубы мелочь. Вы не поверите, в это не поверит никто, кто не видел собственными глазами, какие сундуки с драгоценностями отправлялись из одного только Освенцима. Бриллианты. Целые состояния гранильщиков бриллиантов из Антверпена. Что там какие-то мешочки с зубами! Килограммы золота. Рулоны золотых долларов изо дня в день шли из крематориев прямо в рейх. И даже если Трибунал прикажет повесить нескольких подсудимых, золото, выжатое из стольких европейских стран, еще даст тут всходы через несколько лет. Даст плоды. Распространится. Заткнет много жадных глоток.

Я вижу серьезное, суровое лицо Кароля Малцужиньского, самого молодого из польских корреспондентов. Лицо этого честного, все понимающего молодого человека неожиданно посерело.

— Наверное, немного найдется таких, кто посмеет жить за счет золотых зубов из газовых камер.

Я покачала головой. Кароль Малцужиньский, несмотря на пережитые годы оккупации, еще сохранил веру во что-то.

— Не знаю,— сказала я тихо.— Думаю, что охотники найдутся.

— Вы пессимистка. Золотые зубы в крови убитых?

Я почувствовала себя на сотни лет старше и опытнее своего соседа. На лице Грабовецкого появляется горькая гримаса тех же сомнений:

— Pecunia non olet[1]... Боюсь, что богатство, вывезенное из оккупированных стран, из гетто, облегчит жизнь семьям гитлеровцев... Кровь смоют, а золото останется золотом и очень им пригодится.

---

[1] Деньги не пахнут *(лат.)*.

Кароль Малцужиньский не ответил. Его рассуждения, наверное, были похожн на рассужденння многих нормальных людей. Я научилась это понимать.

Разговоры вокруг постепенно стихают, все меньше пустующих мест на галерее для прессы, наконец наступает почтн полная тншина. Кто-то опаздывающий проталкивается между журналистамн, невысокая женщнна в темном костюме поднимается по ступенькам все ближе. Вот она остановилась, протянула мне руку. На открытой ладони лежит большущий апельснн, я давно такого не видела. Женщина сердечно улыбается, юная, обаятельная. Потом быстро отворачнвается н бегом возвращается на свое место на галерее для прессы. Вот она еще раз обернулась, помахала рукой.

Теперь Геринг уставился на яркую, впитавшую в себя солнце кожуру апельснна, на мон руки, лежащне на поручнях кресла, а может быть, на пятнзначный номер узника Освенцима, вытатунрованный яркнмн крупными цифрами на запястье. Уголки его губ опустились, дряблые щеки затвердели, повернутая в мою сторону голова замерла, точно ему приказали «направо равняйсь» и не дали команду «вольно».

Мне не хочется замечать демонстративные позы рейхсмаршала, я разговарнваю с Грабовецким н Малцужиньским, наклоняюсь в их сторону, не переставая рассматривать небольшой старннный зал суда, удивнтельно маленький по сравненню с ролью, какая ему отведена. Могло бы показаться, что это скорей конференц-зал в небольшом банке, а не зал заседаний Международного военного трибунала.

— Вы заметили, что все они производят какое-то странное впечатление? — говорит шепотом Грабовецкнй.— Герннг старается быть прнмадонной этого процесса, Франк задался целью убедить нас в своей набожностн: все эти месяцы он сидит над Библией, читает главу за главой.

— Да, но остальные уже превратнлись в собственные выцветшне фотографин, они поннмают, что перечеркнулн свое будущее; внутренне онн уже мертвы.

— Ну что ж, этот процесс для них, конечно, не развлечение. Ведь н нам уже надоело, уверяю вас. Нам тоже надоело.

— Кроме Гернnга, Франка и Гесса, этого страшноватого Гесса, выделяется среди остальных еще один. Вон тот, что поднял руку н трет лоб.

— Йодль? Да, это Йодль.

— У него человеческое выражение лица. Он всматривается в зал, словно кого-то ждет. Ах, это ведь его жена была секретаршей адвоката?

Грабовецкий надел наушники, отрегулировал их, потом открыл одно ухо.

— Генерал Йодль похож на провинциального служащего или начальника почты, правда? С них быстро слетел ореол величия.

— Ореол? Это были гитлеровские фуражки,— говорю я тихо.

С чувством облегчения я обвожу глазами зал. Я очень люблю сидеть расслабившись, без внутреннего напряжения. С удовольствием думаю о том, что мне больше не надо сидеть в комнате для свидетелей и подниматься на возвышение для дачи показаний. Обеими руками держу апельсин, вдыхаю приятный крепкий аромат, может быть, где-то на свете существуют коричные лавочки со сладкими булочками и экзотическими фруктами. В Польше их сейчас нет. Польша лежит в развалинах.

Странно, сколько голов подсудимых повернулось при виде апельсина. Может быть, он стал для них символом жизни, которую они безвозвратно испортили.

Геринг продолжает все время двигаться, всем туловищем повернулся в сторону балкона, он всего в нескольких метрах, не спускает с меня взгляда. Какое ужасное ощущение! Во мне растет чувство омерзения. Огромная, надувающая губы жаба, готовая брызнуть ядовитой слюной; выпученные неподвижные глаза Геринга, мешки под глазами, висящие щеки, они дают возможность отличить его лицо от всех прочих человеческих лиц — это жирная, чувственная физиономия старой бабы, кокетливой и агрессивной. Я не боюсь этой «бабы». Я быстро оглядела судейский стол, скользнула взглядом по лицам юристов.

С облегчением рассматриваю зал, скамья подсудимых для меня часть интерьера, я не желаю встречаться взглядом с Герингом, с его навязчиво выпученными неподвижными глазами. Это актер со старых афиш, и нет нужды уделять ему внимание.

Смерть самым жестоким образом обнажает человека. Если я знаю об этом почти с раннего детства, неужели они, умудренные годами, почти все старые, не догадывались об этой истине?

— Порой,— обращаюсь я к Каролю Малцужиньскому,— в зоопарке мне случалось испытать внезапное сострадание, когда вот так, молча смотрело на меня существо,



8—1203

чьи мысли казались мне безнадежно грустными. Ведь каждый из них знает, что его ждет. Даже если этот процесс будет тянуться еще год или два, у них все равно не может быть иллюзий.

— Вас это трогает? — с иронией спрашивает Малцужиньский.

— Ужасает. Я вижу жестокость и с той, и с другой стороны. Убийство порождает убийство.

Там, внизу, трибуна для свидетелей все еще пустует, поэтому я озираюсь кругом.

Неожиданно смолкают все шорохи. Райсман поднялся и застыл. Его лицо напоминает скорбное изваяние на могиле.

Именно так он и выглядит: могильное надгробие, вызванное сюда для дачи показаний, на нем темный костюм, полосатая рубашка. На шее, которой, собственно, и нет между туловищем и головой, накинут галстук, точно петля. Райсман глубоко дышит. Довольно долго молчит. Все взоры устремлены на него, он сжимает сильно кулаки, и я вижу, как напрягаются его плечи.

Мне это знакомо. Я понимаю каждое его движение.

На предварительные вопросы ответа я не слышу.

Наконец судья задает вопрос по существу:

— Свидетель избежал смерти в лагере уничтожения. Прошу вас, объясните, как это оказалось возможным, поскольку из Треблинки не удалось спастись почти никому.

Он судорожно сжимает пальцы, словно деревянная крышка пюпитра — плот, за край которого из последних сил цепляется идущий ко дну человек. Он дышит все глубже. Голос сдавлен. Сначала говорит почти шепотом.

— Мне удалось убежать из Треблинки. Произошло невероятное, чудом я остался жив. Я видел, как немцы в газовой камере удушили моих детей, мою жену, мою мать.

Он замолкает. Лицо его внезапно наливается кровью. Видно, как он пытается взять себя в руки. Он заставляет себя выдавить слова, которых здесь ждут. Он должен побороть слезы. Мужские слезы.

— Среди тряпья, при уборке товарных вагонов, я нашел документы моих родителей. Я рыскал с того дня по всему лагерю, нашел всю семью, но был бессилен.

Рыдания звучат в каждом его слове, их слышат все. Все видят, с каким трудом держится Райсман, как пытается справиться с самым простым, самым коротким ответом.

— В Треблинке я узнал о гибели моего брата.

Он опустил голову. Глубокие вздохи заставляют вздра-

гивать его сгорбленную фигуру. Сверху, с балкона, вид его вызывает содрогание.

Полковник Смирнов просит его успокоиться, задает вопрос, которым надеется отвлечь Райсмана от самых страшных для него воспоминаний:

— Скажите свидетель, вы помните, как немцы называли улицу, ведущую к газовым камерам?

— Да. Обычно они говорили: Himmelfahrstrasse, что могло значить «дорога на небо» или, точнее, «путешествие на небо». Я могу представить план лагеря в Треблинке... я нарисовал его там, будучи узником... и вынес с собой... могу показать на плане эту «дорогу на небо».

Председатель делает какое-то движение, и я с беспокойством замечаю, что это жест нетерпения. Его холодный тон замораживает меня. Регламент. Надоевшая тема. План лагеря, вынесенный узником, не представляет интереса. Я должна это понимать. Но ведь нас здесь только двое — свидетелей из Польши. И оказалось невозможным сказать все в течение короткого послеобеденного заседания. Пять лет оккупации Польши уместить в нескольких лаконичных ответах, касающихся двух концентрационных лагерей?!

Я тру ладонями лоб, мне надо сосредоточиться, хотя мысли бегут своей дорогой. Полковник Смирнов продолжает допрос:

— Скажите, как выглядела железнодорожная станция в Треблинке, откуда отправлялись в последний путь?

Райсман взял себя в руки.

— Комендант лагеря приказал построить современный вокзал первого класса с указателями: «Ресторан», «Телеграф», «Телефон». Установлены были щиты с расписанием поездов на Вену, Берлин, Гродно, Сувалки и в другие города. Но в действительности там, где висели вывески, были помещения, где узникам велели раздеваться и складывать одежду.

Полковник Смирнов наблюдает за Райсманом. Тот взял себя в руки и говорит твердым невыразительным голосом, но его слова открывают новые, неизвестные даже мне страницы ужасов.

— Свидетель, вы можете рассказать, как долго жили узники, доставленные в Треблинку?

Голова Райсмана закачалась, кажется, он сейчас выкрикнет: «Боже! О боже!»

— Мужчины должны были за восемь минут раздеться, сложить одежду и пройти в газовую камеру. На под-

готовку женщин уходило пятью минутами больше из-за стрижки волос.

— Вы сказали — из-за стрижки волос? Зачем их стригли?

— Потом женскими волосами набивали матрацы.

Журналисты задвигались, заговорили. Председатель обращается к свидетелю:

— Значит, вы утверждаете, что людям, привезенным в Треблинку, давали всего десять минут до момента входа в газовую камеру?

Райсман снова молча покачал головой, прежде чем подтвердил.

— Да. Восемь, самое большее десять минут, причем это мужчинам.

Теперь спрашивает полковник Смирнов:

— Вы сказали, что вместе с раздеванием.

Губы Райсмана дрогнули в горькой усмешке.

— Разумеется. Вместе с раздеванием.

Глубокая тишина в зале суда. Хриплые отрывистые слова, которые произнес этот невысокий мужчина, тяжело дыша, давясь, звучат как обвинение, выдвигаемое здесь мертвецами. Их прах покоится в земле под соснами в безлюдном месте, которое когда-то звалось Треблинкой.

Полковник Смирнов не сразу нарушил молчание. Потом спросил:

— А не случались ли там исключительные ситуации, попытки вмешаться в судьбу привезенных людей? Спасти кого-нибудь?

И снова свидетель еле заметно покачал головой. Горечь осела постепенно на его лице, в углах губ, в сгорбленных плечах, даже в жесткой манере говорить.

— Случались. Не без этого. Я как раз стоял на платформе, когда с венским эшелоном привезли пожилую женщину, которая заявила, что она сестра доктора Фрейда. Зигмунда Фрейда.

Корреспонденты писали не отрываясь, то и дело поглядывая на Райсмана.

— Она показала документы заместителю коменданта Курту Францу. Он внимательно их изучил, заметил, что, должно быть, произошла досадная ошибка. Это недоразумение. Обычное недоразумение. И сказал, что через два часа отходит поезд в Вену.

Горькая судорога скривила губы свидетеля. Тишина, повисшая над залом, затягивалась. Корреспонденты ждали.

— Поезд в Вену,— повторил Райсман и снова едва

заметно покачал головой, словно, задумавшись, он забыл, где находится. Затем продолжил: — Курт Франц посоветовал ей перед обратной дорогой принять ванну, а документы и драгоценности оставить у него. Зачем ей брать их с собой? Она не успеет помыться, как обратный билет в Австрию будет ждать ее вместе с паспортом и документами. Именно так он с ней разговаривал. И сестра Зигмунда Фрейда, тронутая такой любезностью, с полным доверием отправилась в газовую камеру.

Он снова замолчал. В наступившей тишине, казалось, слышно было тиканье наручных часов. Вопрос полковника Смирнова прозвучал как удар грома:

— Зачем, по-вашему, в Треблинке понадобилось строить такой вокзал?

— Очень просто. Вместо бунта, отчаяния, рыданий и плача люди послушно следовали советам эсэсовцев и спокойно отправлялись умирать. Психологически это было оправдано.

Постепенно Райсман успокоился, речь его стала увереннее, он четко излагал свои мысли.

Смирнов снова спрашивает, действительно ли все это выглядело в Треблинке как вокзал.

Райсман подтверждает кивком головы.

— Когда подъезжали эшелоны, люди, выходящие из вагонов, не сомневались, что прибыли на обычный железнодорожный вокзал, откуда идут поезда в другие города: в Вену, Гродно, Сувалки.

— Как получилось, что вы, один из стольких тысяч, остались в живых и получили в лагере работу?

— Когда я стоял голый в толпе на дороге, ведущей в газовую камеру, меня заметил инженер Галевский, которого я хорошо знал по Варшаве. Он велел мне немедленно вернуться, сказал, что здесь нужен переводчик с иврита, французского, русского, польского и немецкого языков. На этом основании он имел право забрать меня из толпы тех, кого отправляли в камеру.

— Значит, впоследствии вас зачислили в команду работавших внутри лагеря?

Райсман снова кивнул.

— Поначалу я носил обратно в вагоны одежду умерщвленных газом. Именно тогда я увидел, как из Венгрова привезли мою мать, сестру, двоих братьев. Спустя несколько дней, когда я нес одежду в вагоны, товарищи нашли документы с фотографиями моей жены и детей. Это было все, что осталось от моей семьи. Одни фотографии.

Полная ужаса тишина заполнила зал суда. Полковник Смирнов четко и внушительно задает вопрос:

— Скажите, свидетель, сколько человек ежедневно привозили в Треблинку?

Райсман на минуту задумывается.

— С июля по октябрь сорок второго года ежедневно прибывали три эшелона по шестьдесят вагонов каждый. В сорок третьем эшелоны приходили реже.

— Скажите, пожалуйста, сколько людей ежедневно уничтожали в Треблинке?

— В среднем от десяти до двадцати тысяч.

— В скольких газовых камерах совершались убийства?

— Сначала только в трех, потом построили еще десять. Немцы собирались довести количество газовых камер до двадцати пяти.

В полной тишине, при общем напряжении, Смирнов задает еще один вопрос:

— Откуда вы могли знать, сколько газовых камер собирались построить немцы?

Райсман покачал головой.

— На площади лежали привезенные строительные материалы. Я спросил эсэсовца: «Для чего это? Ведь евреев больше нет?» Он мне ответил: «После вас сюда придут следующие. Будет еще много такой работы».

— Скажите, свидетель, как иначе называли Треблинку?

Райсман развел руками.

— О Треблинке многие были наслышаны, поэтому, видимо, решили повесить таблицу с новым названием: «Обермайданек».

К сожалению, на этом суд счел нужным поблагодарить Райсмана и закончил опрос.

Заскрипели отодвигаемые кресла, послышался гул голосов. Все зашевелились. Только скамья подсудимых замерла, будто законченная, но еще не просохшая картина.

Главари гитлеровского государства, кучка наполеонов, без самых крупных, которым удалось всех перехитрить и смыться, эта группа сидит на своих местах. Так она отпечаталась в моей памяти. Спектакль окончен. Прошел еще один день суда над убийцами народов.

Конец процесса приблизился еще на один день. Для убийц наступают безнадежно пустые часы, сумерки, долгий унылый вечер двадцать седьмого февраля. На увядших лицах меланхолия. Каждый из них здесь одинок. Листья жизни с них уже опали. Остались нагие стволы. Пройдет

десять или двадцать лет, и воды сомкнутся над ними. Сохранятся лишь фотографии, где на фоне американских парней, стоящих под нависшими над входом скульптурами, сидят в два ряда гитлеровские клоуны.

А что тут будет через десять, двадцать лет? Вырастет новое поколение других немцев, которое начнет, быть может, мыслить самостоятельно, хочется надеяться, что оно окажется способным самостоятельно формировать свои взгляды и выбирать формы существования.

Мне не давал покоя вопрос: как сложится судьба множества грудных и малолетних детей, вывезенных из оккупированных стран и предназначенных для германизации? Их имена и фамилии заменили немецкими, им выписали новые документы, уничтожив все следы. Они вырастут. Не проявит ли себя однажды их врожденный темперамент, который сильнее воспитания?

Если не сыновья сидящих на скамье подсудимых, то, может быть, их внуки ощутят однажды внезапную боль, мировую скорбь, испытают политические страдания юного Вертера, может быть, почувствуют стыд, неловкость за поступки своих дедов. Что делал отец, когда банда обезумевших наполеонов, нацепив свастики, шла уничтожать Европу?

Видно, не лучшим образом обстоит дело с наполеонами, раз они решили похитить у Европы детей, пересадить на свою почву, положившись на свое волчье воспитание. Они могут просчитаться. А ну, проснется тоска, отзовутся полустертые воспоминания детства? Самые впечатлительные зададутся вопросом, кто же они, не бродит ли где-то по земле их мать со слабой надеждой отыскать свое дитя? Их станут одолевать сомнения и комплексы, они начнут отыскивать в своем характере немецкие и славянские черты, сравнивать себя, свои мечты и юношеские идеалы с лозунгами гитлерюгенда, с традициями шипящего СС. Но можно ли хоть в малейшей степени восстановить прошлое? Можно ли хотя бы в слова вложить прежний смысл? Лагерь. Знаете ли вы, господин председатель Военного трибунала, каким сочным и жизнерадостным смыслом было наполнено до войны это слово: лагерь! Самые приятные воспоминания. Лес, палатки в тени сосен. На солнце брезент нагревается и пахнет, жаркий ветер колышет полог палатки, приносит крепкий запах смолы, золотистые густые капли ее пузырятся на коре хвойных деревьев, застывают на шишках. Падают на землю. Много веков назад эта капающая под жарким солнцем смола превращалась в ян-

тарь. Гитлеровцы навязали нам иные воспоминания. Лагерь нашей юности лег на сердце, уснул там янтарем. Лагерь, который пережил в годы войны Райсман, лагерь, который пережила я,— это горькая вонь сжигаемых человеческих ногтей, волос, паленого мозга и паленых костей. Гитлеровцы уничтожили и это слово, лишили наших детей его радостного однозначного смысла, искалечили.

Лагерь. Дубы. Цветущие липы. Жужжание пчел. Ночной дождь после жаркого дня. Прохладное светлое утро. Капли росы, сверкающие на листьях. Липовый цвет осыпался на верх палатки, крылатые цветоножки с мокрыми лепестками, похожие на застигнутых дождем бабочек, как сильно они пахнут медом! Земля источает грибной аромат. Весь лагерь дышит ветром, летним утром, темной землей. Лагерь. Неотъемлемый элемент молодости. Смех. Радость. Юмор. И мечты.

Гитлеровцы растоптали, смешали с грязью также и это понятие. Мы не кричали: "Drang nach Westen!"[1] Мы не разрабатывали с умиленным лицемерием лозунга о необходимости обрести "Lebensraum". Хотя немцам было чем дышать в лесах и на полях Тюрингии и Саксонии, Баварии и Шварцвальда. Вместо жизненного пространства немецкие солдаты в конце концов обрели Todesraum — мертвое пространство, причем во многих городах и деревнях Европы: в Арденнах и под Сталинградом, в Арнеме и Шербуре. А более всего у себя, в своей отчизне, под Берлином и в Берлине. Жизненное пространство. Мертвое пространство.

Никакого удовлетворения не приносит мне мысль о безымянных немецких могилах, я бы предпочла, чтобы немцы продолжали пахать свою землю, которой у них, вопреки лживым утверждениям Геббельса и Гитлера, было вполне достаточно, я бы предпочла, чтобы они попрежнему заботились о своих лесах, выпускали автомобили, ловили рыбу и на вертеле запекали дичь.

Сегодня для множества немцев уже не существует такой возможности по очень простой причине: этих немцев нет дома, нет их ни в лагерях для военнопленных, ни в госпиталях. Напрасно женщины прислушиваются к шагам на лестнице. Много утекло воды с тех пор, как ушли они на фронт.

Сможет ли Нюрнбергский процесс раз и навсегда излечить немецкий народ от самоубийственных порывов к массовым убийствам?

---

[1] Поход на Запад! *(нем.)*

Я мало что знаю о немецком народе. Поднимаю голову и протираю глаза. Мне хотелось бы поговорить об этом с Грабовецким, но он с кем-то беседует, перегнувшись через барьер.

Обязательно сегодня или завтра я должна проверить это, побродить по улицам: ни разу я не видела тут таких немцев, как во время оккупации, таких немок, как лагерные эсэсовки, жестких, словно железных, неподвижно стоящих на расставленных ногах, обутых в сверкающие офицерские сапоги. Нарушение молчания предвещало опасность. В этих женщинах, порой грубых и уродливых, а порой нежных и красивых, жило желание убивать. Таких мужчин и таких женщин, на широко расставленных, крепко упирающихся в землю ногах, с выгнутым назад, словно при параличе, позвоночником, я тут не встречала. Кейтель был последним, кто проявил спесь и чванливость,— фотоаппараты запечатлели его позу в исторический момент подписания безоговорочной капитуляции.

Расслабились позвоночники. Не только у привыкших склоняться официантов, но и на улицах, за хлебом и мясом в очередях, на трамвайных остановках я вижу сгорбленных мужчин, ссутулившихся женщин, война согнула их, это, очевидно, не нуждается в доказательствах.

Открыв глаза, я осматриваю зал. И тихо, сама у себя спрашиваю:

— Что здесь будет через двадцать лет?

Грабовецкий услышал мои слова, развел руками.

— Через двадцать лет?.. Ну знаете. Я предпочел бы до этого не дожить. А вот через несколько минут нам покажут документальный фильм. И на этом вечернее заседание Трибунала закончится.

На галерее для прессы Ганс Липман размашистыми движениями записывает показания последнего свидетеля. Наконец он захлопнул блокнот и одним росчерком пера подчеркнул выведенное на обложке название: «Польский день в Нюрнберге».

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Свет в зале медленно гаснет, я неожиданно услышала свой сдавленный, испуганный шепот:

— Я хочу уйти отсюда. Простите, я не могу оставаться здесь, в темноте.

Кароль Малцужиньский положил мне руку на плечо.

— Не волнуйтесь. Нам сейчас покажут короткий фильм.

Его перенесли со вчерашнего заседания.

Ожидание длится совсем недолго, но темнота пронизана теперь мучительными отравленными испарениями, слышно, как поскрипывает скамья подсудимых, кто-то простуженно кашляет.

— Мы можем быть совершенно спокойны,— говорит Малцужиньский.— Генерал Уотсон очистил Трибунал, выгнал отсюда несколько подозрительных личностей.

Проектор затрещал и умолк. Яркий свет с экрана резанул по глазам и тотчас погас. Полная темнота. Душно. Появились надписи на немецком языке и печати со свастикой.

Стоило лишь задернуть шторы, как в зале стало душно и жарко и вопреки очевидности он заполнился толпой. Толпа дышала и шевелилась, и у меня появилось ощущение, что в этой тесноте, где все стоят плечом к плечу, невозможно шевельнуться.

Кто-то тихо зевнул. Как по-разному каждый воспринимает то, что видит, подумала я, стремясь освободиться от странного ощущения. Может быть, зевнул Геринг?

Мы все сидим в маленьком зале, подчиняясь программе Трибунала, здесь и больной прокурор Буковяк, и окаменевший от боли бывший узник Треблинки Райсман, и я. Где-то здесь, наверное, и доктор Оравия — свидетель, не в той мере пострадавший от гитлеризма, чтобы получить право давать показания.

Киноаппарат снова затрещал. Немецкие слова. Время отодвинулось назад, всего на несколько лет, а может быть, всего на год. Я пригнулась, крепко схватилась за поручни кресла. Слышу тихое, отрывистое, похожее на всхлипы дыхание Райсмана.

Солнечная Югославия. Ярко-белые домики, южная жара. Деревья прикрывают землю пышными раскидистыми ветвями, словно на удивительно красивой акварели. Архитектурные памятники на крутых утесах, возведенные много столетий назад, тихие деревушки, стройные женщины в черных платках, чудесные морские бухты. Из вступительного слова следует, что фильм создан на основе подлинных материалов гитлеровского агентства. Крупный план позволяет разобрать знаки на бумагах архива СС и надписи готическим шрифтом под большинством кадров.

Легко представить, как по-разному будет здесь воспринят этот эсэсовский документ — скепсис, ирония, страх за свое будущее могли испытывать немецкие главари, ощущение ужаса доставалось безраздельно нам, обречен-

ным во время войны на уничтожение.

Проектор громко трещит. Все четче видны кадры фильма. Толстощекий парнишка из гитлерюгенда вскинул руку в античном приветственном жесте. По традиции, он должен свидетельствовать об отсутствии оружия в правой руке, гарантировать благие намерения и добрые вести; это милый здоровый парнишка, но за его спиной стоит длинная виселица, похожая на железную выбивалку для ковров, и на ней в ряд висят молодые югославские защитники родины. Под фотографией надпись: «Хайль Гитлер!»

После короткой паузы на экране название следующей фотографии: «Весна 1941... В Сербии цветут деревья». Белоснежные пушистые ветви яблонь, груш и вишен. Изумительный уголок сада дышет радостью и тишиной, теплом и солнцем, кажется, объектив заглянул сюда по ошибке, таким ощущением оптимизма и покоя, таким облегчением от отсутствия здесь эсэсовцев и следов их деятельности проникнута эта сцена. Камера постепенно приближается к белым, осыпанным цветами деревьям, изображение делается резче, раздвигаются тесно растущие стволы, еще раз появляется надпись «Весна 1941... В Сербии цветут деревья». В зале кто-то тяжко вздохнул, несмотря на темноту, я вижу, что подсудимый Ганс Франк прикрыл глаза рукой. На цветущих яблонях висят мужчины с откинутыми от затянутой петли головами.

Тишина душит зрителей, топит их в темноте, заглушает дыхание, может показаться, что зал абсолютно пуст. И вдруг сухой треск со стороны окна, какое-то движение, чье-то присутствие, явственно слышимое, взбудоражило всех; в полумраке видно, как люди поворачивают головы в ту сторону, откуда несся печальный, скорбный свист, расплываясь над головами. Видны туманные очертания чего-то конкретного, хотя и неузнаваемого во мраке, приближающегося с еле уловимым шумом.

Прошло еще несколько секунд, прежде чем я с облегчением поняла, что это просто ветер подхватил и внес в зал висящие на окнах шторы. Ветер ворвался сюда, словно живое существо, неожиданно появился в месте, так хорошо охраняемом американцами.

На экране немецкий солдат в этот момент вскинул топор над головой обреченного; сила, мощь, физическая ловкость, точность удара — все подчинено одному приказу: убивать, уничтожать, стирать с лица земли, обрывать человеческую жизнь.

Отрубленная головка маленького ребенка с четко очер-

ченной линией губ и рядом небольшое, в крови тельце.

Короткий фильм подошел к концу. Еще раз показана гитлеровская свастика и надпись под нею: «Весна 1941... В Сербии цветут деревья».

Смолк шум проектора. Зажгли свет. Зал замер в молчании. Не хватает воздуха. С окаменевшими лицами все продолжают смотреть на экран. Судьи, прокуроры, корреспонденты, подсудимые словно бы вообще перестали дышать.

Ганс Франк трагическим жестом спрятал лицо в ладони, сидит, наклонившись вперед.

А я, наперекор всему пережитому, не хочу верить в насильственную смерть. Удивительная смена караула, именуемая жизнью, и без того происходит чересчур быстро. Убийцы! Природа не нуждается в вашей помощи. Убийцы! Оглянитесь назад.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

В моем гостиничном номере абсолютная тишина. Сюда не доходят звуки оркестра, а может, сегодня объявили траур и не играют? Не беспокойся, играют, думаю я, лежа в темноте на очень удобной широченной кровати. Победители пользуются своими правами, открой глаза, оглядись кругом: только для этого бывают войны, только для этого одни гибнут в окопах, чтобы другие могли по этому случаю плясать, чтобы победитель мог пользоваться благами, каких бы ему никогда не видать у себя дома, за прилавком магазина или в окошечке банка. Победители чуть-чуть опоздали. Американцы, по моим нестратегическим соображениям, могли бы открыть второй фронт на полгода раньше, а то и на год, они должны были шагать вперед днем и ночью, не останавливаясь. Так мне думается. Возможно, я ошибаюсь. А если бы они вообще не высадились? Как много сделали русские. Они гнали фашистов от Москвы, пока не уничтожили зверя в его логове. Сегодня ветер развевал бы по полям куда больше нашего пепла. С нами было бы покончено, хотя возможности человеческого воображения ограниченны и в это трудно поверить. Я потеряла бы ощущение бытия, слух, зрение, осязание, способность мыслить. А быть может, от человека что-то все же остается?

Разгулялась вьюга этой ночью, ветер завывает в вентиляторе, в каких-то щелях между кирпичами, в трещинах после бомбардировки Нюрнберга. В памяти возникает хор

рабов из «Фиделио»: Sei leise, sei leise... sei leise...[1] Эта музыкальная фраза вызывает ужас, она минорна, как толпа, построенная на рассвете в бессмысленные длинные шеренги, тысячи выцветших, полинявших, серых людей — sei leise... sei leise... sei leise... За окном падает снег, sei leise, sei leise, sei leise. На подоконнике растет сугроб, как-никак на дворе еще февраль. Зима в разгаре.

Завтра я могла бы вернуться в Варшаву: дала показания Трибуналу, рассказала ничтожную часть того, что могла бы поведать наша страна после этой войны. Я поднимаюсь. За окном размазанные метелью огни Нюрнберга. Доктор Оравия наверняка снова бродит по тем же разбомбленным улицам, может быть, уже нашел антиквара, ведь он собирался опять пойти к магазину, где пыльный рождественский дед ритмично качает головой.

Сможет ли он сказать владельцу этой рухляди что-нибудь существенное? Вряд ли. Самые сокровенные мысли никогда не произносят вслух. Их повторяют про себя, лежа без сна в темной комнате.

Запомни, Нюрнберг. На стенах начертай правду для своих детей, которые вскоре начнут появляться на свет. Запомните, немцы. В этом городе никто не косит людей сериями из автоматов, как это делали ваши солдаты в оккупированных странах. Ваши вожди запугали вас. А возможно, вы гордились ими? Вы еще не знаете, как вам придется отвечать. Но одно несомненно: победители не поставят ногу вам на горло, эти методы исчезли вместе с кошмарной действительностью концлагерей.

Мир приходит в норму. Прежнее не вернется. Даже во сне оно перестанет возвращаться спустя какое-то время. Людям надоела война, надоели лагеря, надоело посыпать землю прахом убитых, хватит агрессий, хватит террора.

Со свистом налетает ветер. Меня обволакивает сонливость. И одновременно пробирает дрожь. Подсудимые остались там, запертые в тюрьме, за решетками, под охраной недремлющих стражей. А может быть, они сидят в огромном террариуме, где можно наблюдать за черепахами, жабами, ящерицами, задаваясь вопросом: почему они ведут именно такой образ жизни? Почему именно такую жизнь они хотели навязать всем нам?

Я ощущаю необыкновенную ясность мысли, несмотря на усталость, передо мной проходит снова весь сегодняшний день. Почему мои слова не пробили скорлупу в ушах

[1] Потише, потише, потише... *(нем.)*

людей, которые слушали меня, но которым я не сумела ничего сказать?

Как надо было поступать? Поднять руки? Кричать? Они не все еще знают, но я знаю и должна им напомнить: немцы! Я обращаюсь к вам. Ко всем вам. Этот поезд не делает остановок. Даже когда мы выходим на станции, чтобы полчаса спокойно отдохнуть, наш поезд продолжает катиться. Даже ночью, когда я засыпаю, прижавшись щекой к подушке, то и дело проверяя, здесь ли я или на лагерных нарах, или когда представляю себе, что сплю возле тебя, в твоих объятиях, я и тогда знаю, знаю, что это всего лишь ночь в огромном поезде без стоп-крана, который можно дернуть — и остановить движение.

Месяц над нами принимает все новые очертания, мы движемся вперед, не обращая внимания на предупредительные сигналы семафоров. Мы видели уже столько предупредительных сигналов! Стоять! Стоять! Ни часа больше на этой трансмиссионной ленте!

Река была гораздо ýже, чем нам казалось, когда мы стояли на ее зеленом низком берегу, готовясь к переправе, мечтая о многих годах и неисчерпаемом пространстве мира, в которое с такой силой стремились погрузиться. А плавание длилось всего лишь двадцать с небольшим лет! И оказывается, что вот прямо перед нами виден другой берег, покрытый жухлой травой, на которую в странной, жуткой тишине падают листья с деревьев, а люди надолго останутся еще в телефонной книге, хотя их номер давно уже не отвечает. Не все даже успеют поседеть и сообразить, что с друзьями пора прощаться, и вдруг неожиданно понимают: а игра ведь закончилась.

Телефонный звонок прерывает мои размышления. Я с надеждой снимаю трубку. Мне было так одиноко, ощущение неудачи подавило меня, поэтому я рада звонку, даже если кто-то просто ошибся номером.

В трубке слышен мощный, полный энергии баритон. Советская делегация хотела бы прийти ко мне с магнитофоном и записать, что я думаю о международном правосудии, войне, людях из концентрационных лагерей, о Нюрнберге.

Меня бросает в жар.

— Я надеялась,— отвечаю совершенно искренне,— что мне никогда больше не придется возвращаться к этой теме. Никогда.

В ответ — короткий смешок, а потом решительным тоном произнесенные слова:

— Каждому из нас придется возвращаться к этой теме до тех пор, пока фашизм не исчезнет. Значит? Во сколько с вами можно встретиться? Сегодня или завтра?

Я касаюсь ладонью лба, щек. Жарко!

— Лучше бы завтра,— робко говорю я.

Баритон мгновенно принимает решение и мощно гудит в ответ:

— Отлично. Можно в час дня? Да? Я приду точно в час. Спокойной ночи.

Значит, если я хочу, чтобы у меня была спокойная ночь после этого дня, я должна немедленно написать свои «магнитофонные показания», иначе не смогу заснуть. Но что писать? Как выйти навстречу лавине, которая в любой момент может сойти и сбить с ног? Как поднять руки, как воззвать к человеческому разуму, чтобы предотвратить этот обвал?

Обычные слова кажутся мне слишком банальными. Первый шаг в области международного права...

Я пишу, и сердце мое колотится, виски горят, губы пересыхают от жажды. Между двумя словами нажимаю кнопку звонка. Посыльный в униформе с лампасами и сверкающими пуговицами мгновенно появляется в номере, стоит вытянувшись, гордый своей должностью.

— Was wünschen Sie, Madame?[1] — спрашивает он, стоя по стойке «смирно».

Темные, остриженные коротко, на американский манер, волосы, на толстощеком, но бледноватом ребячьем лице блестят темные глаза. Как воспитывался этот паренек? Что успели внушить ему? Чему научится в «Гранд-отеле»? Чему учат сейчас в школе его ровесников? Будут ли их воспитывать в незнании всего того, что делалось в гитлеровской действительности? Победит ли в юном сознании отвращение к убийцам, эсэсовцам, старшим братьям из гитлерюгенда? А может быть, даст всходы неприязнь и брезгливость, насаждаемые втихую, но упорно уже сейчас по отношению к таким, которые, как и я, пережили, помнят, будут помнить всегда, убежденные, что забывать нельзя, потому что только так можно спасти род двуногих, развитых настолько, что сами себя называют людьми.

Паренек стоит в дверях. Он отлично вышколен, не повторяет вопроса, на меня смотрит с выжидающим вниманием большущими глазами двенадцатилетнего ребенка. Наверное, возвратясь домой, он рассказывает родным

---

[1] Что вам угодно, мадам? *(нем.)*

о своей работе, может быть, о процессе или хотя бы о судьях, прокурорах, об американцах, хозяевах и организаторах процесса, о солистах вечернего ревю, обо всех этих веселящихся людях. Со своей детской наблюдательностью он подметит не одну деталь из жизни гостиницы.

— Пожалуйста, ананасовый сок. И содовую. Если можно, еще и градусник.

Он забеспокоился:

— Haben Sie Fieber, Madame?[1]

Я улыбнулась, как бы не придавая значения собственной просьбе.

— Vielleicht. Ich weiß nicht[2].

Он ушел. Своей озабоченностью он напомнил мне времена оккупации, толпу обнаженных людей на морозе, хлыст эсэсовца, подгоняющий тех, кто еле тащится, а для тех, у кого температура и они, выбившись из сил, падают на землю,— пистолет, приставленный к виску, и выстрел. Как рассказать такие дикие вещи вымуштрованному посыльному, которому едва исполнилось двенадцать лет и который с такой гордостью носит свою униформу с лампасами и блестящими пуговицами?

Снова звонок телефона. Это маленький немецкий посыльный говорит, что может, если я захочу, привести врача. Градусник он уже приготовил, сок и воду принесет сейчас же.

— Sofort! Sofort![3]— кричит он взволнованно в трубку, потом появляется сам и заботливо уговаривает меня, чтобы я, измерив температуру, позвонила, врач будет ждать моего вызова.

Я улыбаюсь. Мальчик отвечает улыбкой и ловко подхватывает монету, которую я положила на край подноса. Благодаря щедрости Национального банка Польши, уже работающего в разрушенной Варшаве, я это могу себе позволить. Посыльный наверняка ходит в школу, может, год тому назад он рисовал отряды СС, части вермахта и гитлерюгенда. Свастики. Свастики. Мне хотелось бы взглянуть на рисунки этого юного немца, проникнуть в его мысли, узнать, что делает его мать, если она пережила войну.

Врач позвонил сам. Конечно же, это происки маленького посыльного. Он спросил, какая у меня температура,

---

[1] У вас температура, мадам? *(нем.)*

[2] Может быть, не знаю *(нем.)*.

[3] Сейчас же! Сейчас же! *(нем.)*

я успокоила его, сказала: чуть выше нормы, наверняка это следствие сегодняшнего напряжения, я прекрасно себя чувствую и могу даже пойти прогуляться. Врач коротко заявил:

— Сейчас я приду.

Мальчишка всполошил польскую делегацию, поднял шум и суматоху. Я же была уверена, что мне нужен покой и сон — и все будет в порядке. Я просила их понять это и не трогать меня.

Нюрнбергская ночь быстро окутала меня, я наконец расслабилась. Прохладная постель остужает лихорадочно пульсирующую в каждом пальце, ушах, горле и тревожно колотящемся сердце кровь. Мы все виноваты. Улитки, не умеющие жить. Не умеющие создать для себя нужные формы существования, исключить убийц из своих рядов. Только в Нюрнберге раскачался погребальный колокол, звон которого разносится по всему миру: убий-цы, убий-цы!

Немцы, неужто вам невдомек, что планета сама перемелет вас в порошок и рассеет по земле, по рекам и морям, без помощи ваших рук, ваших приказов, ваших печатей, ваших подписей? Unschuldige — Невиновные!

Немцы! Гильотина не будет отрубать ваши головы, площадь за окном пуста, не опасайтесь ножа, которым французы убивали французов.

Тут, в Нюрнберге, решат, каким будет исправительный дом для немцев, за сколько-то там лет — наказанные материально — они успеют научить своих детей и внуков, что выгоднее всего жить у себя, под своим небом, на берегу своей реки.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

— Что вы собираетесь делать в этот чудесный день? — Голос Вежбицы в телефоне так громок, что я отодвигаю трубку подальше от уха, а он уже агитирует меня: — Солнце! Солнце! У нас под Краковом в такие теплые февральские деньки пчелы отправляются в первую разведку, облетают весь сад, все окрестности. Вам тоже следует расправить крылышки после сидения в Трибунале.

— Вы правы. Мои показания им нужны как рыбе зонтик.

— Ничего подобного я не говорил,— загудела трубка.— Прошел польский день в Нюрнберге. Только вот с одной стороны сердце радуется, а с другой —

разрывается. Польский день! Черт бы их всех побрал! Всего двое свидетелей! А где остальные? Куда они подевались?

Переждав минуту, я спокойно отвечаю:

— У меня тоже отвратительное самочувствие после вчерашних показаний.

— Спокойненько! Наши соотечественники уже проведали обо всем и приглашают вас на домашнюю наливочку. Причем клянутся, что изготовлена она по старопольскому рецепту.

Я изумилась:

— Не может быть!

— У них накопились сотни вопросов, и я, хоть лопни, один не справлюсь. Сотни вопросов о Варшаве, о работе, об аграрной реформе и Национальной филармонии, о колонне Зигмунта, о Старом рынке.

Я услышала какие-то звуки и представила, как Вежбица хлопает себя по колену.

— Мне одному с этим не справиться,— повторил он.— Ни за что.

— Не одолеете старопольскую наливку?

— Ну нет, на это мне сил хватит. Хотя они намекали, что будет настойка на вишневых косточках — это раз, на орехах — два, причем обладает лечебными свойствами, ее просто необходимо попробовать, кроме того, еще будет литовская медовуха, настоянная на мускатном орехе, имбире и всяких прочих пряностях. Рецепт прабабушки, полученный в наследство правнучкой.

— Фантастика. Тогда что вы, скажите на милость, будете делать в Калифорнии? Где вы там найдете таких внучек, таких бабушек, такие кулинарные секреты?

— Ну вот! Тут вы попали в яблочко. Я вот тоже все хожу и размышляю. С одной стороны, персиковые сады. Сердце радуется! С другой стороны, разрывается. К нашим польским развалинам меня так и тянет и днем и ночью.

Я слушала голос Вежбицы, то удивительно мощный, то переходящий в шепот. Он что, волнуется? Или это просто помехи на линии.

— Все наши земляки маются,— снова загудел его голос.— Одни хотят остаться здесь. Другие — немедленно возвращаться. Обсуждают это сутки напролет. Прежде чем решиться, устраивают встречи, зазывают на вишневку, на литовскую медовуху, пельмени, галушки, картофельные оладьи. В Польшу или куда глаза глядят? Это единствен-

ная проблема, которая их волнует. Я обещал, что приведу вас. Сегодня вечером. Договорились?

— Они начнут расспрашивать меня о Трибунале. О войне.

— Детка! Их не интересует Нюрнберг. С войной они знакомы. Для них важно только, стоит ли Гевонт[1] на старом месте, впадает ли по-прежнему Висла в море.

— И какого цвета море, красного или черного, да?

— Именно. У каждого из них, а уж тем более у каждой есть свое больное место. У одного Колюшки. У другого Желязова Воля, Варка или Опочно. Один только черт знает, где бросит якорь человеческая мечта. Так что договорились? Сегодня вечером? Вот это мне нравится.

И мне это нравится. Я была по горло сыта напыщенной атмосферой «Гранд-отеля», давно мечтала высунуть нос за демаркационную линию, которая разделила город на зону Трибунала и все остальное. Вечера с обязательными танцами, с грохотом оркестров, с обескураживающим американским меню — все это уже давно перестало производить на меня впечатление.

Мысль о людях, которые трут картошку, чтобы пожарить оладьи или сварить галушки, вызвала у меня желание познакомиться с этими картофельными земляками.

Я раздвинула шторы. В ушах снова зазвучал вопрос Вежбицы: «Что вы собираетесь делать в этот чудесный день?»

Светло. Площадь между железнодорожным вокзалом и «Гранд-отелем» утопает в солнце. Я давно не видела таких ослепительно ярких лучей. Конец февраля, а кажется, будто уже ранняя весна, апрель. Я смотрю на капли воды, готовые вот-вот упасть, они все увеличиваются от тающего снега, дрожат, переливаются желтыми, голубыми, красными бликами.

Наконец-то я увижу Нюрнберг. Наконец-то перестану быть «следственным материалом», который содержат в комнате для свидетелей, лишенный свободы передвижения. Сама пойду куда глаза глядят! Все равно куда, пусть улицы поведут меня своим путем, лишь бы их заливало солнце, таял снег, дул теплый ветерок.

Я иду. Дорога направо, мимо развалин замка, вдоль рва, ведет к массивному зданию Трибунала. Прямо перед собой вижу разбросанные вдоль железнодорожных путей черные, замызганные дома.

[1] Гевонт — одна из самых высоких вершин в польских Татрах.

Значит, налево! Разумеется, какая удача: прямо от вокзальной площади начинается, блестя асфальтом, совершенно пустая дорога, я могу идти в свое удовольствие, широко шагая, чувствуя, как ветер играет моими волосами, как ласкается солнце — а ведь еще февраль! Прав был Себастьян Вежбица, говоря о первом вылете пчел. Канун весны. Канун весны в Нюрнберге. Над асфальтом поднимается легкий пар, шоссе высыхает, теряет блеск, но тем сильнее манит в путь.

Мне не нужно оглядываться, потому что знаю, за мной никого нет, слышу только собственные ритмичные шаги, не стучит подкованными башмаками эсэсовец, не шлепает лапами немецкая овчарка, идеально выдрессированная, как и ее хозяин. Я свободна, могу танцевать и петь, если захочу. Я ускоряю шаг, и это меня безумно радует.

Те остались сидеть на скамье подсудимых, убежденные в собственной невиновности, отведя от себя все обвинения.

Черная тля на нашей земле. Представители идеологии третьего рейха. Гуляя на солнце, мне хотелось бы выбросить из памяти эти маски, вперившие глаза в судейский стол, в свое будущее. Мне хотелось бы отдалиться от них не только физически, но и мысленно. За спиной остались крупные, тяжелые черты Геринга рядом с крошечным, обезьяньим, удивительно волосатым личиком Гесса. Там остались Риббентроп, Кальтенбруннер, Кейтель, Розенберг, Франк, рядом с ним Фрик, Штрейхер, Функ и Шахт, обвисший, как старый охотничий пес, уже непригодный для охоты.

Остался еще второй ряд восковых фигур гитлеровских главарей, которые когда-то были нормальными людьми и могли бы ими остаться: Дениц (гросс-адмирал!), Редер, Ширах, Заукель, Йодль, Папен, Зейс-Инкварт, Шпеер, Нейрат, и последний из них — Фриче. Невиновные. Все невиновные. Каждый из них вставал по очереди и на вопрос председателя Трибунала отвечал:

— Unschuldig! — Невиновен!

Я забуду об их существовании, каждый шаг очищает мои мысли, нарыв вскрыт, гитлеризма больше не будет, страшный сон прервался, закон возвел барьеры перед геноцидом. Забыть, как можно скорее забыть. Уйти как можно дальше.

Упоение одиночеством, солнечным утром, простором придает мне силы, мне хочется до конца прошагать эту

седую дорожку, которая так быстро выбралась из застроек и теперь ведет меня по лугам, кое-где еще покрытым снежной пеной, из-под которой топорщатся прошлогодние кусты и трава, стебли щавеля, шиповник. Лишь на линии горизонта виднеются коробочки жилого массива, но это далеко отсюда, солнечный свет почти поглощает их.

Солнце начинает припекать, и я расстегиваю пальто. Значит, эта чудесная дорога среди полей — это Германия? Германия?! Да, да, это не сон. Никогда не мог бы мне в те годы присниться столь оптимистический сон.

Вода в придорожной канаве еще скована льдом, но кое-где он уже растаял, и под водой сквозь лед видны зеленоватые, рыжеватые, коричневые растения.

Разглядывая кустики и листочки, я ступаю на узкие мостки, на которых поблескивают остатки тающего снега. Подгнившая доска внезапно уходит из-под ног. Ничего страшного. Зацепившись за какую-то щепку, я порвала чулки и чуть оцарапала кожу. Стою согнувшись, смотрю на свои ноги. Вернуться в «Гранд-отель»? Из-за такой чепухи? Не знаю даже, что и делать? Идти в таком виде?

Человеческий голос в этом пустынном месте в первый момент напугал меня, я резко обернулась. Передо мной стояла женщина, совершенно лишенная женственности: длинная юбка, некрасивый фартук, бесцветные волосы, бесцветные глаза. И красные, потрескавшиеся, набрякшие руки, ярким пятном лежащие на фартуке. Пустые, ничего не выражающие глаза. Движения натруженных рук хоть что-то выражают, куда более выразительны, чем слова, которых я в первый момент вообще не смогла разобрать. Когда она поняла, что я иностранка, то ткнула красным пальцем на мои поцарапанные колени и двинулась вперед.

За деревьями я увидела дом, такой же бесцветный и неуютный, как и его хозяйка. Никаких следов красоты ни в ней, ни в старых стенах, ни в подслеповатых маленьких окошках. Солнце заливает светом мир, но это дом и эта женщина воплощение серости. Уродство и то может удивить, а эта серость просто удручает. Мне захотелось уйти. Но женщина снова махнула красной рукой и открыла дверь в дом. Немецкий дом.

Я не решалась переступить порог. Дом врага. Первое со страшных времен оккупации жилище людей, которые называются немцами. Войти или не войти к ним? Может быть, эта женщина вместе с другими вопила на «партайтагах», что хочет Drang nach Osten, что ей нужно «жизнен-

ное пространство», раскаляя добела эйфорию вождя своим участием в эйфории толпы. Они показывали фюреру свои раскрытые рты, чтобы он мог сосчитать, сколько золотых мостов и коронок ему надо похитить в Европе, чтобы осчастливить своих сторонников.

Женщина смотрела на меня своими бесцветными, как вода, глазами и не двигалась, казалось, только ее натруженная рука приглашала меня войти.

Если бы она проявила хоть малейшую настойчивость, я бы отказалась гордо и с презрением, чтобы эта немка поняла, что́ руководит моими поступками. Но ее спокойствие и терпение так напомнили мне женщин из польских деревень, которые покорно ждали, когда им заплатят за работу, когда поспеет рожь, ждали ребенка, который пас коров, ждали милости божьей. Ты сошла с ума? — подумала я и переступила порог. Узкие сени, ручной работы половичок, бесцветная кухня с занавесками на окнах, на которых вышит спасительный девиз: "Morgenstunde hat Gold im Munde"[1].

От этого вышитого блестящими нитками, уже слегка полинявшего от стирок девиза меня стали одолевать дурные мысли, я ничего еще не знала об этой женщине, а мне хотелось знать. Она тем временем толкнула дверь в комнату и отступила в сторону, пропуская меня. На лице ее все тот же равнодушный взгляд. В комнате было темновато, однако я рассмотрела все сразу и от удивления раскрыла рот. На розовом в разводах умывальнике под мрамор стоял розовый таз и розовый кувшин. Рядом супружеское ложе размером с военный корабль, занимающее большую часть парадной комнаты. Над кроватью распятый Иисус Христос в пастельных тонах с терновым венцом на челе, а чуть дальше три больших портрета: на темном фоне три композитора. У всех трех лица цвета мясной отбивной. Несмотря на эту чудовищную технику рисования, черты одного из них я узнала.

— Людвиг ван Бетховен, не так ли? — пришлось спросить из вежливости по-немецки.

Она обрадовалась чрезвычайно. Два соседних «бифштекса» являли собой Баха и несчастного Моцарта, которому так и не довелось при жизни «обзавестись» жирными, полнокровными щеками, которые характерны для любителей пива.

---

[1] Соответствует русской поговорке: «Кто рано встает, тому бог подает».

Мое немое созерцание отвлекла суета женщины. Розовый умывальник был открыт, и теперь я имела возможность восхищаться еще одним предметом под мрамор: пузатым ночным горшком.

"Adolf Hitler soll uns führen"[1],— запели у меня в голове безымянные, безукоризненно печатающие шаг немецкие воинские части.

Женщина тем временем принесла теплую воду, разумеется в другом тазу: «мрамор», вероятно, был слишком тяжелым, а быть может, предназначался для других, более торжественных случаев,— усадила меня на стул, лицом к произведениям искусства, чтобы я могла любоваться портретами великих музыкантов. Затем, сев передо мной на колени, старательно промыла ватой мои раны.

Моего знания немецкого языка оказалось достаточно, чтобы мы понимали друг друга. Ничего страшного, это просто царапина, твердила я, но она, точно юный скаут, обязательно хотела совершить благородный поступок. Ни на каком языке я не смогла бы разобраться в том, что думает эта женщина, что она думала во время войны, как относится к Трибуналу, вершащему суд над главными нацистами. Да и интересует ли ее это вообще?

Она быстро перевязала мои ничтожные царапины. Не зная, чем ее отблагодарить, я вовремя вспомнила, что в кармане у меня американские сигареты.

— Rauchen Sie?[2] — спросила я, протягивая ей пачку с коричневым верблюдом на фоне пирамид.

— Ох! — воскликнула она, хватая подарок красными руками и прижимая к шее.— Спасибо! Большое спасибо! Хорошие сигареты. Они будут ждать его.

Бесцветные глаза стоявшей передо мной на коленях женщины заблестели. Значит, все-таки какой-то «он» существует. И здесь его ждут. В этом убогом, бедном домишке с розовым умывальником из искусственного мрамора и портретами трех композиторов.

Она склонилась над ящиком комода и на самое дно запрятала «Кэмел». Потом взяла мои разорванные чулки, и в ее пальцах появилась иголка с ниткой.

— Минуточку! Минуточку! Сейчас! — слышала я в ответ на мою просьбу не делать этого. Она надела очки, и иголка быстро-быстро замелькала в ее руках.

— Во всем Нюрнберге вы не найдете теперь и пары

[1] Пусть ведет нас Адольф Гитлер *(нем.)*
[2] Вы курите? *(нем.)*

чулок. Их давно уже нет. В магазинах пусто. Хорошие чулки сегодня просто клад. Сокровище.

Неожиданно пошел дождь со снегом, тучи низко нависли над домом, в комнате сделалось темно. Я стояла у застекленной двери и смотрела на небо. Капли стучали по крыше, по жестяным подоконникам, по обледеневшим склонам канавы.

Я не сразу услышала тихие вздохи женщины, о которой в этот момент я просто забыла. Сквозь шум дождя до меня донесся ее тихий шепот:

— Всегда ждать... всегда ждать... Как долго еще? О боже мой! О боже! Отче наш, иже еси на небеси...

Значит, этот громкий шепот — просто молитва, и мне не следует оглядываться.

Наконец я поняла из обрывков слов, что это не молитва.

— Mein Gott! Mein Gott! Я родила троих. Воспитывала, как могла лучше. Вставала по ночам. Когда малыш плакал от голода, я бросала все и кормила его. Кормила я, а не генерал. Не капрал. Не унтершарфюрер. Стояла возле казарм, когда одного за другим, как они подрастали, призывали в армию и там учили. Я знаю, чему их учили, mein Gott! O mein Gott! Их учили хорошо. И вбивали в головы одно и то же. Сначала призвали Отто, моего старшенького. Как смеялись младшие, как мы все смеялись до слез, когда узнали, что нашего Отто посадили на гауптвахту. Mein Gott! Mein Gott! Как это весело! Только я не видела в этом ничего смешного и не спала по ночам, вздыхала и вздыхала все дни. Через какое-то время он приехал в отпуск, отъелся, отоспался, нас снова было дома пятеро, как и прежде. По ночам Отто кричал во сне. Мы все вскакивали, муж успокаивал меня, говорил, что у Отто сводит ноги от муштры. O Gott! O Gott! Муж опять ложился, и сразу же раздавался его храп. Однажды Отто признался мне, что его учили бомбить большие города. Сколько бомб надо сбросить на такую цель.

Она на мгновение замолчала. Сквозь шум дождя я слышала, как она вздыхает. Я все стояла неподвижно и смотрела на дождь. Потом снова до меня донеслись слова, обращенные к богу.

— И вот пришел день полкового праздника. Вся наша семья поехала к Отто. Я положила в корзинку немного пирогов... Я не узнала своего сына. Все солдаты выглядели одинаково. Толпа одинаковых молодых лиц. Отто шел, как все остальные, нес винтовку, щелкал каблуками. Произошло что-то ужасное, это я поняла. Когда-то давно мне попались в руки книги, которых я никогда не могла забыть. Теперь

я собственными глазами увидела, что «на Западном фронте без перемен». Мне надо было тогда кричать. Надо было схватить нож и всадить его себе в сердце. Зачем я, дура, родила им троих, на которых наденут мундиры и заставят маршировать, выполнять приказы, стрелять.

Дождь превратился в град, я смотрела, как подскакивают беленькие шарики, точно крошечные мячики, их становилось все больше и больше, белым слоем легли они на обочину дороги. Наверное, мое воображение помогало мне дополнить слова незнакомой женщины. А она продолжала говорить в каком-то болезненном исступлении. Я с ужасом угадывала то, что пришлось ей пережить и что испытывает она теперь.

— O mein Gott, mein Gott! Я помню, как закричала: «Отто!», потому что на одном из них мундир сидел именно так, как должен был бы сидеть на моем мальчике, на его худеньких плечах. Нет, это был не Отто. Я ошиблась. Оказалось, это другая рота. Мы пошли искать Отто.

Она замолчала. Казалось, ее скорбь исчерпалась, и до меня не доносились даже вздохи. Я тихо обернулась. Она сидела, уткнув лицо в красные, набрякшие ладони.

Вдруг наступила тишина. Дождь перестал барабанить по крыше и водосточным трубам, за окном легко и бесшумно падал снег.

— Младшие братья нервничали: «Где Отто? Где Отто?» Гарри тогда как раз исполнилось пятнадцать, а Вилли шел семнадцатый. Наконец мы нашли нужную роту. Гарри закричал, что вон там он видит Отто, и мы все пошли напрямик через кусты за Гарри. Но меня что-то остановило, ноги не слушались, а сердце замерло в груди, будто превратилось в камень.

Она отвернулась и, подперев голову кулаками, смотрела на метель за окном.

— Это был не Отто. Шелестели от ветра листья берез, а фигура стояла, не шелохнувшись. Мы начали спорить, кто прав. Между деревьями мы отчетливо видели очертания человеческой головы. Гарри и Вилли, тощие подростки, но считавшие себя уже совсем взрослыми мужчинами, начали смеяться надо мной, и я быстро пошла за ними. Но потом снова замедлила шаг и снова почувствовала, как мои ноги, мои мысли наливаются свинцом.

Женщина вздохнула.

— Да, за деревьями мы увидели человека, нарисованного на стене здания темной краской. Нарисованный и в профиль и анфас в натуральную величину, как на анатоми-

ческой карте, что висят в больницах. Я учила своего сына кормить птиц, заботиться о животных, быть добрым, всем делиться с друзьями. Я учила его молиться, рассказывала ему сказки, в которых была правда и красота жизни. А они, эти садисты на полигоне, открыто, не таясь, приказали ему взять в руки автомат и стрелять по человеческим фигурам. Учили его, как попасть в голову, как бежать вперед со штыком наперевес, как целиться в живот и убивать. На меня напал страх. Я начала понимать, что когда-нибудь они отдадут приказ, и это будет уже не на полигоне. Я посмотрела на младших сыновей, подсчитала, что вскоре и их призовут одного за другим. «Мама, ты такая бледная!» Передо мной стоял мой сын, рядовой Отто. Мы посмотрели друг другу в глаза. «И ты тоже бледный, сынок». Он пожал плечами. Чужой человек. Манекен в мундире.

Заиграл оркестр, раздались команды. Отто пришлось побежать туда, где строилась рота. Я снова потеряла его из виду. Страх, появившийся в тот день, уже не отпускал меня, качались на ветру верхушки молоденьких берез, и на фоне этой шумящей зелени шагали вперед и назад черные силуэты, а я стояла, объятая ужасом, и внезапно начала понимать, что выросла на земле, которую себе не выбирала, не одобряла ее законов, и никто не спрашивал меня, мои ли они, смогу ли я жить с ними и не будет ли моим мальчикам тяжело нести груз своих обязанностей, как и жестяные мундиры, смогут ли они расти, не поранив своих рук и ног.

Она снова ненадолго умолкла. Иголка ловко мелькала в ее руках.

— Мы уехали оттуда, но в моей памяти навсегда сохранился человек, нарисованный на стене дома, в которого учили стрелять молодых парней.

Под окном мелькнула тень человека, он двигался с трудом, неловко и осторожно. Женщина умолкла, задержав дыхание, пока хромающий инвалид не исчез из виду.

— Если бы генерал рожал детей, o mein Gott, многое бы в этом мире было устроено по-другому! Но природа распорядилась иначе.

Опять полил дождь. Это ее слова или мои раздумья, навеянные непогодой? Снова тихий вздох. И опять заговорила женщина:

— Отто еще не вернулся с учений, а уже призвали Вилли. Дома остался один Гарри. У него были музыкальные способности. Мне хотелось спасти хотя бы его. Но в гитлерюгенде ему сразу вручили трубу с вымпелом, а на вымпеле вышита была огромная свастика. Горнистов было десят-

ка полтора и еще несколько барабанщиков. Выглядело даже красиво, когда они шагали в ногу, чеканя шаг под звуки фанфар. Мой муж и старшие мальчики приходили в восторг. Я нет. Я боялась. Издалека в этих мундирах с повязками на рукавах они казались одинаковыми. Я перестала отличать и младшего, когда он шел со своим отрядом. Если я сразу не могла узнать, на меня нападал страх. Я теряла последнего ребенка.

Дождь затихал. Отдельные капли с ритмичным стуком скатывались с крыши. «Пусть ведет нас Адольф Гитлер!» — распевали перед самой войной и во время войны мальчики в красивых мундирах, к улыбающимся губам подносили трубы со свастиками, откидывали гордо головы, трубя в честь своего вождя.

— Я предпочла бы, чтобы он вернулся без ног,— рыдание сдавило ей горло, я поняла, что она больше не может сдерживаться.— Без ног. На костылях. Как Пауль, сын моей соседки. О mein Gott! Пусть бы вернулся без ног, но живой. Хоть бы один из них. Отто. Или Вилли. Или Гарри. Или мой муж.

Дождь совсем прекратился. Женщина замолчала. Я выглянула на улицу, подняла голову. И вдруг ни к селу ни к городу сказала:

— Распогодилось. Скоро весна. Деревья зацветут в Сербии.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

По дороге я размышляла о трусости. Мне не хватило храбрости сказать этой отчаявшейся немке те слова, которые я так часто адресовала ей в годы оккупации, когда вблизи, на расстоянии метра или даже шага от невидимой границы между жизнью и смертью, я смотрела на зверства молодых и сильных Отто, Гарри, Вильгельма, их немолодых отцов, поражаясь отсутствию у них совести. У меня было столько вопросов к немецким женщинам! Тогда мне еще казалось, я верила, да я и сейчас продолжаю вопреки всему верить, что у человека существует право выбора. У меня были претензии к ней и ко многим таким же, как она, почему они позволили, не остановились, не предотвратили эту гангрену.

Правда, в Биркенау прибывали эшелоны из Германии с отважившимися на решительный протест домашними хозяйками, которые будто бы устраивали голодовки, бойкоты, совершали прочие доступные, но такие бессильные выступ-

ления против войны, мобилизации мужей, против нарушения законов жизни. Но это были лишь отдельные демонстрации в маленьких местечках, до того незначительные, что не имели абсолютно никакого значения.

Я шла быстро. Мысли ускоряли биение сердца, придавали энергию движениям. Mein Gott! Mein Gott!

Мой бог испарился вместе с дымом из труб крематориев. Не разверзлась от воплей отчаяния небесная лазурь, слои атмосферы не жгли подошвы всемогущего и ко всему равнодушного небожителя. Я перестала ждать справедливости оттуда, откуда может прийти лишь дождь, снег и солнце.

Кару назначат сами люди. Нюрнбергский трибунал, страны антигитлеровской коалиции.

После ливня потеплело, с юга дул ласковый ветер. Сегодня я забыла о страхе, шагала среди множества голубых, окрашенных небом луж. Поблескивал мокрый асфальт. Это утро, первое после моего выступления, помогло мне наслаждаться движением, дождем, ароматом чистого воздуха и вымытых улиц.

В «Гранд-отель» я вернулась за полчаса до условленного времени, быстро перечитала свое выступление и, недовольная, пробежала его еще раз, более внимательно, стараясь думать о том, что писала вчера. Голос у меня был на удивление бесцветный, серый, я почему-то едва слышно произносила слова, которые вечером, казалось, полыхали, прожигали жгучие проблемы, взламывали какие-то заколоченные железом двери. Сегодня они поблекли.

На скамью подсудимых в Нюрнберге ежедневно садятся двадцать один человек. Никто из нас, свидетелей, обвинителей, судей, корреспондентов, не в состоянии установить, сколько человеческих существ каждый из этих преступников уничтожил своими приказами. Сколько было расстреляно? Сколько погибло в тюрьмах? Сколько умерло от голода? Сколько удушено газом? Я смотрела вчера на скамью подсудимых, и перед моими глазами проходили тысячи, десятки тысяч, миллионы убитых. Я вспомнила расстрел парней, чья кровь обрызгала стены домов, расстрел стариков, которые вместе с молодежью встали на защиту своей страны и погибали в пытках.

Я видела грустные глаза польских, греческих, русских, итальянских детей, совсем маленьких и неразумных, включенных в программу германизации. Матери этих детей, женщины из Польши, Греции, России, Югославии и Голландии, умирали от голода, который был менее мучительным, чем мысли о голодной смерти их дочерей и сыновей.

На скамье подсудимых мы видим только двадцать одного. Будет ли победа над гитлеризмом означать победу над геноцидом? На это ответит история.

Какие банальности! Просто вода! Прямо стыдно. Надо бы выбросить в корзину эти исписанные вчера листки и просто спросить через микрофон людей, которые победили немцев и водрузили знамена над Берлином, знают ли они, куда идти, как жить, чтобы не жить во вред себе?

Я спустилась в ресторан. В это время здесь играл камерный оркестр, исполняли главным образом немецких композиторов, изредка звучал Моцарт.

Я села за стол польской делегации; его украшали ландыши, их поставили так, что казалось, будто они росли из скатерти, образуя зеленые заросли с белыми цветочками. Мне хотелось поесть одной, одиночество в тот день больше всего подходило к моему настроению.

К счастью, я пришла сюда пораньше, и ни один официант не будет мне морочить голову своей чрезмерной обходительностью.

Я прикрыла глаза. Просто послушаю музыку... Это Моцарт, «Волшебная флейта», ее исполняют совсем неплохо, хотя и со свойственным ресторанным оркестрам излишним буквализмом. Можно представить себе, что это вовсе не «Гранд-отель», а театр. Будто уже восстановили Большой театр в Варшаве и я сижу где-то высоко на галерке, я ведь никогда не сидела на других местах, поскольку покупала билет со студенческой скидкой всего за 55 грошей.

Вздох. И от неожиданности я вздрагиваю: кто-то прикрыл ладонью освенцимский номер на моей руке. Я с трудом сдержала отвращение. Решительно отодвинувшись, быстро натянула жакет.

В зале, как и во всей гостинице, слишком жарко, но здесь всегда надо брать с собой жакет, чтобы не сталкиваться с проявлениями подобной сердечности.

Сияющие щеки... Сверкая зубами, надоевший репортер наклоняется ко мне. Его зубы все ближе и ближе... Чтоб его черт побрал!

Хоть я и спрятала свой номер, но кожей все еще ощущала наглое, фамильярное прикосновение ладони энергичного репортера, который как раз придвинулся ко мне со своим стулом и, абсолютно убежденный в своих безукоризненных манерах, спросил:

— Darf ich?[1]

---

[1] Вы позволите? *(нем.)*

Он сидел, закинув ногу на ногу. Достал из кармана блокнот. Ему очень приятно, сказал он, что наконец сможет задать несколько вопросов, ему хочется знать, каковы мои впечатления после дачи свидетельских показаний.

Да. Но мне это было куда менее приятно.

Я поняла, что мне даже не хочется думать о своих показаниях. На душе остался неприятный осадок.

Я снова почувствовала смущение, как вчера, когда в полной тишине отвечала на вопросы о вшах, мисках, которые бросали в выгребные ямы, а потом раздавали вновь прибывшим, как разливали суп из брюквы.

У столика остановился в вежливом поклоне официант, держа в руке меню.

— Минуточку,— остановил его репортер и попробовал завести разговор о вчерашнем заседании Трибунала.

— Дорогой редактор! — прокурор Илжецкий возник за моей спиной как ангел-хранитель. Он говорил по-английски, и в голосе его слышался еле сдерживаемый гнев.— Всему свое время, работе и отдыху. Нельзя морить голодом свидетеля. Вам не кажется? Она достаточно наголодалась за годы оккупации. Не мешало бы заказать что-нибудь вкусненькое. Почему вы отодвигаете меню?

Он властно махнул розовой ладошкой, подозвал официанта.

Репортер извинялся и кланялся, наконец ему удалось вставить первый вопрос:

— Так скольких свидетелей обвинения, кроме вас, пригласили из Польши?

Я потянулась к цветущим ландышам и, смущенная вопросом, сломала зеленый стебелек с ароматными колокольчиками. Только теперь я заметила, как странно выглядит на фоне белой скатерти моя рука с полоской синеватых цифр.

Илжецкий закрыл и отодвинул репортерский блокнот, хлопнув напоследок по серой обложке.

— Смените пластинку, редактор. Хватит! Сегодня мы не даем интервью. А свидетели сюда еще приедут. На последующие процессы. Вы в этом убедитесь. Мы по очереди всех привлечем к суду: сначала гитлеровских врачей, потом промышленников — создателей оружия массового уничтожения. Постепенно, шаг за шагом, найдем всех виновных, вытащим их из укромных местечек, где они пока притаились.

Официант совершенно бесшумно расставлял тарелки, налил в рюмки красного вина. Репортер вытащил еще

один блокнот, старательно переписал туда мой номер, вывел печатными буквами имя и фамилию, попросил проверить, верно ли.

— Давайте сменим пластинку,— повторил Илжецкий на своем хорошем английском языке.— Вы не хотели бы отправиться с нами в Гармиш-Партенкирхен?— обратился он ко мне.— Хочется сбросить с себя все это. И Оравии тоже стоило бы увидеть Германию с другой, более приятной стороны. То, что его вычеркнули из списка свидетелей, было для него ударом. Хочется познакомиться с обычными, нормальными людьми, поговорить с ними, иначе можно сойти с ума. Я скоро спячу!

— В Гармиш-Партенкирхене в это время полно солнца.— Сияющий репортер готов был во время всей нашей трапезы описывать прелести, ожидающие туристов в этом очаровательном уголке Германии. К счастью, перед нами возникла серебряная грива Себастьяна Вежбицы, который заговорил полным жизни и силы, мощным голосом.

— Сенсация! — сообщил он, обращаясь ко мне.— Хотя, может, не столько сенсация, сколько обычное дело. Вы можете себе представить, у рядового Нерыхло оказалась хорошая память. Тогда после концерта он рассказывал о событиях в его родной деревне. Надо признаться, я сомневался. А теперь нашелся еще один паренек со странной фамилией Паниц. И вот этот Паниц тоже узнал того типа.

— Было время panычей, пришло время Паницев,— пошутил Илжецкий.

— Браво, пан прокурор. Чтение комиксов отлично влияет на ваше чувство юмора...— сказала я.

Илжецкий сдвинул очки на самый кончик розового носа, внимательно поглядел на меня и погрозил толстым пальцем.

— Послушайте, по-моему, свидетель себе много позволяет... Я призываю свидетеля к порядку. В следующий раз назначу штраф.

— Значит, это тот самый тип? — спросила я Себастьяна.— Тот, о котором тогда рассказывал Нерыхло? И что же? Вы следите за ним?

— Куда там! Нам прежде всего приходится следить за Нерыхло. Чтобы он не наломал дров, не наделал глупостей вместе с этим Паницем. Они же сорвиголовы! Сосунки! Оказывается, у него отличная память,— повторил он уже мне одной.— Деревенский паренек, запуганный тем, что происходило, а все же наблюдательность его не подвела.

Репортер что-то записывал. Илжецкий словно бы

ожидал продолжения. Вежбица вдруг понял, что сказал лишнее, и тут же сменил тему.

— Вечером мы организуем ночную жизнь! — заявил он.— Наконец-то вдали от этой нюрнбергской танцплощадки.

Илжецкий с любопытством вытянул шею.

— Что? Вы приглашены на ужин к землякам? Меня тоже уговаривали. Может быть, я даже выберусь туда, тем более что там должен быть мой одноклассник. Дорогу я запомнил: сесть в трамвай, сойти, если не ошибаюсь, у тополиной аллеи. И там два шага до Стейнплаттенвег.

— У вербной аллеи,— поправил Вежбица.

— Верно, у вербной... Мой друг так и говорил: свернешь налево и сразу же увидишь три дуба и воронку от бомбы.

Вежбица рассмеялся, оглушительно грохоча.

— Ну и ну! Я разные команды в армии давал: «Воздух!», «Укрытие!», «Отбой!», «Вольно! Можно курить!». Но чтобы так подробно, после каждого налета поучать ребят... Нет, такого не бывало.

Илжецкий повторил:

— А они так объяснили: свернешь налево там, где огромная воронка от бомбы и две поменьше.

Репортер все время пытался вступить в разговор, который шел без его участия.

— Жаль,— вставил он наконец, переводя взгляд с одного на другого.— Жаль, сегодня вечером в гостинице экстра-класса ревю. Стоит посмотреть.

Вежбица постучал пальцами, давая понять, чтобы репортер помолчал.

— Так что, мои дорогие, слова прокурора Илжецкого для каждого из нас должны быть приказом: пройти три дуба и сразу нырять под крышу к землякам.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Я вышла у вербной аллеи и огляделась. Полупустой трамвай тарахтел, отдаляясь по рельсам. Вокруг не было ни души. Я стояла растерянная в незнакомом мне месте.

Вроде я все правильно рассчитала. В Нюрнберге ориентировалась неплохо и поэтому никаких сложностей не предвидела. Если найду дом земляков, то смогу у них побыть какое-то время и вернусь в «Гранд-отель» к ужину.

Насыщенные солнцем почки на деревьях уже золотились, качаясь от легкого ветерка, они напоминали янтарь, опущенный в морскую воду: вот-вот начнется весна.

Год назад, в феврале сорок пятого, колонны всевозможных Отто еще маршировали здесь, распевая песни. Колонны Отто маршировали, невзирая на тяжесть подкованных башмаков, боль в мышцах, личные интересы, веру или неверие в смысл войны. «Пусть ведет нас Адольф Гитлер» — эта песня наверняка доносилась и сюда, где стоят маленькие домишки, прикрытые гибкими ветвями верб, шелковистыми, как волосы Лорелеи, которые она ленивыми движениями расчесывала золотым гребнем, сидя в час заката на высокой скале над Рейном, о чем так трогательно поведал Генрих Гейне и не менее трогательно читала нам на уроках немецкого языка пани Этц, увлеченная красотой и поэзией своей страны.

Между домиками пустынно. Я стою и всматриваюсь, очарованная тишиной. Свежестью, чувством безопасности.

Я медленно иду и на своем пути не встречаю ни души. Наконец между качающихся золотых нитей верб я заметила женщину, входящую в дом. Сгорбленные плечи, седые волосы, черная куртка, вижу движущийся силуэт, который растворился в темноте. И больше никого. Округа словно вымерла. Пустые балконы, пустые окна, горьковатый и очень знакомый запах древесной коры. Я вспоминаю прогулку по лесной просеке. И иду вперед. Над трубами нет дыма, от этого усиливается чувство неприютности. Солнечное тепло не выманило из дома ни ребенка, ни матери с младенцем в коляске, ни мальчишки на велосипеде, ни даже собаки. Отчетливо слышен скрип гравия под моими ногами, порой хрустнет ветка.

Пока зимнее солнышко грело мне спину, мое хождение по окраине казалось обычной прогулкой, с которой в любую минуту я могла вернуться. Но вдруг сгустились облака, и, хотя кровавое зарево висело над черными очертаниями развалин, заглядывая в разбитые окна, тепла оно уже не давало, а, наоборот, пугало и предостерегало от чего-то более страшного, чем руины Варшавы. Подул ледяной ветер.

Только теперь я почувствовала, что моя обувка совсем промокла, ноги начали мерзнуть. Под мое легкое демисезонное пальто пробрался холод. Я все еще в любую минуту могла повернуть обратно, хотя от трамвайной остановки удалилась на добрых полкилометра; по ошибке я вышла раньше, чем надо, и брела теперь по белой пустыне, где резвилась поземка.

Мне хотелось признаться кому-нибудь в собственной беспомощности, рассказать, как напрасно я ищу нужный мне домик, не знаю, как вернуться в «Гранд-отель».



9—1203

Желтый туман опускался на улицы, меняя освещение, насыщая густой сыростью каждый миллиметр пространства, туман проникал в легкие, как пар в бане, все исчезло, очертания деревьев и строений появились внезапно, пугая своим сходством с фантастически страшными картинами разрушений.

— Ненавижу туман, надо из него выбраться,— твердила я себе.— Уж коли черт меня сюда принес, я должна найти виллу двух счастливых супружеских пар и своими глазами увидеть, как все это выглядит в реальной жизни. Для этого ли я теперь тащусь по снегу? А может быть, меня больше притягивают люди, которые должны сегодня собраться в том доме? Мои земляки?

Надо было попросить американского диспетчера в гостинице дать мне автомобиль. Но со вчерашнего дня меня носит по городу и окрестностям жажда полной свободы и одиночества.

Задумавшись, я не заметила, в какой момент вошла в засыпанные снегом распахнутые ворота, по бокам появились деревья, обрамляющие ведущую к подъезду аллею. Звуки шагов за спиной напугали меня. Я резко обернулась. В поле зрения никого. Но слышен бас, и видно, как облачко белого пара поднимается в снежной мгле.

— Кого здесь боги ведут? Мы не договаривались, а идем вместе.

— По-моему, это чья-то резиденция,— изумилась я.— Я ищу маленький домик под Нюрнбергом.

В ответ я услышала раскатистый смех.

— Резиденция, как же иначе, резиденция...— наконец-то я разглядела, что передо мной Себастьян Вежбица.— Резиденция,— повторил он нараспев, задумчивым тоном, каким порой говорят склонные к мечтательности люди,— только вот прислуга не выходит с фонарями. Эй, там, отворяйте! Холопы, ко мне!

Я натыкаюсь на три дуба, растущих вместе на небольшом холмике, и рядом огромную ямищу, воронку от авиабомбы.

— Вот именно! — воскликнул Вежбица.— Война закончена, бомбежка закончена. Вольно!

Дом, в котором жили две польские семьи, я узнала сразу, как только Себастьян показал мне освещенный вход. Это было просто: на балконе развевался красно-белый флаг.

Я услышала множество голосов и польскую музыку и тут же остановилась, готовая повернуть обратно. С меня хватит танцевальных вечеров в «Гранд-отеле», танцы земляков меня не интересуют. Даже если это были куявяки и обереки.

Вежбица, довольный, шел впереди. Как только я высказала ему свои сомнения, он развеял их, махнув рукой.

— Без нервов, барышня! Здесь никто не танцует. Здесь наши земляки ведут тихие ночные беседы, а точнее — бурные гневные споры, и пусть меня фрицы схватят, если я ошибусь, сказав, что пани Дорота пытается музыкой заглушить бурные страсти.

Я слушала его с изумлением.

Вежбица просвистел отрывок «Присяги».

— В Нюрнберге у стен тоже есть уши. Эти уши, возможно, даже больше, чем вы думали. Да, да. Ну что, войдем? Прямо с крыльца мы попадем в комнату, где сидят гости.

Он подал мне руку изысканным жестом, словно бы открывал придворный бал полонезом. Подкрутил усы, улыбнулся своей сердечной и теплой улыбкой. Мы вошли, в первую минуту никем не замеченные.

За длинным столом сидело вплотную много народу. Чувствовали они себя превосходно и свободно, может быть не совсем так, как на именинах у лучших друзей, но по-свойски, очень по-свойски, это сразу бросалось в глаза, с первого же мгновения. В общем шуме сливалось много голосов. Тема интересовала всех, перебивая друг друга, все пытались высказаться, выкричать свою обиду, боль, комплексы, тревоги.

Вежбица был прав, это были типичные беседы земляков на чужбине. Сидят, зажатые, плечом к плечу, так что и не шевельнуться, и все равно бурно реагируют, размахивают руками, что небезопасно для блюд и напитков, рюмок и бутылок.

— Это они нас будут реабилитировать? Нас? — кричит, ударяя себя кулаком в грудь, смуглый молодой человек.— Реабилитировать, как преступников, за то, что я потерял здоровье на всех фронтах?

Его перебили. Все кричали одновременно, и нельзя было разобрать, кто поддерживает, а кто возражает. Прошло немало времени, пока я снова не услышала его голос:

— Я не выбирал себе войны. И Лондона не выбирал. Гитлеровцы разбомбили наш аэродром первого сентября.

— Так вы летчик? — с интересом спросил кто-то, невидимый за клубами табачного дыма.

— Я, увы, не прошел медкомиссию! Близорукость. Поэтому был механиком. Но, когда увидел, что немцы уничтожили почти все наши самолеты, сам не знаю как очутился в кабине, сам не знаю как взлетел и доложил о своем прибытии на британской земле. Там мое зрение уже никого

не интересовало, важно было только уметь атаковать врага.

— Так вы воевали летчиком? — переспросил тот же голос.

— Да. И поэтому теперь мне, видите ли, надо подавать прошение о реабилитации! О том, чтобы меня простили! Предали забвению мое преступление, которое состояло в том, что я боролся с оккупантами, что стал инвалидом. Только после реабилитации я могу вернуться на родину.

Капитан Вежбица придвинулся поближе ко мне, плечом я чувствовала его плечо.

— Вас удивляет атмосфера этого сборища? Они все достойные люди. У них одна беда: долгие годы не приходилось сидеть за обильно заставленным столом в кругу друзей. Долгие годы не было возможности разговаривать так свободно. Поэтому они орут все одновременно, их мало печалит отсутствие слушателей. Калибан вышел из подземелья и теперь может драть глотку вместе с другими Калибанами. Тут идет спор на самую важную для каждого честного человека тему: возвращаться ли на родину или искать счастья в другом месте? А как вы решили? Я мог бы уже записать вас на какой-нибудь конкретный день.

Мне пододвинули стул, и я оказалась между двумя незнакомыми людьми, что-то возбужденно, громко выкрикивавшими.

— Наша цель,— грохотал болезненно-бледный мужчина, напрягаясь от крика и делая паузы, чтобы передохнуть,— отнять страну у чужаков. Пусть они уйдут, вот тогда мы сможем вернуться в Польшу.

В общем шуме никто не слушал красивую пани Дороту, да она и не искала слушателей.

— Мой муж категорически утверждает, что главная проблема — германский вопрос, а я все время думаю о возвращении в Польшу.

— Наша цель — отнять страну у большевиков,— упрямо повторял все тот же молодой человек и снова с печальным выражением на лице хватал ртом воздух.

— А я бы вернулась...

Я не знала, ко мне ли обращается пани Дорота или к кому-то другому, с кем разговаривала до меня.

Я была зла на себя. Каким ветром меня сюда занесло?! Что за идея ходить в гости к совершенно незнакомым людям. Вежбица куда-то исчез. Мое чувство отчуждения усиливалось, мучило и раздражало, как сыпь на коже. Я решила незаметно уйти, пока не зажгли большую люстру. Было темновато и жарко, мне хотелось как можно скорей вырвать-

ся отсюда. Я наблюдала за окружающими взглядом преступника, поджидающего случая. Наконец встала. До двери всего четыре шага, дальше идет заваленный пальто коридорчик. Осторожно, чтобы не обратить на себя внимания, я приоткрыла дверь и попала в объятия осыпанного снегом Вежбицы, он крепко сжал меня и расхохотался.

— Я заморозил бутылку шампанского. Это будет великолепный сюрприз! — гремел он, пытаясь привлечь меня к себе и заглянуть в глаза, словно хотел убедиться, действительно ли я считаю это великолепным сюрпризом.

— Неужели снова пошел снег? А я ухожу,— заявила я, стараясь высвободиться из его рук, но пальцы Вежбицы по-хищному крепко держали меня, не выпуская.

— Дорота умывалась бы слезами,— говорил он, радостно смеясь.— Сама судьба указывает вам надежнейшее место под солнцем — истосковавшиеся сердца земляков. Не надо спорить с судьбой. Дорота — прелестная хозяйка, зачем ее огорчать?

Без энтузиазма я вдыхала табачный запах, мое спонтанное «бр-р-р» вызвало очередной прилив веселья.

— Я и сам сюда шел без особой охоты, а теперь вижу, что мне надо еще и гостей пани Дороты сторожить. Разве что мы вместе смоемся отсюда? Снег снова сыплет, как в Польше в рождественский вечер. Вдвоем брести среди сугробов!! Значит, как? Сматываемся или входим?

— Я ухожу. Но одна.

— Вы убегаете? Почему? Ну почему? Дорота, на помощь!

— Пустите меня.

— Чуть позже мы сбежим вместе. Уже сейчас здесь кругом полное безлюдье, одинокой женщине рискованно. Зачем подвергать себя опасности?

— Вы шутите! Девятнадцатый век давно прошел и не вернется. И война позади.

— Советую вам, дорогуша, запомнить: акт о капитуляции подписывали не все. В окрестностях Нюрнберга многие до сих пор живут по законам военного времени. Особенно под покровом темноты. И я не хочу утверждать, что это нравится только немцам. Если бы на вашем месте была моя связная, я ее ни за что не пустил бы одну. И вам тоже не советую рисковать.

— Я добралась сюда сама. В оккупацию и то не боялась. Нюрнберг кроткий, как барашек.

— Но где гарантия, что вы благополучно доберетесь, на улице темнотища, хоть глаза выколи.

Я заколебалась.

— Ну так как же выбраться отсюда незаметно? Вызвать машину из «Гранд-отеля»? Здесь есть телефон?

— Давайте-ка выпьем чего-нибудь покрепче? Идет? С вами это будет куда вкуснее. Я хочу попытаться найти хоть нескольких своих товарищей, разузнать кое-что о людях, расспросить о моей связной, о нашей части. А потом можем уйти.

— Хорошо. Выпьем,— согласилась я.— Но вы сейчас сами убедитесь, что там за столом не слишком приятно.

Мы вернулись в комнату, где было все так же сумрачно и еще шумнее, чем раньше. Себастьян присвистнул сквозь зубы, одобрительно покачав головой.

— Хо-хо-хо! — пробормотал он и потер ладони.— Парочку бутылок тут уже осушили. Ну ладно, поглядим, у кого голова крепче. Чем можно угоститься? Чем тут кормят?

Подчеркнуто любезно он поцеловал руку хозяйке дома и повторил свой вопрос:

— Чем тут кормят? Где взять тарелку?

Я молчала. В горле Вежбицы клокотал смех.

— Ну вот! Немцы приучили моих земляков к светомаскировке. Им даже понравились застолья впотьмах. Люди! Вы что, не заметили, что уже давно стемнело!

Зачем я вернулась? Все чужие. Все чужое. Чужой капитан Вежбица, чья серебристая грива в сумраке перестала быть завораживающим ореолом. Исчезла нашивка "Poland" на рукаве.

— Присаживайтесь. Что будете пить? Моя связная выбрала бы чистую. А вы?

— Суп из крапивы,— ответила я, сама себе удивляясь.

— Хо-хо-хо! Теперь я понял, что вас мучает. Тем более надо сразу опрокинуть рюмочку. Водка все растворит, поверьте мне. Немного женщин понимают и ценят это.

— На свете было бы слишком прекрасно, если бы рюмка или даже литр водки могли растворить человеческую боль.

Я внимательно присмотрелась к своему собеседнику, его хищные глаза странно блестели.

— В полумраке легче разговаривать, они знают, что делают,— прошептал он, пододвигая сверкающие рюмки.— За исполнение желаний! До дна! За персиковые сады! За встречу с самыми близкими!

Я прикрыла глаза.

Вежбица наклонился ко мне.

— Что случилось? Почему вы не пьете?

Полумрак позволил мне спрятать неожиданно сведенные судорогой губы. Совсем тихо я ответила:

— Не знаю. Последние слова вашего тоста — о самых близких — причинили мне боль.

Вежбица крепко сжал горячей рукой мое запястье.

— Да. Понимаю. Ну, выпьем. Залпом! Вишневка на меду. Это чудо! Фирменный напиток хозяев. Вы сами убедитесь.

— Водка с пчелами? Это она растворяет боль?

— Иногда ужалит изнутри какая-нибудь рассерженная пчела, яд сразу проникает в мозг, напрочь выжигает всевозможный мусор. У вас, я полагаю, внутри мусора нет, а вот у меня...

Мы молчали. Это было молчание двоих людей, окруженных шумом, гамом земляков, чьи споры становились все острей и громче.

Бледный мужчина, повторяющий все одно и то же, обратился теперь к Вежбице:

— Наша цель — освободить страну. Об этом мы должны думать прежде всего. Я не вернусь, пока в Польше будут большевики.

Вежбица наклонился ко мне.

— Это брат пани Дороты. Наш апостол. В годы оккупации он был связным между Лондоном и страной. После тяжелого ранения стал инвалидом, теперь это уже не тот человек.

— Только с оружием в руках мы можем спасти родину,— снова принялся за свое бледноликий апостол.

— Хватит с нас войны,— внезапно рявкнул мощным басом Вежбица.— Хватит на ближайшие сто лет! А может, и навсегда, дай-то бог, аминь!

Бледноликий апостол возмущенно закричал:

— Измена! С каких это пор, капитан, вы стали трусом?

— А с каких это пор, поручик, вы забыли хорошие манеры и перебиваете других?

Тот вскочил, щелкнул каблуками, церемонно извинился.

Вежбица со всего размаха хлопнул его по спине.

— Не о чем говорить, сынок! Я как раз собирался высказать свое мнение о том, что война, черт бы ее побрал, должна исчезнуть с лица земли, но у нас в Нюрнберге еще есть кое-какие обязанности.

— Верно! — поддакнул поручик.— Говорите, капитан Вежбица.

— Мы должны выловить здесь всех гитлеровцев и передать их в руки правосудия.

Бледный мужчина привстал со стула.

— Вы что, верите в здешнее правосудие? Они даже главных преступников пытаются обелить и освободить. Они уже дают задний ход, вы увидите, господа, все доказательства преступлений в один прекрасный день исчезнут отсюда без следа. У меня нет иллюзий: большевиков я не люблю, но хорошо понимаю, что немцы будут нужны американцам, янки скоро начнут гладить немцев по шерстке. Они для вида осудят нескольких, а остальных будут откармливать и держать под рукой в фешенебельных псарнях на всякий случай.

Воспользовавшись минутой тишины, Вежбица с такой сердечностью, возможной, наверное, лишь благодаря царящему за столом полумраку, сказал:

— Мне никогда не забыть тех часов, когда мы ждали на базе вашего возвращения. Глаза болели — так мы вас высматривали.

— И я не забуду этого возвращения,— с горечью в голосе ответил поручик.— До конца жизни не забуду. Нас нащупали эсэсовские отряды. Последний резерв Гитлера. От боли я терял сознание. Но вместо того, чтобы выть, я до мельчайших подробностей представлял себе встречу с родиной после окончания войны. Так ясно видел каждую деталь. А теперь? Скажите, капитан Вежбица, как вы представляете мое будущее? Где мне протягивать руку за пособием по инвалидности? В Польше?

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Единственное место, где я мечтаю сейчас очутиться,— это «Гранд-отель». Я выдернула свое пальто из общей груды и быстро, чтобы никто не заметил моего исчезновения, убежала. Я знаю «непробиваемое» гостеприимство моих земляков, принимающее размеры стихийного бедствия даже в моменты и небольшого возбуждения, вызванного водкой, беседами, темой разговора.

Ветер с силой обрушился на меня, сразу перехватило дыхание. Ни автобуса, ни трамвая, тишина, пронизывающий холод и такое ощущение, будто уже давно спустилась глубокая ночь.

В этот момент из черного сна Нюрнберга вынырнул освещенный трамвай. Я побежала ему навстречу, догадываясь, что возле перекрестка он должен остановиться.

Ночь наполнила Нюрнберг удручающим мраком, черная тина поглотила небо, землю, улицы, дома, только сияющий огнями трамвай с горсткой слишком ярко освещенных пассажиров тарахтит по рельсам, я пугаюсь неожиданной мысли, что он едет в никуда и вообще не остановится.

Я прижимаюсь щекой к холодному стеклу. Грусть со всей силой наваливается вдруг на меня, уныние сопровождается чувством отчужденности в этой непонятной, большой, обезумевшей, но и даже красивой стране. Только во время тяжелых послевоенных снов, когда я попадала в очередные нескончаемые концентрационные лагеря, откуда уже никогда не должна была выйти, меня одолевало такое, как сегодня, уныние, вызванное уверенностью, что на свете негде спрятаться, что все это будет длиться бесконечно.

За окнами трамвая мертвый, безлюдный район. Тьма. Ни одного огонька; назойливо вертится мысль, что едем по какой-то полевой дороге, вдали от жилья.

Стоит только уставиться в ночную тьму, и она сразу надвигается на тебя угрожающе и страшно.

И вдруг вдали очертания освещенного прожекторами здания, над которым реют в лучах света флаги четырех союзнических держав. Я облегченно вздыхаю. Международный военный трибунал бодрствует днем и ночью. Скоро будет вынесен приговор.

Люди гибли под Сталинградом. Люди гибли в Вавере. На допросах в гестапо и на укромных лесных полянах. Напрасно бы я старалась перечислить все места, где во время войны гибли люди, защищающие родные пороги от гитлеризма. Многие из них до конца сохранили силу духа и веру в окончательную победу.

Догадывались ли они, что в то самое время, когда их истязали и они терпели ужасные мучения, когда гестаповец вставлял в машинку лист бумаги, чтобы отпечатать протокол, а карательный взвод уже целился в неподвижную, замершую от ужаса мишень, в людей, стоящих с поднятыми руками,— догадывались ли они, что как раз тогда в разных концах земли незнакомые друг с другом люди, работники научных институтов, исповедующие разные политические религии, разрабатывали стратегическо-географические системы, которые можно было бы назвать смирительными рубашками для германского милитаризма? Приходило ли это им в голову? Догадывались ли они об этом? Неужели трагические, распятые на проволоке, бесцветные в предрассветной мгле мертвые существа, которые

ночью кончали с собой, утратили веру в человеческий разум? На узников, висящих по обеим сторонам ограждения, зацепившихся полосатыми куртками за металлические шипы, глядело только пустое небо, дежурный эсэсовец и бессильная перед агрессией крематория толпа.

И все же в отдаленных уголках нашей планеты уже думали о смирительных рубашках для страны, которая и на оккупированных территориях, и на своей земле вела себя точно буйно помешанная. Психопата возьмут под надзор. Его должны вылечить.

Но это не вернет к жизни убитых, а вампир-психопат успел уничтожить миллионы. Так что смирительная рубашка еще не кара. Не будет карой и вынесенный в Нюрнберге приговор. Нет такой кары. Ее даже нельзя придумать. Все это лишь предохранительные средства на будущее, очень гуманные и мягкие.

Кондуктор объявляет «Главный вокзал», я вскакиваю, выбегаю в последнюю минуту и не узнаю перевернутую площадь, которая из гостиничного окна выглядит совершенно иначе.

Скорей к себе, через все коридоры, уснуть, успокоить возбужденные мысли, ассоциации, память, острую, как та колючая проволока.

В проеме разрушенной части гостиницы печально завывает сегодня ветер, проходя там, я ежусь от леденящей дрожи. Страх или холод? Запыхавшись, вбегаю в комнату, заказываю разговор с каким-то отдаленным местом, которое по необъяснимым причинам называется «польский лагерь», хотя слово «лагерь» в эпоху Гитлера приобрело отвратительное значение. Я не понимаю, почему поляки до сих пор торчат в лагере? Это зависит от политики Лондона?

Я услышала приятный, любезный голос телефонистки, ответила ей по-английски, по-немецки мне не хотелось говорить. Она сладким тоном пропела:

— Соединяю.

С кем же соединит меня эта любезная немецкая барышня? С моими ровесниками, чьи фамилии уже вырезаны на дощечке, воткнутой над общей могилой? Разве теперь услышишь их голоса, взрывы смеха, песенку, распеваемую в лесу у костра. Вслед за моими ровесниками в ряды подполья пришли сражаться с оккупантами двенадцати-четырнадцатилетние подростки. Серьезные, все понимающие. Я никогда их больше не увижу, не услышу их голосов. После войны мне рассказали, когда и где их убили.

Звенят провода, это мороз и снег, это сосульки, повисшие на телефонных проводах, время от времени с тихим звоном падает ледышка. И тогда мне кажется, что здесь, в Нюрнберге, в стране, удивительно враждебной чужим и своим, раздаются потерянные слова кого-то из них, людей моего поколения, у которых отняли жизнь.

— Алло! Алло! Соединяю!

До чего нежно говорит незнакомая телефонистка! Ее голос должен успокаивать, но меня он пугает, ведь нельзя соединять с пустотой, с местами, где нет жизни.

Непрекращающийся тихий гул в проводах словно бы доказывает, что связь не действует. И вдруг...

Голос внезапно ворвался в эту абстрактную тишину, удивил меня, особенно потому, что показался знакомым.

— А! Добрый вечер! Говорит рядовой Нерыхло. Нет, ничего, мы просто ищем повсюду капитана, я нашел учителя из нашей деревни, он может опознать немца. Вы помните?

— Беспалого? С наростами на подбородке?

Нерыхло обрадовался.

— Да-да! Помните! Капитан говорил: «Вам, Нерыхло, не мешает пошевелить мозгами», ну я и пошевелил, мне, знаете, дважды повторять не надо. Сначала я разыскал рядового Паница, он второй свидетель, а потом узнал, в каких лагерях был учитель, каким эшелоном возвращался, нашел людей, с которыми он вместе шел, и так, разматывая клубок, откопал его в госпитале для бывших узников. Кожа да кости, но жив. Даже уже там работал, как оклемался. Что и говорить, повезло ему, выжил. Мы сразу же послали вызов, просили приехать в Нюрнберг. К такой телеграмме отнесутся с вниманием. Алло! Алло! Вы слушаете?!

— Слушаю.

— Мне показалось, что нас разъединили. Ну так вот, он сможет опознать этого преступника, беспалого. У меня просьба, это очень срочно, а я никак не могу найти капитана, куда-то исчез.— Он замолчал, словно бы обдумывая свою просьбу, но тут же продолжил твердо и решительно, без колебаний: — Учитель будет искать капитана Вежбицу в Нюрнберге, хотя они и не знакомы.

Я раздумывала, что ему ответить.

Нерыхло просил:

— Пожалуйста, если кто-нибудь из польской группы увидит капитана Вежбицу... Пусть скажет ему, что учитель скоро приедет.

— Разумеется. Конечно. Я ему немедленно передам. Я видела капитана час назад.

— А где он может быть теперь?

— Не имею понятия. Но до завтра, наверное, найдется.

Я кладу трубку. Потом поднимаю ее снова, жду сигнала. Аппарат стоит на окне, я прижимаюсь лбом к стеклу. Черная немецкая ночь поблескивает далекими огнями, на мгновение свет исчезает, потом снова возникает. От ветра качаются уличные фонари, по небу несутся облака, то заслоняя, то открывая темную бездну, и где-то там, в бесконечной выси, мчится навстречу тучам месяц.

Упрямство, с которым человек интересуется кем-то одним из многих миллионов, совершенно иррационально, с равным успехом можно думать о единственной мигающей звездочке, среди туманностей и далеких галактик, мечтать о разговоре с ней, надеясь на понимание и внимание с ее стороны.

И все же упрямство заставляет человека искать, сверять свои мечты с действительностью. Как это он сказал? Откопал его... Повезло ему, выжил. А ведь выжили не все. Не всех можно сегодня отыскать.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Неожиданно солнце принесло с собой волну тепла. Кое-где еще лежит снег. Нежные прикосновения лучей снимают с меня напряжение, в таком состоянии я вышла из душного зала нюрнбергского суда.

Конец. Я не вернусь туда ни сегодня, ни завтра. Мне надо очухаться после всех тех дней. Я иду спокойно по асфальтовой дороге, стараясь ни о чем не думать, вычеркнуть из памяти жирное бабье лицо Геринга, хоть ненадолго забыть об остальных подсудимых и проблемах, которыми уже много месяцев занимается Трибунал.

У меня одно желание: быть как можно дальше от Нюрнберга, я дала показания, выполнила свой долг по отношению к мертвым и по отношению к тем, кто только еще появится на свет на этой планете, полной надежд, и начнет свой путь, веря и радуясь, считая жизнь моего поколения мрачным историческим прошлым.

Я иду посредине дороги, теплый ветер дует мне в лицо, пахнут влажные поля, из-под снега выглядывает побуревшая трава. Я глубоко дышу в стране врагов и с удивлением понимаю, что на сердце у меня легко.

Охотнее всего я так бы и шла вперед по этой дороге,

не возвращаясь больше в старинный, изысканный «Гранд-отель», и больше всего мне не хочется видеть ежевечерние веселые ревю. Танцующий Нюрнберг. Лицемерный Нюрнберг. Мне надо идти быстрым шагом, чтобы устать, чтобы учащенно забилось сердце, если я хочу выбросить из головы отвратительное сомнение, охватившее меня здесь, в Нюрнберге, где я должна была поверить в абсолютное торжество международного правосудия.

Клаксон и писк тормозов за спиной не пугают меня: я ведь выжила, и мне теперь трудно представить, что могу оказаться в опасной ситуации, теперь, после того что мне довелось пережить за годы войны.

Американский солдат выскочил из огромного зеленого крытого грузовика. Мне показалось, что он начнет сейчас кричать, возмущаться, но он совершенно неожиданно опустил лесенку и открыл заднюю дверцу.

— Автостоп! Автостоп! — кричат хохочущие девушки и парни, неизвестно из каких кустов выскочившие на дорогу. Это французы. Они спрашивают солдата, куда тот едет.

— Автостоп,— отвечает водитель и показывает на карте город.

— Ратисбона!

— Регенсбург!

— Автостоп! Ратисбона!

Без колебаний ныряют они в середину. Худой французский паренек помогает всем забраться, вежливо подставляя руку, потом обращается ко мне по-французски:

— А вы? Равенсбрюк?

Как он догадался, что я бывшая узница? По коротким волосам? Слишком медленно они отрастают, думаю я с сожалением, и под глазами тени войны.

Биркенау, объясняю я и по глазам вижу, что он знает это слово.

— Мы едем в Регенсбург, водитель должен что-то привезти оттуда и обещал нас прихватить на обратном пути.

Мне все равно куда ехать, лишь бы подольше не слышать немецкой речи. Французы согласны со мной. Сидящая на скамейке девушка что-то тихо поет, в такт тарахтящему грузовику. Нам тепло и хорошо. Мы подпеваем ей все вместе, и даже шофер пытается насвистывать эту мелодию.

Тощий французский архитектор обещает показать нам город. Он знает Регенсбург по лекциям и был тут когда-то

до войны. Помнит памятники старины, развалины римских стен и знаменитые Проторианские ворота. Но как только машина остановилась и была спущена лесенка, нас поймал и окружил заботой немецкий «господь бог» в облике старообразного, худого и сгорбленного знатока местных архитектурных чудес. Нравится нам это или нет, но он будет сопровождать нас, не отставая ни на шаг, до самого готического собора, обрушивая при этом на наши головы поток дат и фамилий.

— Нас может спасти только чувство юмора,— говорит французский архитектор и длинными шагами пытается отдалиться.

Все попытки увильнуть от гида напрасны, и мы слушаем и слушаем про доисторические и исторические времена, потом осматриваем собор снаружи и задерживаемся перед каждым предметом внутри, мы получаем подробнейшие объяснения на тихом и кротком немецком языке. Мне хотелось остаться снаружи. За стенами собора греет солнце, внутри же царит могильный холод, пахнет ладаном.

Для развлечения начинаю воображать: вот я туристка, приехавшая из далекой страны, до которой не докатилось эхо войны. И теперь мне обстоятельно все показывают. Тут нарисован святой Иосиф, а вот святая Цецилия из мрамора.

Солнце греет все сильнее, и нам совсем не хочется погружаться в ледяные глубины исторических памятников. Когда приближается время отъезда, мы почти что с силой вырываемся из рук нашего гида, клянясь, что «приедем еще раз», в следующий раз у нас будет больше времени, и тогда мы наверняка посетим речной порт на Дунае. Но конечно, одни, без учтивого господина, который посвятил нам сегодня столько времени.

В нескольких километрах от Регенсбурга грузовик, весь содрогаясь, съезжает на обочину и останавливается на краю канавы, чуть не врезавшись в дерево. Мы соскакиваем на землю. Шофер лезет под машину, его сразу окружает кольцо помощников и консультантов.

За канавой стелется мох, земля усыпана сосновыми иглами. Срубленное дерево точно удобная скамья, пологий склон защищен от ветра кустарником. Пахнет смола. Пахнут шишки. Мартовское солнце печет. Его теплая ласка нагоняет сон, скоро весна, можно будет лежать среди деревьев, время вернет мне врожденный оптимизм, я забуду о деревьях, «которые цветут в Сербии», забуду о том, что была война. Мне хочется выскоблить свои мысли, как

выскабливают в эту пору деревянные столы и лавки деревенские бабы, вынося их за порог, на солнце, на первую травку. Хочется не видеть сны, ни о чем не думать. Внутренний голос подсказывает мне: надо побыстрей уезжать отсюда, только в Польше, где не услышу немецкой речи, я постепенно вылечу свою память.

Шофер закончил починку, обтер грязные ладони о брюки и радостно кричит:

— Автостоп! Нюрнберг!

Мы не спешим. Разленились на солнышке; идут разомлевшие французские девушки, идут, расстегнув рубахи, французские парни.

— Автостоп! Автостоп! — улыбается американец.

Мы нырнули в гущу сосен и берез. Последняя минута. Сейчас мы выедем из леса, смолистый уголок красивой, просторной, согретой весенним солнцем страны. Вдруг я чувствую, что мне хочется отправиться на юг, через Альпы, через Венецию, вслед за ветром, вслед за мечтой. Радость распирает мне сердце: я держусь руками за борт грузовика, как и все мои спутники, гляжу на мелькающие километровые столбики, с наслаждением вдыхаю пыль и выхлопные газы, открываю рот и пою, не слыша собственного голоса, пою вместе со всеми, во все горло, в такт взмахам рук дирижирующего и скандирующего вместе с нами французского паренька. Мы видим разинутые рты, видим смех в глазах. Мы живем!

В ушах у меня еще тарахтит мотор, грохочет кузов. Порывы ветра подхватывают последнюю песню, которую мы запели, въехав на окраину Нюрнберга.

— Camarades, dormez vous?[1] — пели мы дружно, с внутренней твердостью, упорством, обмениваясь дружелюбными братскими взглядами.

Я простилась с ними с сожалением. Они поехали в направлении виадука, махая мне на прощание руками, а я осталась посреди вокзальной площади.

С неохотой окунулась я во всегдашнюю сумрачность «Гранд-отеля», с неохотой шла по переходу, где наспех проводились ремонтные работы. Под ногами хрустела кирпичная крошка, в проем задувал ветер. Мне хотелось посмотреть вверх, проверить, можно ли еще увидеть солнечный свет, но за моей спиной хлопнула дверь, зазвенел ключ, раздались громкие голоса, я узнала фальцет Грабовецкого.

— Вы уже обедали? Ну и прекрасно, пойдемте вместе.

---

[1] Товарищи, вы спите? *(франц.)*

Буковяк сейчас туда придет.

Характерным движением он вскинул руку и показал на Илжецкого.

— Наш прокурор боролся как лев и добился, чтобы мы получили пропуска на допрос Геринга. Вы понимаете, что это значит? Зал суда наверняка лопнул бы по швам, если бы туда впустили всех желающих.

Илжецкий добавил:

— Геринг давно готовится к своему бенефису. Ему грезится роль примадонны на этом процессе. К сожалению, мои дорогие, вам придется пользоваться пропусками по очереди, мне выдали ограниченное количество, но вы, наш главный свидетель, пойдете в первый же день его допроса.

— Ну и еще как единственная в нашей делегации женщина,— галантным тоном добавил Грабовецкий.

— Для Райсмана у меня тоже есть на сегодня пропуск,— сказал Илжецкий.

— Как? Вы сказали в первый день? — спросила я изумленно.— Подсудимому гитлеровцу предоставили столько времени для дачи показаний?

Прокурор поднял обе руки к лицу:

— Геринг давно уже пишет свою великую речь. Последнее соло бывшего рейхсмаршала.

Я услышала за спиной вздох, похожий на стон. Это был Райсман. Я оглянулась. Он сказал только:

— Вот так...

И с глубокой печалью покачал головой, как в тот день, когда давал свидетельские показания. У меня было впечатление, что он так и стоит над могилами своих родных и над могилой толпы, превращенной в пепел, рассыпанный среди сосен Треблинки.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Это действительно был кульминационный момент Нюрнбергского процесса. Дремавшие перестали дремать, мобилизовали внимание, стараясь вникнуть в проблемы, от которых психически усталые люди отгораживались как могли. Отсутствовавшие поспешно возвращались из баров, из кабинетов, из гостиницы на свои часто пустовавшие места. Люди предпринимали невероятные усилия, чтобы получить пропуск. Мариан Подковиньский иронически щурился:

— Можно подумать, что этот Геринг, в роли германской Юноны, выступит на сегодняшней премьере во всем параде.

Дальмер разложил перед собой записи и наблюдал за тем, как растет возбуждение в переполненном зале.

— Мне хочется попасть сюда лет через двадцать. Поспрашивать немцев, жителей этого города, старых и молодых, о процессе над гитлеровскими преступниками. Сомневаюсь, что они смогут сказать мне что-нибудь, кроме своего традиционного ответа — о провале в памяти.

Мы слушали молча. Странные идеи излагал этот известный журналист. Он словно бы понял наше недоумение и поставил точки над «i».

— Я приеду сюда ровно через двадцать лет, чтобы убедиться, как быльем поросло все то, о чем немцы обязаны помнить, от чего обязаны предостерегать своих внуков. Я знаю, что говорю, с самого начала процесса я ездил по Германии, заходил в столовые, в пивные, притворялся одним из них. Пользовался теми же самыми продовольственными карточками, поскольку я решил, что должен узнать правду. И что? Одна и та же песня: пора перестать ворошить прошлое, гитлеровцы — старые, измученные люди, поэтому для будущего они не представляют никакой опасности, кроме того, немцы и так уж достаточно наказаны, они проиграли войну, понесли потери, у них разрушен Дрезден. Чего я только не наслушался! Рассказывали, что, когда Гитлер приказал немцам эвакуироваться из оккупированных стран, а мосты через Солу и Вислу взорвали, они потеряли свои пожитки и даже семьи.

— Им вообще не следовало подходить к Висле,— сказал кто-то из моих соседей.

Дальмер усмехнулся.

— Разумеется, но я, притворившись немцем, не мог затевать спор. Только слушал. И одно знаю наверняка: немцы мечтают, чтобы мир побыстрее забыл обо всем.

На возвышении для свидетелей появляется Геринг, маршал привидений, в течение всего процесса он только и делал, что бросал замечания, толковал, принимал позы, заливался соловьем, лишь бы только опровергнуть неопровержимую правду фактов.

— Nicht schuldig! — с какой легкостью, с каким высокомерием он произносит эти знаменательные слова.— Я невиновен.

И все остальные сановники со скамьи подсудимых повторят за ним:

— Невиновен!

Значит, на скамье подсудимых в Нюрнберге сидят одни невиновные, а один из них, чувствуя всеобщую заинтере-

сованность, говорит, говорит и говорит.

Его голос, его произношение отвратительны, я касаюсь рукой наушников, чтобы не забыть, где нахожусь, и все равно речь Геринга отправляет меня туда, откуда меня навсегда необратимо освободил конец войны.

Геринг дает показания, придерживаясь хронологии, он начал с прихода Гитлера к власти, рассказал о январе тридцать третьего года.

Мне тогда не исполнилось еще и семнадцати лет, земля казалась мне огромной и безопасной, залитой солнцем, созданной для того, чтобы дарить радость.

При Гитлере разверзлась пропасть под ногами, а теперь, когда она исчезла благодаря героическим усилиям стольких народов Европы, я не желаю больше слушать о праве на жизненное пространство, о появлении сверхчеловеков с топорами мясников, занесенными над поэтами, беременными женщинами, детьми, учеными, художниками, крестьянами, духовенством, рабочими и... над немецкими гражданами.

Губы Геринга раздвигаются в улыбке, что еще сильнее подчеркивает бабью округлость его обвисших щек. Сколько в нем наглости и самодовольства, по мере того как он говорит, он все сильнее впадает в эйфорию. Его черты, поза, экзальтация весьма напоминают матушку Мусскеллер, хозяйку одного из немецких публичных домов, которая даже за проволокой Биркенау считала нужным торжествовать. О расе господ, о намерении подвергнуть бомбардировке Америку с радостным волнением рассказывает подсудимый Геринг. С грустью вспоминает он о фюрере, о своей дружбе с ним, о своем влиянии.

Проходят часы.

Лающий, уверенный в себе голос долбит тишину зала.

Может быть, Герингу кажется, что времена убийств вернулись, но американские часовые смотрят на него отстраненно, отстраненно смотрит на него председатель Трибунала, отчужденно смотрят корреспонденты, я тоже стараюсь смотреть на него словно с другого берега. Не хочу, чтобы наглые заявления Геринга снова низвергли меня в пропасть, прижали к стенам крематория, лишили веры.

Но мои усилия напрасны. Сквозь крик Геринга разевает теперь во всю ширину рот Адольф Гитлер, заражавший своей истерией толпы немцев, я слышу этот ор, народ скандирует, зажигает факелы, народ сделает то, что прикажет Гитлер.

Я посмотрела на закрытое окно: в зале очень душно, нечем дышать. Геринг перечисляет собственные успехи, потом неудачи, вскрывает причины политических интриг, осмеивает своих соратников и соперников, приближенных к Гитлеру, сидящих тут же возле него на скамье подсудимых, дает смертоубийственные характеристики Кейтелю, Йодлю, ссылается на глупость отсутствующего Гальдера[1].

На дне моей памяти бьется ненавистный германский крик, он приближается, приближается, проникает в зал, проникает в голос Геринга, это та же манера, они учились произносить речи у своего бесноватого фюрера, да, это комендант лагеря Гесслер произносит рождественскую речь, гитлеровское ничтожество, малюсенькое в сравнении с огромными ничтожествами на скамье подсудимых.

Но орет он точно так же, с той же спесью, с той же слепотой.

"Wir Deutsche! Wir Deutsche!" — вопил начальник лагеря Гесслер, начиная этими словами каждое свое обращение к арестованным немкам. Он оказывал честь женщинам, принадлежащим к «расе господ», «расе сверхчеловеков», хоть и в полосатых робах, но выделенным из лагерной толпы этим сплачивающим окриком.

Это происходило в канун нового 1943 года, после Сталинграда, после тяжелых немецких поражений, когда изыскивались всевозможные резервы. Даже немецкие проститутки, немецкие уголовницы дождались дня, когда, опьяненный водкой и патриотизмом, Гесслер вопил, подражая Адольфу Гитлеру, обращаясь к ним: "Wir Deutsche!"

Сквозь обвисшие складки геринговских щек вылетают слова:

— Я был человеком, который отдавал приказы. Мы, немцы,— (Wir Deutsche),— народ, издавна привыкший покорно выполнять приказы наших вождей.

Сольная ария Геринга каким-то удивительным образом нагнетает атмосферу войны. Я не могу больше слушать. Хрипящие немецкие слова, точно грязь, засыхают на моей коже, сковывают морозом ноги, руки, спину, одежда на мне деревенеет и превращается в полосатые пропотевшие лохмотья, которые уже кто-то носил. Я сжимаю пальцы. Сквозь зажмуренные веки вижу тот день, замерзающий туман оседает на моих щеках, становится все темнее, а мы

[1] Гальдер, Франц (1884—1972) — гитлеровский генерал, в 1938—1942 годах начальник генштаба сухопутных войск вермахта.

неподвижно стоим в шеренгах, слушаем новогоднюю речь. Гесслер поднялся на возвышение, стоит, расставив ноги, уверенный в себе, так же как уверен сейчас в себе подсудимый Геринг, столь же надменно цедящий слова перед Международным военным трибуналом. Я помню, как тот добивал нас сообщениями о скорой победе немцев, об окончании войны и о нашем будущем.

Я не могу слушать. Геринг пытается заглушить болтовней, засыпать аргументами километры братских могил, рвы, заполненные корчащимися от боли умирающими мужчинами с раздробленными черепами; своим красноречием закрывает все концлагеря, из которых я знаю только Биркенау, где по утрам у входа в бараки валялись штабеля голых женщин, умерших этой ночью, с разинутыми ртами, с ужасающе худыми ногами, в ранах и синяках.

Своей болтовней Геринг, видно, решил зачеркнуть, стереть с лица земли те места, где, кроме человеческого праха и недогоревших костей, остались лежать в глубине под защитой металла и стекла документы. Буковяк говорил: пройдут годы. Возможно. Но сегодня правда о масштабах распространенной гитлеризмом по всей земле гангрены открыта. Перед нами стоит подсудимый, сподвижник Гитлера, одна из самых значительных фигур после фюрера. Он сам считает себя вторым, роль остальных высмеивает и принижает.

Его показания — своего рода апофеоз национал-социализма, судя по его словам — это единственно возможная для немцев религия и единственная политическая система.

В маленьком зале суда почти нет жителей Нюрнберга, если не считать защитников и служителя. Интересно, а как бы на эту уникальную пропаганду реагировала толпа. Что сказала бы женщина из убого-серого дома, в котором я спряталась от ливня.

Дальмер что-то говорит шепотом, и я поражаюсь, как совпадают наши мысли:

— Жаль, что тут нет немецких судей. Любопытно было бы поглядеть на их реакцию. Сейчас, кроме немецких защитников, в зале с одной стороны победители, с другой — побежденные гитлеровцы. Думаю, что для будущего Европы было бы важно, чтобы немецкие юристы во всеуслышание осудили здесь гитлеризм и чтобы это запротоколировали.

Я отвечаю кивком головы. Как и все, хочу полностью услышать речь подсудимого номер один.

Заслуги гитлеризма, которые так превозносит здесь Геринг, вызывают куда более сильное потрясение, чем та давнишняя речь нашего коменданта, говорившего о победе Германии на земле, на воде и в воздухе, на всех фронтах, после чего в Европе установится новый порядок. Кажется, Герман Геринг информирован так же хорошо, как в свое время был информирован комендант лагеря уничтожения. Такая мелочь, как поражение Германии, победа союзнических армий, видно, не имеют для него особого значения. Этого не было. Это сговор.

Какое счастье, что сегодня мне не надо, как тогда, стоять в шеренге и молча слушать нахальную немецкую похвальбу о победе.

Я выйду незаметно, почти так же, как год тому назад вышла из колонны людей в полосатой одежде, гонимых в Гросс-Розен пешком. Кто-то обрадуется освободившемуся пропуску в зал, где уже много часов произносит свое последнее слово рейхсмаршал Герман Геринг, упершись ладонями в толстую стопку своих записей.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

— Наконец поймали! — восклицает Илжецкий, очень рано закончив свой завтрак.— Какая удача, что Геринг сегодня не выступает. Вы едете с нами? Мы отправляемся через двадцать минут.

— Кого же вы поймали?

Но Илжецкий уже не слышит. К нему вернулась юношеская резвость, и он исчезает; должно быть, в самом деле произошло что-то из ряда вон выходящее.

Официант любезно отодвинул кресло, когда я подошла к столику, и только после этого поклонился.

Я попросила его побыстрее покормить меня, так как в запасе всего пять минут. Он припустился к кухне рысцой.

В дверях сверкнула желтая голова Грабовецкого.

— Успех! Нашли! — и помчался дальше, чуть не сбив с ног официанта, который нес на огромном подносе сразу все, что полагалось к утренней трапезе.

Далеко в холле гремели шаги, мелькала тень Оравии, молча размахивавшего растопыренной пятерней.

— Прокурор Илжецкий ждет вас. Мы отправляемся. Американские представители будут точно в назначенное время.

Я оставляю официанту чаевые и быстро допиваю кофе. У меня не хватает смелости спросить Оравию, что случилось.

Мы ехали в направлении Трибунала. Мне надоел зал заседаний, и я даже пожалела, что поехала. Вскоре наш автомобиль свернул с привычной трассы и покатил напрямик, по обломкам кирпича, черепицы, стекла, штукатурки, кафеля, железа. Мы приближались к самому чудесному уголку города: сказочному замку, окруженному целой системой рвов, разводных мостов, башен, бойниц. Гитлеровцы, бомбившие на протяжении нескольких лет исторические памятники всей Европы, представить себе не могли, что однажды эскадрилья бомбардировщиков сбросит бомбы на их памятники. Мы подъезжаем к сказочному замку. Разбомбленному замку. Сколько понадобилось налетов, чтобы вернуть немцев в границы их собственного жизненного пространства, они отступили, пришел конец их оккупации. И вот перед нами разрушенный замок в старом Нюрнберге.

Автомобиль впереди нас прыгает на ухабах, опасно накреняется у края рва.

Мы едем следом. Шофер часто притормаживает, нас то и дело швыряет то вперед, то назад, под колесами скрежет крошащегося щебня.

— Эстрайхера нам пришлось вчера вечером силком вытаскивать из ямы,— периодически повторяет Грабовецкий.— Иначе он бы тут ночевал.

— Объездил всю Германию, облазил все углы, расспрашивал и расспрашивал. И надо же, кто бы мог подумать! Кто мог поверить, что он найдет.

Я слушаю эти рассказы и теряю ощущение времени. Не снится ли мне? Дверцы впереди идущей машины распахиваются, первым выскакивает профессор Эстрайхер и, не оглядываясь, мчится вперед. Остальные бегут за ним. Мгновенно мы теряем их из виду. Спешим вслед за ними по ступенькам, засыпанным разбитой черепицей, опускаемся все ниже и ниже, в темноту. Он столько ездил, по всей Германии, в поисках утерянного алтаря из Марьяцкого костела, и все напрасно. А вот вчера, будто бы по чистой случайности...

Я с трудом сохраняю равновесие, то и дело спотыкаясь в темноте. До меня доносятся только обрывки рассказа.

— Чего-то не хватает. Эстрайхер считал и считал ящики, но, увы, здесь не все.

Ступеньки кончились, я инстинктивно вытягиваю руки, натыкаюсь на чью-то спину. Мы двигаемся осторожно, на ощупь. Это бомбоубежище. Воздух пахнет плесенью, гнилым деревом. Я начинаю вспоминать во всех подроб-

ностях недавний рассказ Кароля Эстрайхера, как он спасал на плотах в тридцать девятом ящики с бесценным грузом: согретый солнцем берег Вислы, Сандомир, немецкий самолет, обстреливающий плоты.

Глаза постепенно привыкают к темноте. Дышится с трудом. За столько лет все должно сгнить! Я смотрю на бледное от волнения лицо Эстрайхера, он держит свои записи в руках, дрожащими пальцами листает их. Стоит глубокая тишина. Ученый рассматривает еле видные в полумраке стены убежища, изучает знаки, надписи, сравнивает.

В напряженной тишине профессор проверяет, подсчитывает ящики, и мы все видим, что он чем-то удручен. Шепотом, с закрытыми глазами говорит, наверное, сам себе:

— Это невозможно. Невозможно.

— Профессор! Что невозможно? Матери сыновей теряли, а вы тут отчаиваетесь из-за потерянного ящика. Что теперь поделаешь.

Это было сказано шепотом, и наш профессор мог не расслышать. Он снова рассматривает ящики, вычеркивает из своего блокнота номера, которые находит. Наконец выпрямляется и, бессильно опустив руки, скорбно произносит: «Все» — и застывает в неподвижности.

Он был в отчаянии, не мог никак смириться с потерей.

— Все,— еще раз повторил он.— Не хватает ящика с Мадонной, не хватает центральной фигуры Марьяцкого алтаря.

Он вздохнул.

— Ведь тогда в сентябре под Сандомиром, когда нас обстреляли, я больше всего опасался, что Мадонна погибнет.

Он опять наклонился, еще ниже опустил голову. Казалось, под грязью заметил что-то, привлекающее его внимание. Да! Остальные тоже увидели пятно. Оказалось, что мы стоим не на полу, а на досках ящика, которого не хватало. Нарисованный красной краской крест потемнел и потерял четкость очертаний. Значит, это тот недостающий ящик?

Мы все наклонились. Вместе с нами нагнулся и американский офицер, в присутствии которого алтарь великого мастера Вита Ствоша должен быть передан представителям Польши.

Профессор Эстрайхер отошел к стене.

— Все сгнило, наверное,— наконец произнес он.—

Разве может бумага, в которую мы обернули каждую часть алтаря, уберечь от гниения. А я всю войну, все эти годы, бережно хранил документацию, и сегодня придется бросить ее в костер, когда мы будем жечь эти гнилые, никому не нужные ящики.

Но плотно спрессованные старые газеты оказались спасительными: весь Марьяцкий алтарь явился нашему взору, словно грецкий орех, вылущенный из скорлупы. Мы увидели гениально вырезанные аскетические лица святых, выразительно сложенные руки, с венами и узлами на них.

Как жаль, подумалось мне, что нельзя вот так же вернуть к жизни людей, которых гитлеровцы лишили права на существование... Если бы вот Кароль Эстрайхер мог найти в каком-нибудь убежище мальчишек из «Шарых шерегов»[1], медсестер, которые выхаживали раненых в госпиталях...

Размышления отвлекают меня от того, что происходит вокруг, огромную радость от находки сокровища нашей культуры заслоняет печаль, сознание необратимости потерь, ничто не может сравниться с человеческой жизнью, превращенной в пепел, в клубы дыма, ничто не может окупить человеческую жизнь: ни разбомбленные союзниками подъемные мосты Нюрнбергского замка, ни Дрезден с его памятниками, ни Бремен, ни Гамбург, ни Берлин, ни Любек.

Я осторожно выбираюсь из темного убежища, где остается комиссия, приступившая к работе. Хочется глотнуть холодного воздуха. С минуту стою молча.

Я еще не знаю, что они обнаружат в ящиках, но в памяти всплывает центральная фигура алтаря: ослабевшей от боли, теряющей сознание, традиционной и скромной, как простые деревенские женщины, Мадонны. Ее безвольно опущенные руки разжались, свисают бледные и бескровные, словно она выпустила из них жизнь всех людей, которую бережно удерживала до сих пор.

## ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Это не сон. Я иду по коридору из своей комнаты. Этот коридор очень длинный, его то и дело перерезают лучи света, может быть, поэтому приближающийся человек кажется нереальным, призрачным, но вот спустя мгнове-

[1] «Шарые шереги» — юношеская подпольная организация во время оккупации.

ние он обретает конкретные очертания, потом вдруг исчезает в сером мраке и вновь появляется через несколько шагов. Он идет навстречу мне, но расстояние между нами почему-то не сокращается, а может быть, даже растет; я напрягаю зрение, но тень двигается, отдаляясь с каждой минутой, трудно сказать, кто это может быть, на таком расстоянии я не могу разглядеть черты лица, может быть, это просто служащий гостиницы, немец, самый чужой из всех чужих людей.

Тень сереет и исчезает. Но я слышу даже его шаги в той части коридора, где нет дорожки, где пол усыпан обломками кирпича. В этом месте по-прежнему зияет дыра в потолке, сквозь нее проникают лучи солнца, и человек растворяется в их сиянии, но, несмотря на это, движения его мне знакомы, я вспоминаю того паренька в полосатой робе, которого в лагере избивал эсэсовец во время обеденного перерыва. Нет, это кто-то другой. Совсем незнакомый, не тот узник, которого с такой силой вколачивал лопатой в землю эсэсовец, пока черенок не выдержал — треснул, сломался.

Миг самообмана. Я чувствую, что это он, по-настоящему близкий человек.

Я спряталась в темную нишу, чтобы мужчина не заметил меня, и это мое движение, мое бегство, позволило мне теперь спокойно наблюдать. Шаги все ближе. Я закрыла и снова открыла глаза. Все-таки это приближается Томаш. Только у него одного такие движения, пластичные, спокойные. Полосы сумрака и света рассекают человека, то прячут его, то вновь заливают светом. Кто же это? Враг? Чужой? Или самый близкий человек на земле? Мне хотелось крикнуть, но нельзя.

Кто он сегодня?

Остался ли он и сегодня личностью, смогли бы его интересы пересечься с самыми важными для меня проблемами?

Кем был для меня этот человек? Мифом. Я прекрасно отдавала себе в этом отчет. Я плохо знала его. Но вместе с тем мир, в который я возвратилась, казался мне покрытой пеплом, мертвой планетой, со всех сторон меня окружали кладбища, пугали подвалы, где погребены прятавшиеся там люди, чердаки, на которых, перекинув веревку через балку, спасались таким образом от эсэсовцев, леса, полные могил, руины гетто. Из мира ушло прежнее тепло, со всех сторон веяло холодом. И казалось, что без близкого человека трудно будет начать новую жизнь. В любом

случае мне хочется поговорить с Томашем, хотя он мог оказаться совсем другим, непохожим на созданного моим воображением человека.

Я выбежала ему навстречу. Сейчас меня обнимут руки, сила и запах которых разбудят меня наконец, вырвут из этой войны, из немецких моргов, из абстракции, которая зовется загробной жизнью. Я хочу очнуться от этого зловещего сна, только любовь, великий ураган, потрясение, взрыв всех чувств, вулкан, долгий плач могут освободить меня от мучений, которые отпечатались в моей памяти, но в ней отпечатались чересчур реальные события, ставшие навязчивой идеей.

Эта минута вернет мне необходимые жизненные соки, заставит жить сначала, с доверием, с бездумной, слепой, животной силой, с бессознательным желанием быть. Руки мужчины сомкнутся на моих плечах, шершавая, пропахшая дымом ладонь коснется моих щек, сотрет с них изморозь освенцимских перекличек, слезы, выступившие от ветра и на морозе превратившиеся в сосульки, унижение от полученных ударов, стыд от грязи и вшей, ползающих по пылающему от тифа лицу.

Он увидел бы и понял все это без единого слова, как не смог бы понять самый добрый отец. Он знает, что даже океан доброты не может возместить того, что было. Он крепко прижмет меня к себе, от его горячего дыхания шевельнутся мои короткие, еще не отросшие волосы.

Это мне нужно. И, понимая, что через несколько минут все может развеяться, я все же не могу отказаться от надежды. Только через эти единственные ворота можно вернуться на дорогу жизни. И если это в самом деле он, пусть судьба подарит нам хотя бы полчаса. Эта мысль заставляет меня напряженно ждать.

Томаш молчит, и это лучше всего. Теперь я поверила, что нашелся близкий человек, которого я уже никогда не потеряю.

Я слышу его тихий голос и все еще не могу поверить, что никто не вправе прервать наш разговор, никто не вправе измываться над нами.

— Когда мы впервые взялись за руки, я понял, что это на всю жизнь. Я не сказал тебе этого тогда. Ты понимаешь, ведь тогда не нужны были слова. А раньше? Раньше мы были детьми.

Вся радость жизни давно уснула во мне, я пронесла ее через Освенцим и знаю теперь, она проснется. Теплая рука Томаша греет мои пальцы, только в этот момент

я с удивлением узнаю его черты, стертые в памяти серостью бетона, серостью дыма, серостью полосатой робы, серостью немецкой армии.

Начнется жизнь. Только вдвоем она будет иметь смысл. Вдвоем мы будем смотреть на эти влажные поля, вдыхать смолистый запах елей и сосен, острый зимой, горячий в жаркие летние дни.

Постепенное пробуждение от гитлеровского «блицкрига» не было еще полным пробуждением, я лишь сегодня открываю глаза.

— Скажи,— несмело говорит Томаш, чужой и родной одновременно.— Отец ничего не передавал мне? Не советовал?

Значит, и Томаш поддался сомнениям, не уверен в том, как примет его родная земля, станет ли она его домом, его пристанью.

— Я говорила с твоим отцом накануне отъезда. Он просил передать тебе каждое его слово. Он советует сразу вернуться.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Рядовой Нерыхло безумно обрадовался приезду Томаша. Меня изумил его неподдельный восторг. Поначалу я никак не могла взять в толк, чего он так настойчиво требовал, увидев нас, идущих вместе по замерзшему снегу возле замкового рва с искореженным подъемным мостом.

В ярком солнечном свете фигура Нерыхло становилась все виднее. Мы приближались к нему, ведь он совсем неопасен, мы пройдем мимо него спокойно. Поздороваемся, перекинемся несколькими словами. Мы как раз собрались свернуть на разъезженную колесами дорогу. Но в этот момент Нерыхло поднял руку и закричал:

— Пан учитель, вы его опознаете, этого немца из нашей деревни, того, что выселял беженцев. У него пальцев не хватало, вот этих, и еще у него на подбородке были наросты. Вы должны опознать его, он это или не он. Вы должны!

Значит, это и есть свидетель, которого они ждали? Томаш! Илжецкий в первый вечер в пресс-центре говорил мне, что надо Вежбицу и Нерыхло предостеречь, иначе они пропадут. Их посадят за самосуд.

— Послушайте,— начала я, но мои слова проносились мимо них вместе с ветром, и я уже поняла, что ни одно мое слово не будет услышано. Они пойдут искать право-

судия на немецкой земле, независимо от того, в чьих руках оно окажется и против кого будет направлено.

— Послушайте! — кричала я.— В нашей делегации четыре юриста. Англия представлена тремястами. Америка — двумя тысячами. Польские прокуроры и судьи не смогут вам помочь. Передайте этого немца в руки жандармерии, это все, что вы можете сделать.

Рядовой Нерыхло отрицательно покачал головой.

— Должен быть суд и наказание. На наших глазах. Мы не отпустим его.

Я вспомнила доводы репортера Ганса Липмана, которые он высказывал при любой возможности, и без колебаний повторила их:

— Тут упрямо доказывают, что только военные имеют право судить военных.

Нерыхло ткнул пальцем в мою сторону.

— Верно! Только военные! Так оно и будет. Капитан Вежбица приучил нас к порядку. Итак, за мной, пан учитель. Даже если мы идем на верную гибель.

Я видела их обоих посреди огромного заснеженного пространства, в лучах солнца их фигуры расплывались и снова оживали на фоне развалин. Я шла за ними. Мне хотелось бежать отсюда, но ноги точно увязли в обломках кирпича. Я не могла выдавить из себя ни звука, и это было типичное для мучительных сновидений чувство.

Над нашими головами дул мягкий ветер. Солнечные лучи расцвечивали серый массив разбомбленного замка, на солнце переливались мельчайшие искорки тающего снега. Развалины обрели цвет и некую законченность формы. Шла весна.

Томаш крепко взял меня за руку. Тепло и сила проникли в самое сердце. Он спокойно улыбался. Теперь еще отчетливей, чем в момент его появления, я увидела, как он истощен за долгие месяцы перевозок в эшелонах, ночевок на мокром снегу, под дождем, подгоняемый автоматами эсэсовцев, отступающих под напором армий союзников.

Томаш спокойно и тепло обратился к Нерыхло:

— Давайте встретимся вечером в «Гранд-отеле». В девять. Хорошо? Там наметим план действий. Мы должны сообщить юристам о наших намерениях.

Нерыхло просиял:

— Тогда до встречи.

— Пока, друг,— сердечно сказал Томаш и обнял меня за плечи.

Мы медленно пошли вдоль рва, к рухнувшему мосту. Как осторожно мы ступали! Жизнь снова начинала обретать смысл...

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Существует такая замечательная вещь, как возвращение. Есть вагоны, в которых можно уехать из Германии в Польшу через Чехословакию.

Надо верить. Война полностью лишила нас надежды, и все же надо справиться с прошлым, надо благодарить судьбу за то, что майор Хмура-Лазарский во Франкфуртена-Майне выписал, как обещал, индивидуальную репатриационную карту Томашу, чтобы он мог вернуться на родину. Это произошло после того, как он опознал гитлеровца после очной ставки, и после того, как того судили. Я ждала его, и вот мы едем.

Пробегают мимо деревеньки и полустанки. Серые и монотонные пригороды сменяют друг друга.

Окна уже застеклены! В Польше поезда продувает ветер, в них холодно, точно в годы оккупации.

До чего странно, моя страна, почти насмерть растоптанная немецкими сапогами, столица, «раз и навсегда» стертая на немецких картах, трагическое пепелище — для нас единственно возможное место назначения.

Солнце пригревает все сильнее; земля подсыхает после снежного, ледяного покрова, буфера ритмично стучат с аритмичным стаккато.

Столько мыслей, столько сомнений, столько порожденной собственным опытом печали, но душу согревает убежденность в разуме народов, в необходимости мира на земле.

А если гитлеровцы никогда не изменят себе? Их не видно, но они есть, нельзя забывать об этом. Немецкий народ, значительная часть этого народа хочет жить почеловечески. Ужас остался далеко позади, в разрушенных домах Нюрнберга, на уличных кладбищах, среди пепла и руин.

В нашем купе огромное окно, за ним до самого горизонта простираются пашни, их сменяют луга и леса.

Колеса все дальше увозят нас от Нюрнберга, от Международного военного трибунала, от невиновных подсудимых, которые пытаются спасти собственную шкуру за счет других, пусть даже ближайших соседей. Со мной возвращается Томаш, мы вдвоем сидим у окна.

Все дальше отдаляются флаги четырех держав, которые так чудесно освещало весеннее солнце, когда я в последний раз глядела на них, развевающиеся на фоне лазурного неба.

Мы оставляем позади веселящийся Нюрнберг; Нюрнберг симфонических оркестров и великолепных ревю; Нюрнберг, упивающийся жизнью, вовлекающий всех подряд в свой веселый, радостный хоровод; Нюрнберг роскошных танцевальных вечеров; Нюрнберг, беснующийся в ритмах африканских джунглей; Нюрнберг, празднующий конец войны.

Мы оставляем позади кладбище собак с выбитыми на камнях кличками, чтобы смерть четвероногих существ не осталась безвестной, чтобы люди всегда помнили тех, кто достоин памяти.

Позади остается фрау Йодль, супруга увядающего на скамье подсудимых генерала; может быть, с человеческой точки зрения и нет ничего странного в том, что она ухитрилась стать секретарем немецкого юриста — защитника Йодля. Это мелочь, что она получала плату за свою ревностную службу. Но разве можно считать фрау Йодль беспристрастным работником Суда Народов?

Там же остался смиренный гардеробщик из пресс-центра, которого, впрочем, уволили, когда выяснилось, что он был офицером не то СС, не то СД.

И еще: там осталась нюрнбергская тюрьма, в камерах которой под круглосуточным наблюдением сидят военные преступники.

Позади остается Нюрнберг — большой вопросительный знак на политической карте мира.

Там остался рядовой Нерыхло, простой и доверчивый парень, убежденный, что ему удастся самолично опознать и передать в руки правосудия еще много военных преступников.

Жизнь никогда не закрывает своих сюжетов, и в Нюрнберге осталось много неразрешенных проблем.

Лесничий, бывший узник Освенцима, грустно улыбнулся, когда я вручила ему свой отзыв о Зуле, но я не могла написать там ничего, кроме общих слов о ее пребывании в лагере. И этот мужчина, запутавшийся в своих двух исковерканных браках, поспешил дальше, надеясь, что ему удастся склеить остатки жизни, если он соберет достаточное количество отзывов об образцовом и достойном поведении Зули в концлагере.

Только профессору Эстрайхеру повезло: он нашел ал-

тарь Вита Ствоша в целости и сохранности, с «чудом спасшимся» ящиком. Ему удалось напасть и на след немецкого мастера, которого во время войны привезли в Польшу и он по приказу гитлеровцев разобрал деревянную раму гигантского алтаря. Этот мастер указал, где могли спрятать разобранную раму. Эстрайхер добрался до этого места, но тайник был пуст. И он опять искал и искал, расспрашивал всех и вот однажды совершенно случайно обратил внимание на штабель дров, привезенных на американскую кухню в распоряжение повара. Он подоспел в тот момент, когда повар только-только послал своих помощников за сухим деревом на растопку. Они успели разрубить и сжечь первую доску.

Весь алтарь Вита Ствоша вместе с рамой, правда без одной боковой доски — к счастью, ее без особого ущерба можно будет восстановить,— вернется в Краков.

Неужели это единственный счастливый конец?

А остальное? Поезд стучит на стыках, лязгают буфера, тревожный скрежет металла нарастает на поворотах, мы приближаемся к Польше, мы возвращаемся в страну, где снова можно слушать Шопена у себя дома и в концертных залах, в страну, где теперь нет комендантского часа, где люди ко многому относятся беспечно, но ценят свободу и не теряют чувства юмора, даже в самые трудные минуты жизни.

Я написала письмо Соланж и отправила его перед отъездом. Может, оно отыщет ее где-нибудь в Италии. Но я даже не буду мечтать о том, что когда-нибудь она даст сольный концерт в Варшаве. Ведь Национальная филармония, как и почти вся столица, разрушена и сожжена, и, наверное, не скоро поднимется это здание из руин и не скоро зазвучит в нем, как бывало прежде, музыка. В Варшаве ждут нас черные развалины. И люди там ходят посредине мостовой, протоптав дорожки среди руин.

В Нюрнберге остаются на скамье подсудимых невиновные убийцы, бесстрастно, по-своему оценивающие войну, хотя и пытались газом уничтожить целые народы.

Поезд мчится, Томаш уснул, а я по вагонам, по качающимся над буферами железкам пробираюсь в самый конец и смотрю оттуда через окно на переплетающиеся, извивающиеся, убегающие пути.

Последний вагон с грохотом мотает из стороны в сторону, в нем никого нет, и кажется, что моментами колеса едва касаются рельсов.

На землю опускаются сумерки, наступает ранняя ве-

сенняя ночь. В это время в «Гранд-отеле» начинают кружиться фонари, отбрасывая на сидящих красные, золотые, голубые блики, оркестр зовет усталых людей отдохнуть. Мне слышится в стуке колес, как глубокий баритон назойливо поет модный шлягер, мелодия возвращается весь вечер, словно вызов.

За окнами все темнее, угасает день, и только красная полоска над горизонтом светится в том месте, где село солнце. На багряном фоне отчетливо видны сосны, белые стволы берез. Меня вдруг обуревает неимоверно сильное, как ностальгия, желание как можно скорее проехать пограничные столбы, чтобы за окном были наши черные ольхи, наши дубы и наши рябины. И тогда я мыслью и взглядом прижмусь к дереву, мыслью и взглядом поцелую шершавую кору.

